

*Spiegel der Geheimnisse*

unabhängige  
russischsprachige Zeitschrift  
für Kultur und Politik  
mit ausgewählten Beiträgen  
in deutscher Übersetzung

Berlin 2002 5,90 Euro

# Зеркало Загадок

10

*Культурно-политический журнал*

**Кальвинизм,  
поэзия и живопись**

К. Верхейл

**Алексей Толстой в  
Берлине**

М. Полянская

**Как я был  
шпионом ЦРУ**

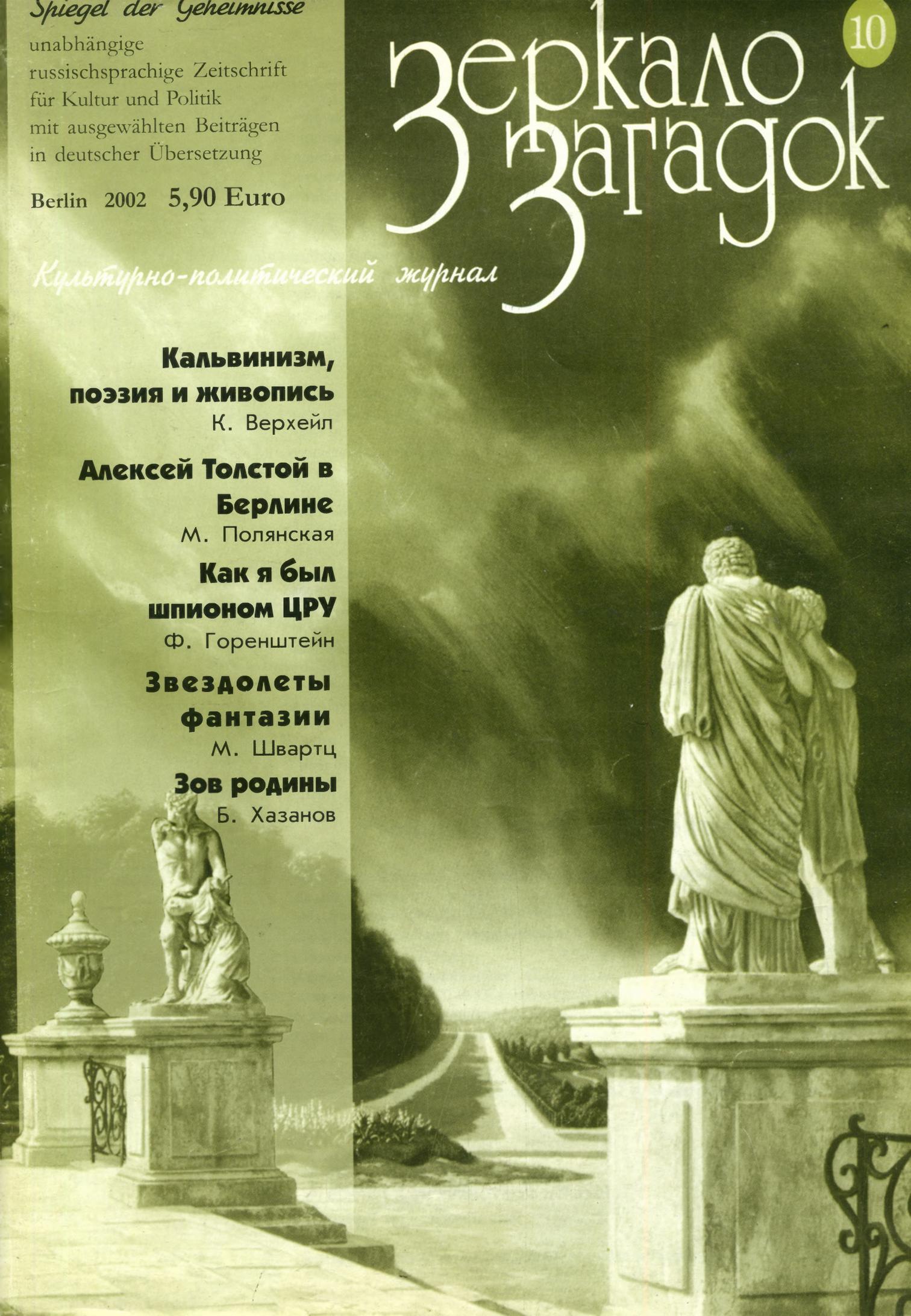
Ф. Горенштейн

**Звездолеты  
фантазии**

М. Шварц

**Зов родины**

Б. Хазанов



## От редакции

Дорогие читатели!

С момента выхода первого номера "Зеркала Загадок" в 1995 году функции и место русскоязычных периодических изданий в Германии коренным образом изменились. Интернет, российские газеты, журналы, телевидение и радио конкурируют с так называемой "эмигрантской" печатью, которая перестала существовать в своей традиционной роли. Русскоязычные газеты закономерно превратились в локальный вернисаж-справочник бытовых услуг. Новости политики и культуры являются здесь сценическими подмостками, на которых позируют салоны причесок, турбюро и "одинокое сердце".

Для газет "целевой группой" стал в первую очередь не читатель, а рекламодатель. Аналогичная ситуация сложилась и в области литературы и искусства. Пушкинская дилемма поэта и читательской "толпы" совершенно потеряла в Германии свою актуальность. Ни "книгопродавец", ни покупатель не волнуют поэта, который волен, как ему угодно, "по лире вдохновенной Рукой рассеянной" бряцать. Русская муза и литературно-художественные издания существуют здесь за счет общественных организаций и государственных интеграционных служб.

Иное дело - единственный в Германии культурно-политический журнал "Зеркало Загадок", целиком зависящий от читательского спроса. Независимая позиция и круг тем на стыке трех культур - российской, немецкой и еврейской - вот то, что обеспечивает интерес к "Зеркалу Загадок" в Германии и за ее пределами и оправдывает его существование.

Однако, те самые меняющиеся экономические реалии, которые не позволяют редакторам и авторам нашего журнала "рукой рассеянной" бряцать, заставляют нас прислушиваться к советам мудрых "книгопродавцев". А они, книгопродавцы, рекомендуют нам, в первую очередь, избрать новую форму издания - увеличить объем журнала и выпускать его в дальнейшем в качестве ежегодника. Мы следуем этому совету.

Разумеется, с увеличением объема, растет и цена. "Зеркало Загадок" стоит теперь 5.90 Euro. Впрочем, не только потому, что журнал стал толще. До сих пор нам удавалось сохранять сравнительно низкую цену 6.90 КМ, благодаря тому, что "ЗЗ" печатался в России. К сожалению, услуги российских типографий подорожали за последний год в среднем на 50 - 70%, что вынуждает и нас поднять цену. Разумеется, недовольные этой мерой в любой момент могут отказаться от подписки. В качестве небольшой "компенсации" цена 5.90 Euro для подписчиков становится конечной. Пересылка журнала по Германии теперь будет бесплатной.

Редакция "Зеркала Загадок"

## Как подписаться на "Зеркало Загадок"?

"Зеркало Загадок" можно получать по почте. Подписка на "Зеркало Загадок" осуществляется по принципу: "Товар - деньги - товар...". Это значит, что денег вперед за еще не вышедшие номера редакция не принимает. Подписной купон не оформляется. Подпись подписчика не требуется. Для прекращения подписки достаточно устного или письменного заявления читателя.

1. Читатель в избранной им форме (по телефону (030) 441 03 48 или письменно) информирует редакцию о желании получить "ЗЗ", сообщает свое имя и адрес. Этого достаточно.

2. Сразу же после выхода очередного номера "ЗЗ" редакция высылает абоненту требуемое количество экземпляров. Оплату просим производить на указанный ниже счёт.

Банковский счет редакции:  
**Dresdner Bank**  
**K-to Nr. 4038701000, BLZ 120 800 00**  
**Empfänger: Igor Polianski**

В графе "Verwendungszweck" не забудьте указать, кто платит (свое имя) и за что (номер выпуска "ЗЗ")

## Редакция

*главный редактор*

Игорь Полянский

*редактор*

Маттиас Швартц

*литературный редактор*

Мина Полянская

*технический редактор*

Борис Антипов

*макет, оформление*

Павел Свердлов

*рисунки*

Тамара Иванова

## Корреспонденты

*Французская Ривьера*

С.Бабкова, М. Горошевский

*Западная Африка (Гана)*

Кристина Краузе

## Редакционная коллегия

Надежда Брагинская (Нью-Йорк),

Томас Габлер (Берлин),

Александр Мелихов (Берлин)

## Переводчики

Елена Свердловна,

Маттиас Швартц

Zerkalo Zagadok

(Spiegel der Geheimnisse)

unabhängiges russischsprachiges

Magazin für Kultur & Politik,

Berlin, 2002;

## Redaktion

*Chefredakteur* Igor Polianski,

*Redakteur* Matthias Schwartz

*Literaturredakteurin* Mina Polianski,

*technischer Redakteur* Boris Antipov,

*Gestaltung* Pavel Sverdlov

*Zeichnungen* Tamara Ivanova

## Übersetzungen

Elena Sverdlova, Matthias Schwartz

## Redaktionsbeirat

Nadeschda Braginska, Thomas Gabler,

Matthias Schwartz, Aleksander Melichow

## Korrespondenten

*Französische Riviera:*

Sonja Babkow, Mitja Goroschewski

*Westafrika (Ghana):* Kristine Krause

SupportAgentur Gabler & Lutz GbR

Типография/Kruck: IPK Biont,

St. Petresburg

*In Zusammenarbeit mit der Stiftung*

*"Russische Bibliotheken"*

*Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не редактируются и не возвращаются.*

*Перепечатка только с указанием источника.*

*Bei namentlich gezeichneten Beiträgen liegt die Verantwortung bei den Autoren.*

© bei "Zerkalo Zagadok"

## Redaktionsadresse

Zerkalo Zagadok, Torstr. 7 B2,  
10119 Berlin;

Tel./Fax (030) 441 03 48 (59);

Im Verlag der SupportEdition,

Postfach 610378, 10926

Berlin

ISSN 0949-2089



## НАША АКАДЕМИЯ

- 2 Кальвинизм, поэзия и живопись К. Верхейл

### "ПОЭЗИЯ И ПРАВДА"

- Б. Хазанов Зов родины 8  
И. Полянский Место Фридриха Горенштейна 21  
Ф. Горенштейн Как я был шпионом ЦРУ (Окончание) 23  
М. Городинский Тело и душа Мишеля Петруччани 37



## ПРОГУЛКИ ПО БЕРЛИНУ

- 41 Алексей Толстой в Берлине М. Полянская

## ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Ю. Лотман Дороги, которыми не суждено пройти... 47  
З. Плавский Горе от ума или неуправляемый подтекст 48  
Н. Брагинская "Я женат и счастлив..." 55  
*Хроника жизни и творчества А.С.Пушкина, 1830-1831 гг.,  
женитьба, Царское село*  
С. Арро Хроника VII Международного Пушкинского  
симпозиума в Германии 60



## СТРАНИЦА ПОЭЗИИ

- 62 Что знает буква о значеньи слова... Б. Шапиро  
62 Новые стихи В. Фадин  
62 Поучительные вирши Э. Руммель  
64 Из Марины Цветаевой В. Борхардт  
*Переводы*  
64 Из Поля Валери Л. Бердичевский  
*Переводы*

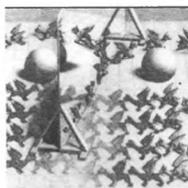
## ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

- М. Полянская Последняя работа Е. Эткинда 65  
*Рецензия*  
М. Полянская "Эхо дантовских терцин" 66  
*Рецензия*



## ЗЕРКАЛО

- А. Мелихов Фабрика еврейства 67



## ЗАЗЕРКАЛЬЕ

- 69 Звездолеты фантазии М. Шварц  
75 Малый информационный апокалипсис С. Соловьев  
77 "Пули двух темных негодяев" Е. Сафьян  
79 Евреи и русская революция С. Мадиевский  
82 "Буря и натиск" биологии И. Полянский *Рецензия*

## НОВОСТИ СЛАВИСТИКИ

- М. Шварц Новое фундаментальное исследование о русском Берлине 83  
*Рецензия*

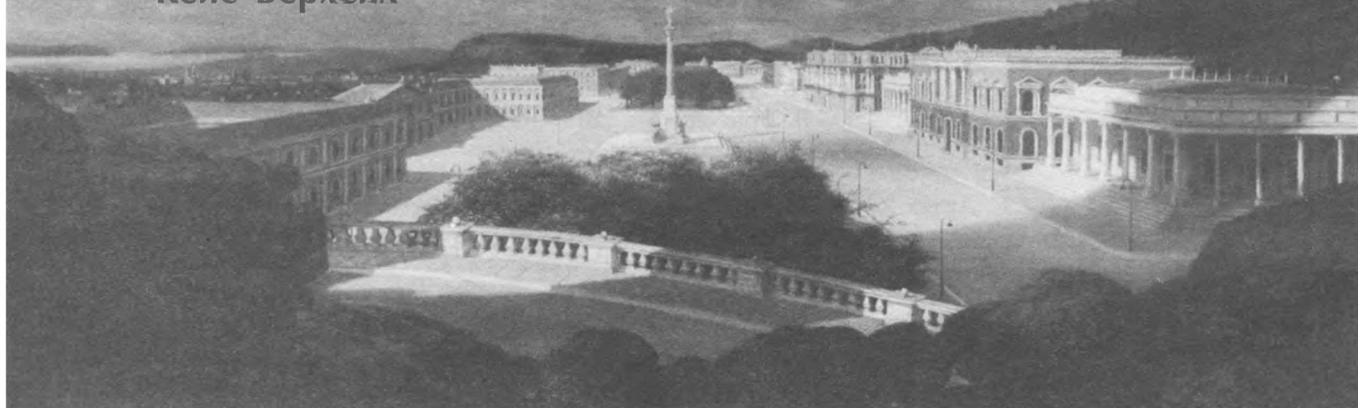
## DEUTSCHE KURZFASSUNGEN

- 10 Ruf der Heimat В. Chazanow *Auszug*  
24 Als ich ein Spion des CIA F. Gorenstein *Auszüge*  
42 Аляксей Толстой in Berlin М. Polianski *Kurzfassung*  
70 Sternschiffe der Fantasie М. Schwartz *Auszüge*

Об одном стихотворении  
И. Бродского

# КАЛЬВИНИЗМ, ПОЭЗИЯ И ЖИВОПИСЬ

Кейс Верхейл



К. Виллинк. Городской пейзаж, 1939 г.

*Кейс Верхейл – известный голландский прозаик, переводчик, литературовед. Автор романов "Четвероногий мальчик" (1982), "Вилла Бермонд" (1992), книги "Контакт с противником" (1975), "Россия начинается у реки Эйссель" (1985), "Пляска вокруг Вселенной. Фрагменты об Иосифе Бродском" (1997) и др. К. Верхейлу принадлежат переводы на нидерландский "Воспоминаний" Н. Мандельштам, "Котлована" А. Платонова, лирики И. Анненского, О. Мандельштама, А. Ахматовой и др.*

Судя по тематике его стихов и прозы, можно сказать, что есть голландский Бродский, равно как есть и английский, американский, итальянский, французский, литовский, мексиканский, китайский и, разумеется, также русский Бродский.

Существование голландского Бродского неудивительно ввиду того, что поэт родился и первые тридцать два года своей жизни провел в городе, созданном плотником из Сардама, - городе, где современный человек из Амстердама не может чувствовать себя на чужбине, хотя бы потому, что в его пределах находится место под названием Новая Голландия.

Не хочу задерживать читателя перечнем всех голландских мотивов и ассоциаций, которые можно наметить в творчестве Бродского любых периодов. Остановлюсь всего лишь на двух более общих чертах его поэзии и прозы, так или иначе тесно связанных с представлениями о моей стране.

В критической литературе о Бродском пока еще мало замечено, что поэт в своих эссе несколько раз выражал свою симпатию к кальвинизму как той форме христианства, которая ему, кажется, больше по душе, чем православие, католичество или лютеранство. Предпочтение Бродским кальвинизма не может не поразить человека из страны, самое существование которой есть продукт кальвинизма и культуры которой до такой степени пропитана им, что не только

наши протестанты, но и католики и даже неверующие признают себя – обычно с самосожалением и с иронией – кальвинистами по образу мышления. Чтоб быть еще чуть-чуть более личным: симпатия первого русского поэта современности к кальвинизму, репутация которого среди интеллектуалов Запада стоит, пожалуй, ниже любого другого вида христианства, не может не удивить и не радовать человека, крещенного, по решению его родителей, в самой либеральной ветви нидерландской реформатской церкви и, несмотря на свое влечение и к иным формам веры, до сих пор принадлежащего ей.

Привлекательность кальвинизма для поэта Бродского связана, как мне кажется, прежде всего с центральным кальвинистским тезисом о непосредственной ответственности человека перед Богом. В этом направлении протестантизма отрицается принцип священства и, вообще, какой бы то ни было иерархии внутри необозримого пространства между человеческим и Божественным. Между Создателем и каждым индивидуальным человеком есть только один Посредник, Иисус Христос, который раз и с достаточной силой на все века своей смертью на кресте отвел гнев Божий от потомков Адама. С точки зрения Бога все мы равны в нашей рожденной склонности к злу. Наше спасение зависит не от наших собственных дел или от наших собратьев, а единствен-



но от недоступной человеческому уму благодати свыше. Отсюда тот знаменитый тезис о "предопределении", самый суровый тезис в ортодоксальном кальвинизме. С одной стороны – ничем не ограниченная воля Бога, его решение, принятое прежде всех веков, спасти или отвергнуть ту или иную человеческую душу. С другой стороны – абсолютная личная ответственность индивидуума за каждый свой поступок перед величием этого Бога. В результате такого жизнепонимания создается, если говорить уже на языке не XVI, а XX века, та этика абсурда, которая была свойственная мышлению зрелого Бродского.

Вторая общая голландская черта позиции Бродского – его интерес к живописи голландских мастеров. Для русского поэта, жившего столько лет в пятнадцати минутах ходьбы от Эрмитажа, такой интерес, конечно, вполне естественен. Любопытнее другое – то, что мотивы из голландской живописи живут в стихах Бродского неявной, скрытой жизнью. Вместо трафаретных конькобежцев или мельниц, вместо стихотворных описаний каких-то конкретных картин у него существуют, например, потаенные рембрандтовские ассоциации в глубине тематики таких его шедевров, как "Авраам и Исаак" и "Сретенье".

Оба указанные мной момента, так сказать, голландизма Бродского – кальвинизм и живопись – связаны между собой. По одному из первых догматов христианства Бог есть Слово. Для человека, имеющего свои корни в кальвинизме, это значит, что есть бездна несоответствия между Божеским и человеческим словом. Или, вернее, это значит, что человеческое слово уже само по себе есть нарушение некоей Божьей привилегии. Единственное исключение – это трезвое истолкование Божественного слова другим верующим. Вышший авторитет для кальвиниста – не столько "пастырь", сколько "проповедник", человек, изучавший богословие в университете и на этой почве ставший "служителем Слова Божьего" в собрании верующих. Неудивительно поэтому, что три четверти голландской поэзии с XVII по XIX век написано пасторами с их общепризнанной монополией на понимание не испорченного грехом Божественного Логоса. Если Бог есть Слово, явленное во Христе, в мироздании, в Священном Писании, то человеку без солидного образования по этим вопросам подобает молчать, и, если ему захочется выразить свою точку зрения на мир, ему вместо того, чтобы писать стихи, лучше сесть за мольберт и написать картину. Вероятно, отсюда парадоксальное и, во всяком случае, сенсационное обращение в католичество – во время полного триумфа кальвинизма в молодой республике – поэта Вондела, классика нашей литературы и одной из ключевых фигур европейского барокко, с которым, кстати, у Бродского есть доля сходства. Оно вызвано, насколько такие вещи вообще можно объяснить, чисто профессиональной необходимостью художника слова, развившего амбиции, соответствующие его необычному таланту, запечатлеть свою речь. Совесть католика в этом отношении спокойнее, чем совесть протестанта.

Противоположно, а в некоторых случаях, как я предпочитаю думать, комплементарно по отношению к кальвинизму православное понимание христианства: если Бог есть Слово, то в каждом человеческом слове есть хотя бы зачаток Божественного. Со свойственным ему духовным экстремизмом Бродский идет по этому пути до конца, настаивая на формуле – в пределах кальвинистского миропонимания уже совершенно невыносимой – о божественности или

даже надбожественности языка и не различая при этом Божественный и человеческий логос. Сознание неизбежной греховности всякого словоупотребления и, тем более, всякого писательства, которое в русской литературной традиции мы находим, например, у Ахматовой, у Блока, у Тютчева и, конечно, сильнее всего у позднего Гоголя, Бродскому как будто чуждо. Вера в наивысшую ценность поэтического слова привела его к ряду грандиозных стихотворений, сделав его идеальным антиподом идеального голландского художника.

Так что с культурфилософской точки зрения можно говорить о кальвинизме этики Бродского при подчеркнутом антикальвинизме его поэтики.\*

Не менее поразительную цитату на тему о кальвинизме и русских писателях я обнаружил в книге М.О.Гершензона "Мудрость Пушкина". Завершая свое рассуждение об уверенности поэта, вопреки всем его "светлым чувствам", в неисклещимости "ущербного бытия", о его сомнениях насчет всякого стремления к святости, "когда это стремление и тщетно, и греховно", известный критик задает таким риторическим вопросом: "Кальвин и Пушкин – что соединило их в тождественном понимании мира?"

Если к этому добавить, что Бродский неоднократно высказывался о "кальвинизме" своих кумиров Достоевского и Цветаевой, то получается довольно неожиданный и внушительный список русских классиков, так или иначе подозреваемых в духовном родстве с крайним реформатором XVI века.

Кульминацией интереса Бродского к голландской живописи до сих пор приходится считать его стихотворение "На выставке Карла Виллинка". В этом стихотворении имя художника, не классика из XVII века, а современника (Виллинк родился в 1900 г. и умер в 1983-м), упоминается уже в названии.

Сначала расскажу коротко о становлении этих стихов, свидетелем которого я отчасти стал. Ранним летом 1985 года Иосиф был, в который раз, не помню, в Амстердаме, где ему попался в руки маленький комплект с шестнадцатью репродукциями картин очень известного в Голландии, а за границей сравнительно неизвестного, недавно перед тем умершего художника Карла Виллинка. Комплект продавался в Музее современного искусства. Наша голландская подруга, с которой я его познакомил при первом его визите в Голландию и которой стихотворение потом было посвящено, работает в этом музее. Она и отвела его там в книжную лавку, а когда Иосиф проявил большой интерес к открыткам Виллинка, она ему их купила и подарила, хотя сама эту живопись не особенно любит.

Иосиф вернулся в Штаты и оттуда сообщил мне по телефону, что пишет стихотворение о картинах Виллинка, и спросил, знаю ли я, как кончил свою жизнь художник, не самоубийством ли, потому что в таком духе он уже написал в своих стихах. На мои слова, что художник, насколько я знаю, умер "нормально", Иосиф ответил, что это и неважно. Суть идеи самоубийства в его стихотворении была общая, абстрактная.

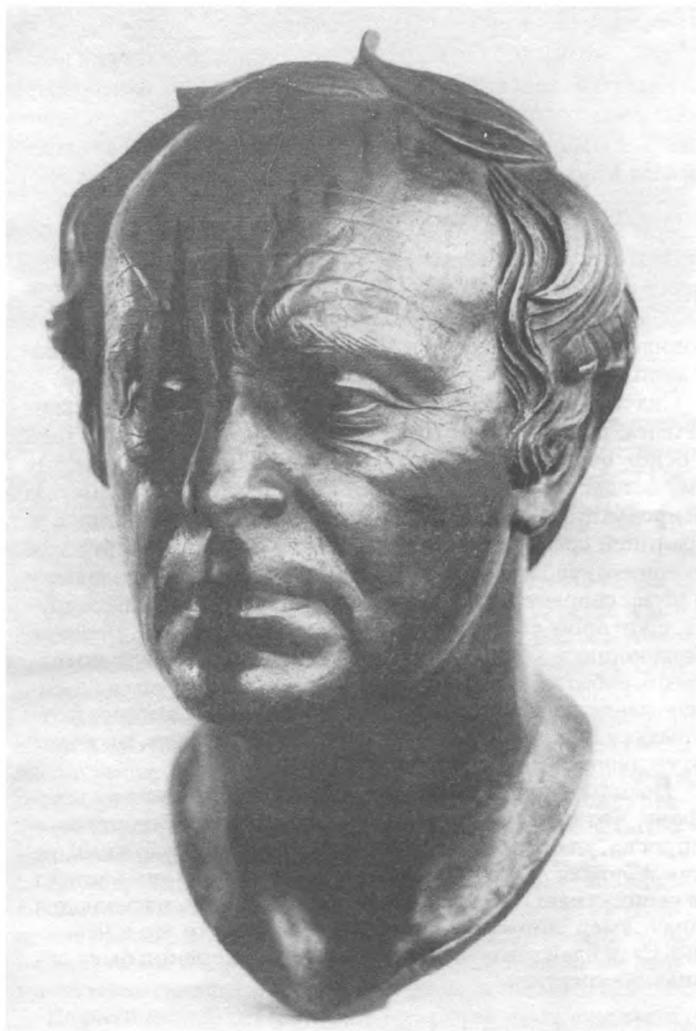
\* Своего рода поэтический кальвинизм чувствуется, с силой, непревзойденной вне русской литературы, в сухой и нарочито "некрасивой" прозе Льва Толстого, единственного классика своего языка, с которым, по-видимому, Бродский никогда не ощущал духовного родства. Удивительную близость эстетики графа Толстого к географически далекому ему кальвинизму надо, скорее всего, рассмотреть как последствие влияния на него Руссо, писателя, рожденного в городе самого Кальвина. Интересно по этому поводу мнение Тургенева, который в письме к Анненкову от 1857 года определил Толстого как парадоксальную "смесь поэта и кальвиниста".

Примерно две недели спустя я получил окончательный текст, напечатанный на машинке без разделения на пронумерованные строфы, и следующее письмо:

"7-е июля 1985 г.  
Нью-Йорк

Милый Кейс,  
посылаю стишок про Вейлинка. Открыточки мне купила Ада, отсюда - инициалы. Для удобства понимания следовало бы разбить стихотворение на строфы (восемь строк в каждой) – но как-то противно. "Город-сад" – из известного стихика Маяковского, формула утопии (социалистической в его случае). Глаголы в длинной очереди к "л": большинство русских глаголов прошедшего времени кончаются этой буквой (был, успел, любил, сидел и т.д.). "Взгляд живописца – взгляд самоубийцы" – дело не столько в ощущении от его живописи, сколько в как бы уничтожении всяким живописцем им изображаемого. Остальное, думаю, ясно: название – для соотечественников, иначе, боюсь, будет непонятно. Советую засунуть в "вибрируя, над проволокой нот" эпитет "колючей". Мне пока это не удалось, но я еще попробую. Если хочешь, можешь раскрыть инициалы: я этого не сделал, чтоб избежать ассоциации с Никитой. \* Может, следует – по-русски – писать Стрѣве?

Целую всех.  
Иосиф"



Портрет И. Бродского в бронзе.  
Сильвия Виллинг, Амстердам, 1991

Первый раз стихотворение было опубликовано параллельно по-русски и по-голландски в моем переводе в амстердамском журнале с названием из русской литературы "De Revisor" (1986, №1). Название произведения я по собственной инициативе несколько изменил. В оригинальном машинописном тексте было: "На выставке Кейса Вейлинка". Не мне судить, насколько в замене имени художника (вместо "Карла" – "Кейс") обнаруживается то, что Пастернак, кажется, называл "лирической истиной" (по телефону Иосиф мне небрежно сказал: "Ты знаешь, я просто думал, что в Голландии всех мужчин зовут Кейс"). Фамилия Виллинка почти во всех русских изданиях, вышедших при жизни Бродского, написана ошибочно. Дата, а иногда и фамилия в посвящении, тоже.

Цитирую стихотворение целиком:

#### НА ВЫСТАВКЕ КАРЛА ВИЛЛИНКА

Аде Струве

##### I

Почти пейзаж. Количество фигур,  
В нем возникающих, идет на убыль  
С наплывом статуй. Мрамор белокур,  
Как наизнанку вывернутый уголь,  
И местность мнится северной. Плато;  
Гиперборей, взъерошивший капусту.  
Все так горизонтально, что никто  
вас не прижмет к взволнованному бюсту.

##### II

Возможно, это – будущее. Фон  
раскаяния. Мести сослуживцу.  
Глухого, но отчетливого "вон!".  
Внезапного приема джиу-джитсу.  
И это – город будущего. Сад,  
чьи заросли рассматриваешь в оба,  
как ящерица в тропиках – фасад  
гостиницы. Тем паче - небоскреба.

##### III

Возможно также – прошлое. Предел  
отчаяния. Общая вершина.  
Глаголы в длинной очереди к "л".  
Улегшаяся буря крепдешина.  
И это – царство прошлого. Тропы,  
заглохнувшей в действительности. Лужи,  
хранящей отраженья. Скорлупы,  
увиденной яичницей снаружи.

##### IV

Бесспорно – перспектива. Календарь.  
Верней, из воспалившихся гортаней  
туннель в психологическую даль,  
свободную от наших очертаний.  
И голосу, подробнее, чем взор,  
знакомому с ландшафтом неуспеха,  
сподручней выбрать большее из зол  
в расчете на чувствительное эхо.

\*имеется в виду Никита Струве, профессор парижской Сорбонны и директор эмигрантского издательства ИМКА-пресс, наш общий знакомый. Обе фамилии произносятся одинаково и, хотя они прямо не связаны между собой, имеют одинаковое происхождение из северной Германии.

## V

Возможно – натюрморт. Издалека все, в раму заключенное, частично мертво и неподвижно. Облака. Река. Над ней кружащаяся птичка. Равнина. Часто именно она, принять другую форму не умея, становится добычей полотна, открытка, оправданьем Птолемея.

## VI

Возможно – зебра моря или тигр. Смесь скинутого платья и преграды облизывает щиколотки икр к загару неспособной балюстрады, и время, мнится, к вечеру. Жара; сняв потный молот с пыльной наковальни, настойчивое соло комара кончается овациями спальни.

## VII

Возможно – декорация. Дают "Причины Нечувствительности к Разлуке со Следствием". Приветствия уют, певцы не столь нежны, сколь близоруки, и "до" звучит как временное "от". Блестящее, как капля из-под крана, вибрируя, под проволокой нот парит лунообразное сопрано.

## VIII

Беспорно, что – портрет, но без прикрас; поверхность, чьи землистые оттенки естественно приковывает глаз, тем более – поставленного к стенке. Поодаль, как уступка белизне, клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы, спиною чуж брошенный извне взгляд живописца – взгляд самоубийцы.

## IX

Что, в сущности, и есть автопортрет. Шаг в сторону от собственного тела, повернутый к вам в профиль табурует, вид издали на жизнь, что пролетела. Вот это и зовется "мастерство": способность не страшиться процедуры небытия – как формы своего отсутствия, списав его с натуры.

Человеку, знающему отдельно и поэзию Бродского, и живопись Виллинка, смысл их сочетания сразу понятен. Вообще мысль о Виллинке как вдохновителе ленинградского поэта вполне естественная, и кажется странным, что голландский художник никогда не был в Петербурге. За год до написания Бродским стихов и без всякой дальнейшей связи с ними я, находясь в Ленинграде, сделал такую запись в своем дневнике:

"После концерта (в Капелле) прогулка по светлomu вечеру" – дело было в белую ночь. "Только здесь и там несколько пешеходов. Зимний дворец, широкая площадь перед ним и в отдалении Исаакиевский собор под зловещим летним небом – первоклассная картина Виллинка".

Для этого художника, как и для поэта Бродского, характерно слияние, иногда шоковое, строгого классицизма с типичным для двадцатого века ощущением угрозы, катастрофичности, конца. Истоки стиля Виллинка – в Ренессансе, в "идеальных" или "героических" пейзажах Лоррена и Пуссена и, что касается портретов, в образцах этого жанра у Рафаэля

и Да Винчи. Единственное собственно голландское и, если хотите, кальвинистское у Виллинка, это – холодное, беспощадно яркое северное освещение его пейзажей и портретов и их общая атмосфера неуловимой жуткости, из-за чего Виллинка обычно связывают с сюрреализмом. В одном интервью художник так сформулировал психологическую направленность своих картин:

"Я изображаю постоянную угрозу и совершенный абсурд происходящего вокруг меня, зловещность и абсурдность всего миропорядка".

Добавьте любимый прием Виллинка – смешение классических образов с явно современными или фантастично-будущими; добавьте его пристрастие к архитектуре и к статуям как заместителям живых фигур; добавьте еще его тягу к добросовестной технике и кропотливому мастерству, – и вы поймете, почему я считаю, что, если думать об иллюстрированных изданиях Бродского, ничего лучшего, чем репродукции картин Виллинка, не найти.

Что касается русского стихотворения о художнике, то оно необыкновенно заинтересовало вдову Виллинка – художницу и скульптора. Она обратилась ко мне как переводчику незнакомого ей автора: ее поразила совершенная точность, с которой этот иностранец сумел уловить в своих словах суть того, что ее муж вложил в свои картины.

Стоит отметить, что выбранный Бродским голландский художник был известен своим тесным знакомством, в некоторых случаях дружбой, не с художниками, а с литераторами своего поколения. Виллинк иллюстрировал рисунками стихи и прозу своего друга Эдгара дю Перрона, он создал ксилографию к стихотворению Мартинуса Нейхофа "Птица", он написал знаменитый портрет тогдашнего "принца голландских поэтов" Адриана Роланда Холста и слыл в тридцатые годы – кульминационную пору своего таланта – типично литературным художником. Репутация литературности и интеллектуализма картин Виллинка некоторое время даже задерживала его признание в среде коллег-живописцев и профессиональных знатоков искусства.

Статья о Виллинке лучшего голландского эссеиста его эпохи, Мэнно тер Браака, начинается как раз с опровержения якобы литературного, в отличие от подлинно художественного, качества его живописи. Статья эта, неизвестная Бродскому во время его сочинения стихов о Виллинке, для читателя русского поэта, как мне кажется, интересна тем, что анализ, проведенный тер Брааком, невольно выявляет сходство духовных миров амстердамского живописца и русского стихотворца более позднего поколения, заинтересовавшегося им.

Главный тезис статьи заключается в том, что "литературное содержание" картин Виллинка, их сюжетность, риторичность изображаемых в них сцен, их преобладающая атмосфера пустоты и гибели – никак не суть его творчества. Суть эта, по мнению тер Браака, скорее в "контр-мелодии" трезвого, порою даже игривого мастерства, с которым живописец претворяет эти сами по себе удручающие данные в чисто художественную реальность удачной картины.

В связи со стихотворением Бродского поразительно, что в своей короткой статье эссеист тридцатых годов, как будто предвосхищая ассоциации иностранного поэта из будущего, два раза употребляет слово "декорация". Например, в этой, резюмирующей центральную мысль, фразе:

"Так называемое содержание Виллинка – декорация, жест, развалины каких-то анекдотических зданий; но он так и не просит вас поверить этому "содержанию", он всего лишь желает убедить вас своей палитрой, т.е. всеми средствами, которыми художник способен убедить."

Наконец, упомяну, как об одном из мотивов статьи тер Браака, которые могут быть полезны для любителя поэзии Бродского, о значении, придаваемом эссеистом чувству юмора Виллинка в его картинах. Тер Браак видит близкую родственность пресловутой мрачной риторики художника

с этим чувством юмора, который он определяет как странно "застывший", "окаменевший". В другом месте он сравнивает Виллинка с известным голландским живописцем из средневековья Босхом и говорит о "темной атмосфере угрозы" у обоих мастеров, "над которой зрителю одновременно приходится внутренне смеяться".



К. Виллинка. Автопортрет с женой, 1934 г.

Подобный стимул к тихой веселости, при всех ужасах повествования и мысли, как мне представляется, знаком и каждому ценителю Бродского.

Статья Мэнно тер Браака, называемая "Литературная установка художника", была написана как рецензия на выставку Карла Виллинка, которая состоялась в Роттердаме в 1939 г. Всякое искусство есть проявление формообразующего начала в жизни и поэтому произведения искусства почти всегда окружены странными на первый взгляд совпадениями, удивительными сцеплениями казалось бы не зависящих друг от друга обстоятельств. Например, процитированные тер Брааком слова организатора роттердамской выставки, что большая часть публики, вероятно, "не будет сочувствовать настроению мрачной угрозы, свойственному художнику", задним числом, ввиду событий следующей весны, приобретают жуткий смысл. То же самое можно сказать, уже без иронии, о концовке рецензии тер Браака: "...пока, по крайней мере, в Голландии еще можно будет обмениваться мнениями о таких тонкостях."

Менее чем через полгода после публикации статьи Роттердам был разрушен бомбами немецкого агрессора, и тер Браак, который как лидер антифашистского движения среди голландской интеллигенции тридцатых годов имел все основания ждать от оккупантов для себя самого худшего, совершил самоубийство. В тот же день близкий друг его и Карла Виллинка писатель дю Перрон умер от разрыва сердца. Обе эти смерти тогда же были восприняты, и до сих пор воспринимаются, как конец целой эпохи в голландской культуре.

В том же мае 1940 г. в Ленинграде, городе, пострадавшем во время Второй мировой войны не меньше Роттердама, родился поэт, написавший потом стихотворение "На выставке Карла Виллинка". Первые стихи, сочиненные Бродским в Голландии летом 1973 г., "Роттердамский дневник", как раз передают его ощущения как посетителя этого страшного на вид, каждым камнем напоминающего о своем страдании и потере красоты, восстановленного города.

Возвращаясь к тексту Бродского, вместо обширного анализа ограничусь заметкой об одной его особенности. Меня всегда поражала сравнительно второстепенная роль, которую в нем играет описательное начало. Что, казалось бы, может быть естественнее, соблазнительнее, чем попытаться вызвать у читателя сходные зрительные впечатления? Тем

более для такого поэта, как Бродский с его особым даром воспроизводства визуальных эффектов.

Некоторая описательность есть, разумеется, и в стихах "На выставке Карла Виллинка", но небольшая, как мне кажется, может быть, даже меньшая, чем в других произведениях поэта. Создается впечатление, что стихотворение Бродского о выставке – это прежде всего не попытка соревнования с живописцем, а претворение его зрительного мира в чисто словесный, поэтический. Конечно, можно понимать девять строф стихотворения и как прогулку по выставке, где поэт останавливается перед девятью разными картинами (из шестнадцати, включенных в комплект репродукций), передавая нам свои спонтанные впечатления и ассоциации. Но такое понимание дает довольно бедные результаты, во-первых, потому, что живопись Виллинка очень далека от принципа свободной ассоциативности, а во-вторых, ассоциации самого поэта слишком последовательны, слишком связаны между собой, чтобы соответствовать произвольному, "по ходу" сделанному взгляду на коллекцию разнородных картин.

Имеет смысл рассмотреть это стихотворение не столько как ряд случайных, зависящих от внешних стимулов импрессий, сколько как обычное для Бродского постепенное развитие, строфа за строфой, метафора за метафорой, шутка за шуткой, одной линии идей. Основная формула фразы без сказуемого создает ряд вариантов определения чего-то общего, никогда прямо не названного поэтом. Определение этого чего-то – то ли внутреннего зрения художника, то ли внутреннего зрения человека, смотрящего на его картины, – становится к концу все более точным, более сжатым.

В ходе этого процесса поэт уже в третьей строфе переходит от зрительной к языковой, даже грамматической терминологии, а в четвертой – к терминологии музыкально-поэтической:

И голосу, подробнее, чем взор,  
знакомому с ландшафтом неуспеха,  
сподручней выбрать большее из зол  
в расчете на чувствительное эхо.

В конце шестой строфы и дальше, в седьмой, идея языка плюс музыки приводит, как естественное продолжение, к идее какой-то своеобразной оперы, созданной в результате сотрудничества художника с поэтом и обоих – с музыкальным гением.

Если думать о прецедентах, стихотворение Бродского создает эффект, примерно схожий с тем, что произвел Мусоргский в своих "Картинках с выставки". Но есть в нем и нечто схожее с тем, что сделали вместе русский композитор Игорь Стравинский, рисовальщик XVIII века Хогарт и любимый Бродским английский поэт Оден в "Приключениях повесы". В нашем случае вышла современная философская опера с аллегорическими фигурами в стиле барокко; декорации – голландец К. Виллинка, либретто и музыка – русский поэт И. Бродский.

В заключительных строфах происходит еще одна трансформация. "Это" теперь воспринимается сначала как просто портрет, потом как автопортрет. Вместе с тем стихотворение превращается в размышление о судьбе художника-живописца, или художника-поэта, или художника-музыканта, или художника-историка, или художника-астронома – кажется, в девяти строфах фигурируют более или менее прозрачно питомцы всех девяти Муз.

\* Идея творчества как процесса некоего вычитания или, точнее, систематического "списывания" художником своего несчастного "я" из мира вещей присутствует с какой-то нарастающей навязчивостью и в ряде других произведений Бродского. Как пример для сравнения приведу концовку "Венецианских строф (2)" 1982 года:

"Я пишу эти строки, сидя на белом стуле/под открытым небом, зимой, в одном/пиджаке, поддав, раздвигая скулы/фразами на родном./ Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней/мелких бликов тусклый зрачок казнь/за стремленье запомнить пейзаж, способный/обойтись без меня."

Мысль поэта, как я думаю, здесь сосредоточена над сутью самого слова и понятия "автопортрет". Как известно, автопортрет, чисто технически самая трудная задача для художника, есть окончательное доказательство его мастерства. В языке парадоксальность задачи отражена в классическом термине для этого жанра: не автопортрет, а "портрет художника", "portrait de l'artiste", "portrait of the artist".

Ведь человек физически не может изображать себя иначе, как в виде художника – садясь одновременно и к зеркалу, и за мольберт. Другими словами: если жанр автопортрета автоматически значит уничтожение художником себя как не-художника и в этом смысле является формой самоубийства,\* то возникает страшноватый вопрос: кто вообще изображен на автопортрете? Если бытовая персона на нем бесследно исчезла в художнике, тогда где остался Карл Виллинк, где остался Иосиф Бродский, где осталась разница между ними? И еще вопрос: где осталась разница между изображением своего Я и изображением любого другого предмета?

Последняя мысль и последний эффект стихотворения, по моему впечатлению, как-то головокружительны. Подобно тому, как это происходит в гоголевской повести, портрет перед глазами читателя-зрителя вдруг растаивает, и медитативный ход по выставочному залу начинается снова:

*Почти пейзаж. Количество фигур,  
и так далее.*

Тематика самоубийства в стихотворении "На выставке Карла Виллинка", может быть, частично объясняется факторами, связанными с его посвящением. В биографии адресата самоубийство близкого человека с художественным талантом играет существенную роль.

#### Postscriptum

В 1991 году вдова Карла Виллинка, Сильвия, вылепила скульптурный портрет Бродского. Бронзовая отливка с него была приобретена международной группой меценатов (в которую входил сам изображенный) и подарена городу Санкт-Петербургу, где и хранится в Музее Ахматовой в Фонтанном доме. Фотографии этой бронзовой головы неоднократно публиковались в русской печати. На открытой презентации собственного бюста в Амстердаме в декабре 1991 г. Бродский произнес по-английски экспромт, некоторые положения которого стоит упомянуть в связи с его стихотворением. Заметив, что полотна Виллинка только поверхностному зрителю кажутся согласующимися с привычным контекстом сюрреализма таких художников как Дельво или Магрит, он продолжал: "Они - другое. В моих глазах это куда более великие, более ужасающие картины. В каком-то смысле я, мне кажется, узнал в этих пейзажах собственную скромную персону. Если бы я был художником, именно такое я и делал бы на полотне. Потому-то я и начал писать свое стихотворение. Его пейзажи - это в каком-то смысле аутопсия культуры, цивилизации. В его картинах есть что-то потрясающе посмертное. Они излучают ощущение изолированности и автономности. Автономность статуй, автономность зданий, автономность неба."

И далее: "Это как-то совпадало, рифмовалось у меня в голове с тем, что я сам вижу в этом мире. Чем больше я узнавал о жизни Виллинка, тем более мне становилось ясно, что он уже прожил мою жизнь, моя теперешняя жизнь уже имела прецедент."

Еще одна цитата: "Он изображает мир без себя, то есть мир до и после. Искусство - это разновидность самоубийства, или по крайней мере самоотрицания."

*Текст выступления в ленинградском Доме писателей в январе 1991 г. был в обработанном варианте напечатан в августе того года в журнале "Звезда". Переработанный и дополненный текст предоставлен автором для публикации в "Зеркале Загадок".*



Новая книга "Брак мой тайный..." - о кратком пребывании Марины Цветаевой в Берлине, которое оказалось интенсивным в творчестве и значимым в личной жизни. История любви к редактору берлинского издательства "Геликон" А.Г.Вишняку легла в основу цикла стихотворений "Земные приметы" и рассказа Цветаевой "Флорентийские ночи", написанного под влиянием одноименной новеллы Гейне. Книга рассказывает также о "берлинском" периоде Андрея Белого, Алексея Толстого, Ильи Эренбурга, передает атмосферу "русского Берлина" 20-х годов.

РУССКИЕ  
КНИГИ

Kantstraße 82

Большой выбор книг  
и русских  
видеофильмов  
по самым низким  
ценам в городе

10629 Berlin  
Tel.: 3 23 48 15



#### СТУДИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ

0174 / 267 07 21

рекламная съемка

репродукция  
живописи

фотографии изделий декоративно-прикладного искусства



www.1a-digitalfoto.de

# Зов родины

Борис Хазанов



*Сие творите в мое воспоминание.  
Лука, 22, 19*

## Глава I

Пассажира атлантического лайнера увидел в иллюминаторе низкое здание аэровокзала, прочел название города – греческие буквы – и подумал, что должен был бы испытывать необычайное волнение. Вместо этого им владело странное спокойствие – чувство нереальности. Нереален был прежде всего он сам. Пассажир чинно шагал вместе с другими к широкому входу, который охраняли солдаты. В холле, на лестнице – всюду стояли вооруженные люди в пятнистой полевой форме, почему-то в матросских тельняшках под гимнастерками нараспашку. Он встал в очередь в зале паспортного контроля, народу все прибавлялось. Один за другим зажглись стеклянные кубы над контрольными кабинетами, люди перебежали от одной очереди к другой, толпа смешалась, турист топтался, не зная, куда податься, и очутился среди последних. Он сказал себе, что ему и положено быть последним. Каждый миг в самолете поглощал огромное пространство. Здесь понадобился час, чтобы переместиться на десять шагов. Пассажир разглядывал рекламы на стенах. Прислушивался к говору соотечественников, различал каждое слово, не понимая, о чем они говорят. Постепенно чувство действительности, которое сознаешь только когда оно исчезает, возвращалось к приезду, правильнее будет сказать – чувство другой действительности, словно он шагнул на другую половину разводного моста: одна нога здесь, другая там. Мост медленно расходится, внизу вода. Наконец, он приблизился. С чемоданом у ног, держа наготове свою книжечку, турист – а впрочем, какой же он турист, он сам не знал, как себя аттестовать, – ждал решающего момента. Мать с малышом на руках, держа за руку другого, засуетилась, посадила ребенка на полку перед стеклом кабины, рылась в сумочке, требовалось предъявить еще что-то. Офицер за стеклом – это была женщина – безучастно наблюдала за ней. Ему представилось, как пальцы с кровавым маникюром развернут его паспорт, контролерша, прижимая погоню телефонную трубку, произнесет несколько загадочных слов. Приезжего просят "пройти". Комната с зарешеченным окном, с портретом властителя. Путешественник требует, чтобы его соединили с посольством. Ошибаетесь, гражданин, посольство тут ни при чем. Но почему его задержали? А это вам объяснят в другом месте.

Хлоп! Удар штемпелем. Счастливая мать удалилась. Он подошел к окошку. Забытое ощущение человека с неполноценными документами. Он понимает, что чувство новой дей-

ствительности есть не что иное, как ожидание подвоха. Что-нибудь окажется не так; безупречны только фальшивые бумаги. Он протягивает паспорт, визу, на него смотрят из-под козырька спокойные женские глаза, голос приказывает снять очки. Дама в погонах задумалась. Хлоп, ему возвращают документы. Пассажир минует таможенный контроль – никто не интересуется его чемоданом – и выходит в неторопливую суету осеннего города. Блестят лужи, шуршат, подъезжая и отъезжая, машины. Пассажир глубоко вздохнул. Дождь перестал.

Он ищет глазами стоянку, но в этом нет надобности, его обступают, наперебой предлагая свои услуги, у этих людей наметанный глаз, в нем тотчас распознали чужеземца. Он решил не показывать виду и все же не удержался, дал понять (сразу же пожалев об этом), что он не новичок в городе. Летят навстречу рекламные щиты, надписи, макаронический язык, не русский и не английский, озябшие женщины на обочине, две и еще две, высоко открытые ноги, обтянутый зад, стоят, переминаясь, руки под грудью, одна выбегает на проезжую часть, машет клиенту, желтый глаз светофора пронесется мимо, грязный кузов автобуса загораживает путь, водитель в засаленном пиджаке объясняется с милиционером в широкой блинообразной фуражке с латунным орлом. Мир дробится словно в расколоте зеркала, город надвигается. Город завладевает гостем, и чувство утраченной действительности оживает вновь, но теперь ее права узурпирует новая действительность, другая суета отеснила волнение отъезда. Не доезжая Белорусского вокзала, свернули на правую полосу, почему не прямо? С этими людьми надо держать ухо востро. Шофер усмехнулся, не удостоив ответом; ленивая снисходительность старожила.

Между тем начинает темнеть, все больше огней вокруг, день сморщился. Путешественник забыл перевести часы. Он нажимает на кнопки входного устройства, один раз, другой, щелкнуло, он успел толкнуть дверь, в полутьме поднимается по ступенькам, гремучий, шаткий лифт тащит его вверх.

Слава Богу, хозяйка дома. Он снова уличил себя в том, что везде подозревает ловушку, лазутчик во враждебном стане. Человек приехал домой и как будто не домой. В совершенстве владеет местным наречием, и все же нет-нет да и выдаст себя каким-нибудь устарелым словечком. Иноземный гость, а как хорошо, легко и свободно, почти без ошибок изъясняется на языке страны. Гость вступил в сумрачную квартиру. Хозяйка – интеллигентная дама, милая и гостеприимная, возраст близко к восьмидесяти, ужасно одета, из-

лок жидких волос цвета семечек. Он пьет чай, с трудом уместив ноги под столом, и хвалит статуэтки животных из обожженной глины. Звери стоят на полочках в прихожей, на кухне, в комнате, где помещается стол, книжный шкаф, телевизор, горшки с чертополохом, где на шкафу и под столом картонные коробки из-под чего-то с имуществом, и все свободное место заставлено чем-то, негде повернуться, старое правило: чем человек бедней, тем больше у него добра. Тут же и ложе, на котором предстоит ночевать. Он сразу же отсчитывает доллары.

"Я у сестры. Если что случится..." Что может случиться? Если отключат воду или что-нибудь с электричеством. После этого она долго объясняет, как пользоваться ключами. Вода с грохотом вырывается из крана. Он хотел принять душ, но раздумал. И, засыпая, снова видит зал паспортного контроля, солдат, диковинные рекламы, ярко освещенную кабину, даму за стеклом, в форменном галстуке, с выдающейся грудью.

## Глава II

Он проснулся от резкого звонка: участковый милиционер. Бдительный сосед. Нищенка с ребенком. Или – люди "оттуда"?

В пыльных завесах солнца пляшут искры, приезжий, в трусах, сидит между своими коленями на низком диване, почти на полу, среди коробок, книг, иссохших растений, ждет, когда снова позвонят в дверь. Он приготовился к обороне, он иностранный подданный, what on earth you're doing here? Какого дьявола. Он спит, оставьте его в покое. Его нет дома. Его нет вообще. Всякий покинувший страну перестает существовать, уехав, мы умерли. Чего ж вы ломитесь к несуществующему человеку?..

Его нет, и все же он здесь. Поразительно и невероятно: он – здесь. Проходят минуты, за дверью молчание. Звонки не повторяются. Он включает радио, женский голос несет непонятную чушь на чудовищном языке подворотен: на родном языке. За завтраком (добрая хозяйка оставила кое-что в холодильнике) турист решает не мешкая приняться за дело, раздумывает, позвонить ли ему на улице из автомата или прямо отсюда.

Он крутит диск. "Павел Евгеньевич?"

"Какой тебе еще Павел Евгеньевич".

"Мне, пожалуйста, Павла Евгеньевича".

"А кто его спрашивает?"

"Знакомый... с ним договаривались".

"Кто договаривался?"

"Знакомый".

"Кто его спрашивает?.."

Чертей, говорит Мефистофель, вызывают трижды. Под конец трубку берет сам Павел Евгеньевич, о котором известно только то, что его зовут Павел Евгеньевич. Приезжий передает привет от такого-то, пароль срабатывает, ему велят позвонить через полчаса. Пыльно отсвечивает мутный, как око слепца, экран телевизора, за окном, в просвете темных и, должно быть, десятилетиями не стиранных штор, сияющий день. Первый день на родине. Несколько времени погода несуществующий человек тычет пальцем снова в отверстие шаткого диска, стучит рычажком, снова и снова набирает номер. Он вышел на улицу, одетый так, чтобы не бросаться в глаза, но что-то в походке, в лице выдает в нем пришельца с того света. Лазарь воскрес из мертвых. Блудный сын вернулся. То-то радости. Заколите откормленного тельца!

И в самом деле, день так юн и ослепителен, и сверкает в витринах, и вспыхивает молниями в стеклах несущихся машин, – забытое счастье оживает в душе приезжего – счастье выбежать из парадного без шапки, в распахнутом пальто, в синеву, счастье шагать по этим улицам, и ему кажется, сейчас, когда пришла пора приступить к делу, осуществить план,

ради которого затеяно путешествие, – кажется, что задуманное было не целью, а только предлогом.

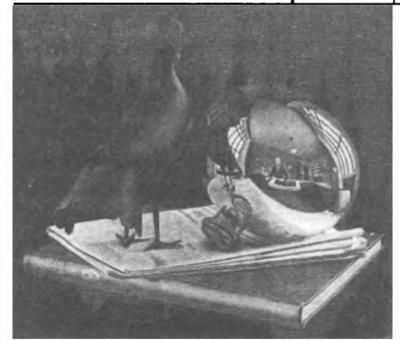
Мешает, однако, нечто. Гаснут молнии дня, солнце зашло за тучку. Мешает чувство умышленности. Прохожие искоса поглядывают на него. Чьи-то глаза издали провожают его. Он идет, жметя к домам, и кто-то следует за ним. С самого начала его взяли на прицел, его поджидали у подъезда. Он сворачивает, кто-то тоже сворачивает. Это уже что-то психиатрическое. Город обернулся чудовищем, успеть перебежать улицу, рискуя жизнью: бесправие пешеходов, вот первое, чему здесь следует научиться. Турист увидел вывеску ювелирного магазина, прошагал мимо, помедлил на углу, вернулся, разглядывает витрину, охранник из отряда приматов, поперек себя шире, устремил на него недобрый зрак.

Дальнейшее начинает напоминать скверный криминальный роман, а чего же вы, собственно, ожидали? Некто кивает в стеклянных дверях, клиент входит внутрь. Оба минуют торговый зал, его ни о чем не спрашивают, в задней комнате сидит элегантный, с дорогой булавкой в галстуке, по виду совершенно западный, деловой и немногословный молодой человек. Едут по Садовому кольцу. По кольцу, где катится лавина, где блещут сполохи, где воздух дрожит от рева и грохота, руки водителя, в перстнях, в манжетах с запонками из лунного камня, вращают баранку, глаза прищурены, для этой касты правил не существует. Врываются в гущу урчащих, тархатящих машин, несутся вперед под рубиновым оком светофора, лихо сворачивают. И уже совсем близко, подумать только, Красные Ворота. Он вспомнил, что в детстве огромный город казался враждебным и неисследимым, как лес. Дворы, переулки, Боярский, Большой Козловский, Большой Харитоньевский, Чистые пруды, вот наша отчизна. Визжат тормоза.

Проезд Серова или как он теперь называется; никто больше не сможет ответить, кто такой был этот Серов. Никто, должно быть, уже не помнит – на углу была керосиновая лавка, огромные буквы "Не курить", а к стати, что тогда курили: "Беломор", "Звездочку", папиросы-гвоздики "Бокс"? Внутри все обито железом, стены, пол, прилавок, желто-серебристые струи льются из двух кранов в железное корыто, продавец в клеенчатом фартуке красной, лоснящейся ручищей, литровым черпаком наливает серебряный керосин, вытряхивает капли из воронки, очередь с бидонами, с бутылками на веревочке, и этот запах.

Чуть дальше покажется полукруглый, изображающий вход в туннель павильон метро. "Где такие люди, настойчивые люди?..." Хор всесоюзного радиокомитета под управлением Кувыкина. А ведь мы даже помним, хоть и смутно, шахту метрополитена в переулке, рядом с особняком чехословацкого посольства, как раз против наших окон "Они сказали, будет сдана работа в срок! Кессонщики, бетонщики... Бетонщики, кессонщики... Где такие люди? На Ме Тро!".

Осанна! Ликует хор всесоюзного радиокомитета. Срок-метро, убудочная рифма в духе тридцатых годов. Что такое срок? Словари лгут. Схватить срок, тянуть срок. Влепить новый срок. Дамы и господа, вот откуда надо начинать: с изменения семантики. Кстати, ни одна крупная стройка не обходилась без участия заключенных. Все слепилось вместе на этих улицах, прошлое, как смог, повисло над тротуарами, над башней Народного комиссариата путей сообщения с двумя квадратными циферблатами, с гигантским портретом генералиссимуса накануне Первого мая и Сельского ноября, а там Земляной Вал, поворот на Покровку, ки-



нотеатр "Спартак", Маросейка, Ильинка, ночные переулки и гранитная цитадель, мимо которой вы проходите каждый день. Сами собой раздвигаются чугунные створы, двор, тусклые огоньки, этажи камер.

## Глава III

Экипаж свернул, не доезжая площади Красных Ворот, скрипнули тормоза, вылезает. Старый и основательный дом из времен детства. "Свой!" – кричат ему окна. "Чужой", – бубнит подъезд. Темная лестница с дореволюционными перилами, по ним съезжали на животе сто лет назад. Гермес в перстнях ведет клиента, звякнула цепочка, на пороге встречает хозяин квартиры, импозантная личность, борода и грива, косая сажень в плечах, интеллектуал-громила с кольцом в ухе, с золотым крестом на шее, в куртке иноземного покроя и необъятных джинсах. Мяукает кот. "Брысь!". Тем временем провожатый деликатно исчез.

Таинственная квартира похожа на хаверу контрабандистов, на домашний музей коллекционера, на антикварный магазин; впрочем, хозяин – известное лицо, историк-фантаст; разбойная внешность, очевидно, не более чем модный стиль. На стенах висят бердыши и кинжалы, за стеклом на бархате выставка крестов, медалей, звезд, сейчас можно без особых усилий приобрести полного Георгиевского кавалера, можно Отечественную войну. Заметьте, подлинную. Желаете посмотреть?.. Не интересуетесь. А что же вас интересует?

Приезжий осторожно напоминает о...

"Со мной?.. Ошибаетесь, драгоценный, со мной никто ни о чем не договаривался!"

Должен был позвонить Павел Евгеньевич.

"Павел Евгеньевич? Впервые слышу это имя".

Как же так...

"Да Бог с ним. – Хозяин подталкивает гостя в комнатку рядом: рабочий кабинет писателя. – Так вы, значит... э... Надолго?"

"Не то чтобы".

"Понимаю. Так сказать, паломничество. К отеческим гробам. Коньячку?"

О, сказал гость, мельком взглянув на этикетку.

Писатель развел руками:

"Другого не держим-с".

Густобородый детина, перехватив взгляд посетителя, поднялся и снял с полки несколько книг, стоявших на виду, – пестро-глянцевые переплеты.

"Интересуюсь, как видите, отечественной историей... Непочтатый край. Все сфальсифицировано коммунистами".

Иностранец разглядывал обложки и переворачивал страницы. Ханский ярлык. Государи Московские. На стремных судьбы. Он читал: "Княгиня с нежностью смотрела вслед сыну, украдкой смахивая с ресниц слезинки". Читал: "У всякого народа есть единая цель. У великого народа должна быть и великая цель". Писатель разлил питье по бокалам.

"Вы там, как бы это сказать, маленько отстали... А вот кстати: известно ли вам, при каких обстоятельствах было совершено это изобретение?"

Какое изобретение, спросил гость.

"Вот это! – Писатель показал на тарелку с нарезанным лимоном. – Тоже в своем роде фрагмент отечественной истории. Ну-с..."

Поднял кубки.

"За то, чтобы у нас все было о-кэй. За нашу... ну, в общем, за нашу родину, едри ее в корень. Родину забывать нельзя. Согласны?"

Согласен, сказал гость. Хозяин опрокинул пузатую рюмку в волосатый рот, с наслаждением обсосал дольку лимона.

"Какой фрагмент? А вот какой. Государь император Александр Третий, да будет вам известно, был большим почита-

## Ruf der Heimat

von Boris Chazanow

(Auszug)

## Kapitel 4

Die Stadt ähnelt einem Drahtwickel. Die Stadt kann man nicht entwirren, es ist unmöglich, die Schlaufen zu glätten, die krummen Straßen zu begradigen, und es wird niemals gelingen, sie weiträumig und freizügig zu gestalten, selbst wenn man solche Scheußlichkeiten wie die Furnierholzreklame, die geschmacklosen Statuen, den Pfefferkuchenkitsch und den Großmachtprunk beseitigen würde. Der Tourist stärkt sich mit dem, was es gibt, und wälzt sich in der Streu. Der Ausländer fühlt sich niedergeschlagen und müde, er ist das Klima nicht mehr gewöhnt, fürchtet das Gedränge, irgendwas liegt in der Luft, daher diese Gedanken. Seltsam, er kann sich nicht entschließen, zu den geliebten Plätzen zu schlendern, sich ins Stadtzentrum zu begeben, noch einmal die Türme mit den Stemen und Adlern und den monströsen Reiter vorm Historischen Museum zu sehen. An der Universität vorbei zu spazieren, die Luft der schönen Stadt einzuatmen, die einmal unser einziges Vaterland gewesen ist. Uns schien es, dass wir Fleisch von ihrem Fleisch seien.

Die Stadt war uralt, gebrechlich, um sich dessen zu vergewissern, genügte es, einen Blick in die erstbeste Hofeinfahrt zu werfen, den Hof zu betreten und sich das zerfallene Gesims, die rostigen Regenrinnen, das abgebröckelte Mauerwerk anzuschauen, genügte es, ihre hervorstehenden alten Knochen und ihre halbvertrockneten Ausdünstungen zu betrachten. Die Stadt war alt, doch wirkte sie seltsam und unnatürlich jugendlich, als ob sie sich einer riskanten Transplantation unterzogen hatte. Die Stadt erinnerte an einen hochbetagten, eröteten Kavaliere. Und dem Zugereisten schien es, als habe er das Geheimnis dieser Erneuerung, dieser verdächtig-künstlichen Jugend gelöst: ihre Bedingung war das Schweigen über die Vergangenheit. Im Vergessen des Vergangenen bestand das unausgesprochene Gesetz. Doch ist er nicht selbst, *god damn*, – er selbst – die Vergangenheit!

Aber was ist dann mit diesen byzantinischen Adlern, dem grimmigen Marschall, den frischen Zwiebeltürmen der Kirchen, dieser ganzen zur Schau gestellten dekorativen Geschichte?.. Zwei Tage, drei Tage, mit Mühe eine Woche. Und uns gibt es hier nicht mehr. Gespenster bleiben nicht lange. Doch solange, ehe es zur „Sache“ geht, wollte man doch was sehen. Er wühlt in seinem Notizbuch. Im Nu blieb von den großen Gedanken keine Spur mehr: er sieht, wie die Dinge im ärmlichen Zimmer zusammensucken, das ist das Herzklopfen.

Kurze Signale der Nerven, das Zimmer lebt.

Sie spricht da mit jemandem – wenn sie es ist. Vielleicht wohnen da auch andere Leute. Vielleicht hat sich auch die Nummer geändert. Über das niedrige Bett gebeugt, fast auf dem Boden sitzend, wählt der Mieter die Nummer immer wieder. Zwei Stunden später sucht er dieselbe Adresse auf – es ist die gleiche Adresse wie früher, nichts hat sich geändert, aber jetzt, doch jetzt sieht er weder die dreckigen Hofeinfahrten noch die herabgesenkten Regenrinnen, er sieht die geliebte alte Vergangenheit, er ist gerührt, nur daran zu denken, fast zu Tränen. Er steht auf dem Treppenabsatz vor der Wohnung, erkennt die Handschrift auf dem an die Tür gehefteten Zettel, es ist noch die gleiche Handschrift. Fast gleich darauf – erstaunlich, wie pünktlich sie ist – sind Schritte zu hören, die langsam die Treppe hinaufsteigen, noch zwei Stufen, noch eine, und sie taucht auf dem nächsten Absatz auf, eine

telem und коллекционером коньяков. Его собрание демонстрировалось на выставке в Париже. Вообще знал толк в выпивке... Так вот".

Между тем на свет извлекается нечто из потайного ящика письменного стола, бородач держит в руках картонную коробку.

"Знал, говорю, толк. Но, к несчастью, врачи определили болезнь почек. Прописали его величеству витамины, лимоны, ни капли спиртного. За этим следила сама царица. А знаете, кто она была?"

Коробка лежит на столе.

"Мешаешь. Брысь". Кот разгуливает, задевая хвостом за брюки покупателя. Писатель протягивает ладонь, гость из-

каум wiederzuerkennende dicke Frau mit eingefallenem Gesicht, rosigen Wangen und trübem Blick, wie viele Jahre vergangen sind, ob wir sie wohl erkennen werden, wie wir die Stimme am Telefon erkannt haben?

Ob es damals Liebe auf den ersten Blick war, ist jetzt schwer zu sagen, doch was tatsächlich fürs ganze Leben in der Erinnerung geblieben ist, ist jenes erste Mal, als er aus dem Hörsaal kam, es war wohl schon gegen Abend, auf der Galerie brannten entlang der ganzen Balustrade matte runde Leuchten, während des ganzen ersten Studienjahres fanden die Veranstaltungen in der Spätschicht statt, – als er herauskam, bemerkte er zwei mit dem Rücken zu ihm stehende Mädchen, und eine von ihnen, die ein kurzes rotes Kleid trug, über die Balustrade gelehnt, auf Zehenspitzen, schaute zur Haupteingangstreppe hinunter, so dass ihr Nacken unter dem Durcheinander ihrer irgendwie zusammengesteckten dunkelhonigfarbenen Haare zu sehen war und sich das Kleid leicht über die Hüften hob, und das war sie. Wenn man etwas mit den Jahren lernen kann, dann wirklich nur das, einen Frauenkörper unter der Kleidung zu sehen, und er erinnerte sich genau, dass er damals keinerlei Körper sah, sondern sie als Ganze gesehen hatte, und dieses Bild eines auf den Zehenspitzen stehenden Mädchens in rotem Kleid prägte sich wie auf einer Fotoplatte ein. Dieses Gefühl von Jugend, die das unendliche Leben noch vor sich hat.

Der Leutnant zeigt ihm das Foto. Der Leutnant im Militärhemd mit Schulterklappe, ein guter, listiger, einem zublinzelnder, unverschämt fröhlicher Mensch, als ob er immer leicht angeheitert sei, in einen Mantel mit dickem Futter gewickelt kommt er zu dem Sitzenden, munter und kühl wie ein Stückchen Glas. Er hat tagsüber ausgeschlafen. Wo sind sie jetzt? Wer sitzt da jetzt an ihrer Stelle in dem gewaltigen Folterkellerpalast, an den man damals gerade erst einen zweiten angebaut hatte, der noch größer war, mit einer Mauer hoch über dem Dach, wo sich die Höfe für die Ausgänge befanden? Wer dreht in den Höfen wohl jetzt seine Runden, paarweise, die Hände hinterm Rücken? Schwarze, winterliche Finsternis, ein weit geöffnetes Fenster, Gitter, die tote Stadt, vier Uhr nachts, der Minutenzeiger über der Tür springt über die auf die Wand gemalten Ziffern, der Tisch unter dem Porträt des Eisernen Felix und der vor Kälte schlotternde, vor Schlaflosigkeit halbtote Adressat hinter einem winzigen Tischchen in der gegenüberliegenden Ecke, die wievielte Nacht hintereinander. Und dieses Foto. Der Leutnant schnalzte mit den Fingern, als wenn er ein Taschenspieler wäre, hält mit zwei Fingern das kleine Porträtfoto, klare Augen, die Locken honigfarbener Haare, ein zartes Kinn, wer ist das? Na ja, eine Bekannte. Auf der Rückseite statt eines Namen ein Rebus. Eine Konspiration, eine Chiffre? Ist ja ein fesches Mädels. Hast du sie – du weißt schon? Und, wie war's? Nun, erzähl schon.

Sie hatte es endlich bis zum Treppenabsatz geschafft, ihr Atem war zu hören, doch da stellte sich heraus, dass es nicht sie war. Sie ging vorbei ohne den Gast zu beachten, sich ans Geländer klammernd, – und weiter nach oben, sie blieb auf dem Absatz eine Etage höher stehen, über seinem Kopf war das Schlüsselgeklapper zu hören.

Stille. Der Fremde reißt den Zettel ab – „bin gleich wieder da“, es ist aber schon eine halbe Stunde vergangen. 45 Minuten waren vergangen. Alles ist hoffnungslos in dieser Stadt, sie sagen das eine und denken an anderes, verabreden ein Treffen und erscheinen nicht. Ein Betrugsmanöver, und nicht zufällig klang ihre Stimme zweideutig. Das Leben ist in verschiedene Richtungen verlaufen. War einverstanden, sich zu treffen, und bedauerte es im gleichen Moment, und jetzt bedeutet diese Nachricht, diese Chiffre: warten und fortgehen. Der Besucher zerkrümt den Zettel, macht einen Schritt zum Geländer, halt, unten schlägt die Eingangstür zu. Wieder klappert jemand mit seinen Absätzen die Treppe hoch.

влекает конверт из внутреннего кармана, хозяин небрежно-уверенными движениями, большим пальцем пересчитывает серозеленые сотенные бумажки.

"Она была датчанка. Все русские царицы были немками, она единственная датчанка. А датчане, заметьте, отъявленные трезвенники. Ну и вот, однажды она входит, царь в это время сидел со свитским генералом: естественно, выпивали. Увидал жену – и бутылку в сапог. А сам сосет лимонную дольку, соблюдает диету. И, представьте себе, получилось исключительно удачное сочетание. За границей неохотно признают наш приоритет".

За границей, возразил гость, коньяк не принято заедать лимоном.

"Знаю, знаю; тем хуже. Еще рюмашку? На посошок".

Клиент распаковывает товар, осматривает покупку. Хозяин важно кивает, можете не сомневаться. Ему вручили принадлежности, все, что полагается: сбрую, круглую, черно поблескивающую штуку в целлофане и жестяную коробку, похоже, из-под леденцов. Разве они еще существуют? А как же.

В мое время, заметил гость, их уже не было.

"Ваше время, дорогуша, прошло и больше не вернется. У нас теперь все есть. И монпасье, и коньяки какие только душа пожелает. Одним словом, все. И даже больше".

"Вы сказали: не вернется?"

"Никогда". Помолчали, хозяин проговорил:

"Если нужен специалист..." – и показал глазами на коробку. Иностранец слушал с легким любопытством.

"Ну что, непонятно, что ли?"

"Нет, отчего же", – возразил приезжий.

"Это обойдется ненамного дороже. Можно договориться. Вы возвращаете мне вот это, доплачиваете разницу... фамилия, адрес, необходимые приметы. Об остальном можете не беспокоиться. Спокойно садитесь в самолет. Объявление в рамочке вам пришлют. Ваше здоровье".

Они бредут по узкому коридору мимо каких-то шинелей, фельдьегеровских плащей с меховой пелериной.

"Хотел сказать вам напоследок... Стебанный в р-рот!" – заревел он и яростно пнул кота. Зверь отлетел с жалостным мяуканьем в другой конец коридора.

"Хотел предупредить. На всякий случай. Люди-то ведь разные бывают. – Он заглянул в глазок, взялся за дверную цепочку. – Слушай меня внимательно. Я не знаю, кто ты такой, ты не знаешь, кто я такой. Ты меня не видел, и я тебя не видел, ясно?"

Пауза.

"Так вот, – ласково промолвил хозяин, – если ты, е...на мать, кого-нибудь сюда приведешь. Или кто сам без тебя придет, ты меня понял".

Гость сделал удивленные глаза.

"Объясняю. Если кто-нибудь что-нибудь. Хоть кому-нибудь. Предупреждаю. Глаза выколю, яйца раздавлю. Разыщу везде, хоть в Новой Зеландии. Ясно?"

Молчание, иностранец пожал плечами.

"Может, повторить?"

"Ясно", – сказал гость.

"Окей. Вижу, что имею дело с интеллигентным человеком. А теперь канай отсюда. – Он снял цепочку. – Кстати, подумайте над моим предложением. На размышление два дня. Если нет, считайте, что я вам приснился. Всех благ".

Княгиня с нежностью смотрела...

#### Глава IV

Город похож на моток проволоки. Город нельзя распутать, невозможно разогнуть его петли, выпрямить кривые улицы, и никогда не удастся сделать его просторным, вольным, даже если смести эту мерзость фанерных реклам, безкусных статей и прятничного кича и державного великолепия. Турист подкрепился чем Бог послал и валется на подстилке. Иноземец чувствует себя подавленным и разбитым, он отвык от климата, страшится толчеи, что-то примешано в воздухе, вот откуда эти мысли. Странно, он не решается побродить по любимым местам, двинуться в центр, увидеть еще раз башни со звездами и орлами и монструозного всадника перед Историческим музеем. Пройтись мимо университета, вдохнуть воздух прекрасного города, который некогда был единственным нашим отечеством. Нам казалось, что мы плоть от его плоти.

Город был древен, дряхл, чтобы удостовериться в этом, достаточно было заглянуть в первую попавшуюся на глаза подворотню, войти во двор и бросить взгляд на осыпавши-

еся карнизы, ржавые водосточные трубы, искрошенную кирпичную кладку, достаточно было увидеть его торчащие старые кости и полусохшие выделения. Город был стар, но странно и неестественно молодожав, словно подвергся рискованной операции пересадки гонад. Город напоминал престарелого нарумяненного кавалера. И приезжему казалось, что он разгадал секрет этого обновления, этой подозрительно-искусственной юности: ее условием было молчание о прошлом. Забвение прошлого – негласный закон. Но ведь он сам, god damn, – он сам – прошлое!

А как же эти византийские орлы, свирепый маршал и новенькие маковки церковей, вся декоративная история, выставленная напоказ?.. Два дня, три дня, от силы неделя. И нас здесь больше не будет. Призраки долго не задерживаются. А пока, прежде чем приступить к "делу", хотелось бы повидать кое-кого. Он роется в записной книжке. В одно мгновение от высоких материй не осталось следа; он видит, как вздрагивают вещи в убогой комнате, это колотится сердце.

Короткие нервные гудки, квартира жива.



Она там говорит с кем-то – если это она. Может быть, там живут другие люди. Может быть, сменился номер. Сгорбившись на низком ложе, сидя чуть ли не на полу, жилец крутит диск снова и снова. Два часа

спустя он шагает по адресу, – адрес прежний, ничего не изменилось, но теперь он не видит ни грязных подворотен, ни осевших водосточных труб, он видит любимое старое прошлое, он тронут, подумать только, почти до слез. Он стоит на площадке перед квартирой, узнает почерк на приклепленной к дверям записке, почерк все тот же. Почти сразу же – удивительно, как она точна, – доносятся шаги, медленно поднимаются по ступенькам, один марш, другой, сейчас она покажется из-за поворота лестницы, неузнаваемо отяжелевшая, обвисшая женщина с розовыми щеками, с потускневшим взглядом, сколько лет прошло, сумеем ли мы узнать ее, как узнали голос по телефону?

Была ли это любовь с первого взгляда, сказать сейчас трудно, но что действительно осталось в памяти на всю жизнь, это тот первый раз, когда он вышел из аудитории, кажется, это было уже под вечер, на галерее вдоль всей балюстрады горели матовые шары, весь первый курс занятия происходил во вторую смену, – выходя, он заметил двух стоявших спиной к нему, и одна из них, в коротком красном платье, склонившись над балюстрадой, на цыпочках, смотрела вниз на парадную лестницу, так что ее затылок виднелся над путаницей кое-как скототых волос темно-медового цвета и платье слегка приподнялось на бедрах, и это была она. Если можно чему-нибудь научиться с годами, то разве только уметь видеть тело женщины под одеждой, и он прекрасно помнил, что никакого тела он не видел, а видел ее всю, и этот очерк привставшей на цыпочки девушки в красном платье отпечатался как на фотопластинке. Это чувство юности, бесконечной жизни впереди.

Лейтенант показал ему фотографию. Лейтенант, в гимнастерке с крылышками погон, ладный, хитрый, подмигивающий, нагло-веселый человек, всегда как будто в подпитии, кутаясь в шинель на толстой подкладке, подходит к сидящему. бодрый, свежий, как стеклышко. Выспался днем. Где они все теперь? Кто там теперь сидит вместо них в циклопическом дворце-застенке, к которому тогда только что был пристроен другой, еще больше, со стеной высоко на крыше, где находились прогулочные дворы? Кто кружит сейчас, парами, руки за спину, по этим дворам? Черная зимняя мгла, распахнутое окно, решетка, мертвый город, четвертый час,

минутная стрелка над дверью прыгает по цифрам, нарисованным на стене, стол под портретом Железного Феликса и продрогший, полуживой от бессоницы арестант за крошечным столиком в противоположном углу, которую ночь подряд. И эта фотография. Лейтенант щелкнул пальцами, словно фокусник, двумя пальцами держит карточку, ясные глаза, завитки медовых волос, нежный подбородок, кто такая? Так, знакомая. На обороте вместо имени ребус. Конспирация, шифр? Ничего себе краля. Ты ее – того? Ну и как? Давай, рассказывай.

Она, наконец, взобралась на площадку между маршами, слышно ее дыхание, но тут оказывается, что это не она. Пройдя мимо и не взглянув на гостя, цепляясь за перила, – и дальше наверх, и ее шаги останавливаются на площадке верхнего этажа, над его головой, слышнобряканье ключей.

"Тишина. Пришелец сдергивает записку – сейчас вернусь", но прошло уже полчаса. Прошло сорок пять минут. Все ненадежно в этом городе, говорят одно, думают другое, назначают встречу и не являются. Обманный маневр, и не зря ее голос звучал двусмысленно. Жизнь растеклась в разные стороны. Согласилась увидеться, и тотчас пожалела, и теперь это уведомление, этот шифр означает: подождать и уйти. Посетитель комкает записку, делает шаг к перилам, стоп, внизу хлопнула дверь подъезда. Снова кто-то постукивает каблуками по лестнице.

## Глава V

Она слегка запыхалась. Человек, прибывший из прошлого, видит ее наяву: она в расстегнутом пальто, шелковая козынька вокруг шеи. Поразительно. Нет, это просто невероятно, лепечет он.

"Раздевайся, – сказала она, снимая пальто, сдергивая козыньку. – Что тебя так удивило?"

Она в темнооранжевом закрытом платье до колен, это ее цвет; накладные плечи, платье подчеркивает грудь и талию. Вернулась мода тех лет. Она подходит к зеркалу... Та же прическа, завитки на висках.

"Поразительно, ты совершенно не изменилась".

Темноянтарные глаза, грудной голос, привкус меда:

"Столько лет прошло, Оля".

"Ты долго ждал?"

Вероятно, хочет сказать, долго ли пришлось стоять на лестнице. Достает из буфета чашки с синими ободками, по-видимому, парадный сервиз, сидит на корточках перед холодильником, застежка лифчика между лопатками, круглый зад, обтянутый платьем. Чайник кипит на плите.

"Извини, – она улыбается, – память девичья. Опять забыла... как тебя зовут?"

Забыла, вот те раз.

"Но ведь ты узнала меня, когда я звонил".

"Узнать – то узнала. И лицо помню... Мы вместе учились, да? Напомни, пожалуйста".

Может быть, она притворяется? Или спутала с кем-то. А может, оттого, что он не носил очков, стеснялся, хотя близорук с детства. И когда его увели, очки остались дома, так и пришлось трубить все лагерные годы.

Гость все еще держит в руках свое приношение.

"О, спасибо. У нас теперь это тоже есть..."

Он возится со штопором, из кухни перешли в комнату, веселенькие гардины во всю стену приоткрывают широкое низкое окно без подоконника, люстра с подвесками под старину, игрушки, статуэтки, парадные корешки книг за стеклами. Мишка на диване и фотографии. Она и еще кто-то, она посреди школьных подруг, а вот их выпуск, полузабытые лица; его, конечно, здесь нет.

"Так ты, значит..." Она спрашивает, откуда он приехал.

Видно, в самом деле все улетучилось из ее памяти, но тут ему приходит в голову простая мысль: даже если она при-

творяется, что не помнит, – какая, в сущности, разница? Слово откровение, несуществующего человека осеняет истина: все, что кажется ему таким важным, не имеет значения. Все, чем он жил эти годы, никому не интересно, и сам он неинтересен, потому что его не существует. Двух времен быть не может, уехав, он как бы умер; а здесь идет своя жизнь. Здесь живут своими заботами, новостями, сенсациями, от этих забот он за тысячу верст, а то, что для него живо, словно случилось вчера, для них прошлогодний снег, неправдоподобное, быть может, даже запретное прошлое.

"Для них". Теперь и она превратилась в одну из "них".

Но о чем же он может еще говорить, если его вторая жизнь, страны и города, и весь огромный мир, который он повидал, по-видимому, совершенно не интересуют собеседницу, да и сам он, очутившись здесь, поддался гипнозу памяти настолько, что жизнь в изгнании начинает казаться фантомом, ему не хочется о ней рассказывать. Его и не спрашивают. Понимая, видя по выражению ее глаз, по тому, как она скучливо кивает, рассеянно пригубила рюмку, рассекла лопаточкой торт, видя и понимая, что воспоминания ее нисколько не увлекают, что, по-видимому, она думает о каких-то срочных делах и ждет, когда он поднимется, чтобы проститься, – гость не может остановиться и все еще повторяет упавшим голосом: а помнишь парадную лестницу, балюстраду, где мы часами стояли, глядя вниз... Помнишь то, помнишь это... Да, помню, говорит она. Нет, не помню.

"Помнишь, как липы сажали?"

Вдоль всего тротуара перед университетом, перед Александровским садом, вокруг всего центра были вырыты ямы, подъезжали грузовики, в каждом кузове по два ящика с тонкими деревьями.

Нет, она не помнит.

"А Серегу помнишь?"

Какого Серегу?

"Он приходил к нам на факультет".

Она поджимает губы, мотает головой.

"Ну, такой... Ну, он еще..."

Пожимает плечами.

"Вас, наверное, всех вызывали", – сказал гость.

"Кто вызывал?"

"Когда это случилось".

И опять она ничего не понимает, не помнит, словно вчера родилась на свет: что случилось? Что он имеет в виду? Разговор глухонемых. И, словно под крутящимися стрелками часов, она неудержимо стареет: видны морщинки вокруг глаз, пергаментные веки, дрябловатая шея. Тяжелеет и становится жестче ее лицо, день опять заволокло тучами, обещали дождь, говорит она, и зажигает люстру, но искусственный свет еще безжалостней подчеркивает ее годы. Но память, о, память ревнива и не терпит поправок, память держится за свое и отталкивает новые впечатления. Пройдет немного времени, может быть, несколько часов, и этот новый образ поблекнет. Вместо него снова вступит в свои права та, какой она была на самом деле, какой была когда-то на фотографии, которую эти крысы нашли при обыске и следователь показывал, держа, словно карточный фокусник, между пальцами. Пройдет несколько часов, и никогда больше не припомнишь, о чем, собственно, шел разговор под люстрой. Ни к чему было и встречаться.

Я знаю, думал приезжий, что ты предала меня. Он шел и говорил сам с собой, это было продолжение ненужного разговора. Не хочется ворошить эту историю, к чему? Любая поступила бы так на твоём месте. Тебе грозили, ты испугалась, кто же не пугался тогда до обморока, до изумления, до патриотического восторга? Ты подписала то, что велели, не думай, что я приходил, чтобы об этом напомнить, дорогая, это не имеет значения. И я не сержусь за то, что ты сделала вид, будто все позабыла, даже мое имя... может, так и нужно, а может, в самом деле забыла.

Он шел и думал: у тебя своя жизнь. У всех своя жизнь. Я увидел тебя на лестнице, я ждал, что увижу старуху, и вдруг, не чудо ли – все вернулось. Но у тебя своя жизнь, и двух времен не бывает. Ты сидела напротив меня и думала, когда же он, наконец, уберется. У тебя пергаментные веки, дряблая шея и складки у рта, но они разгладились, не правда ли, когда я ушел. Ты права, жить можно только так – убедив себя, что ничего не случилось, и тогда окажется, что ничего на самом деле и не случилось, не было ничего, никого не увозили, не убивали, забвение – условие молодости, ты хочешь быть молодой, ты останешься молодой, думал приезжий.

## Глава VI

Он шагает по набережной, сворачивает в переулок, решил совершить это паломничество, как в былые времена отправлялись приложиться к мощам накануне опасного предприятия.

В вестибюле, напротив киоска с альбомами и открытками, иностранец протягивает деньги в окошечко, один билет, будьте добры.

"Вы – турист?"

Он величественно кивнул.

"Русский язык понимаете?"

"Думаю, что да", – сказал приезжий.

Кассирша показывает на объявление: входной билет для граждан России столько-то, для зарубежных гостей... ого, это уже что-то новое, род пошлости на искусство. Турист усмехнулся недоброй усмешкой.

"Будьте любезны, – отчеканил он, – один билет".

"Вы по-русски понимаете?"

"Это не по-русски".

"А по каковски?" – спросила она саркастически.

"Гражданин, – сказал кто-то за спиной, – или платите, или отойдите".

Турист презрительно скосил глаза. Подошел милиционер.

"Вот, требуют билет, а платить не желают".

Иностранец сказал:

"Во-первых, я не требую, а прошу. Во-вторых – почему же это я не желаю".

"Вот и платите".

"Да, но..."

" Попрошу документы".

Турист шмыгнул носом.

"Я великолуцкий".

"Чего?"

"Из Великих Лук... город такой".

"Знаем, что город. Документы ваши попрошу предъявить".

"Документы? – переспросил турист, и тотчас всколыхнулась трясина застарелых привычек, страхов, защитных рефлексов, он почувствовал себя как муха в клею. – Какие документы?"

Сзади напомнили:

"Гражданин! Или платите, или..."

Турист копался в боковом кармане, предъявлять нельзя ни в коем случае и сказать, что потерял, тоже нельзя. Он проклинал себя, дурацкую мысль идти в музей. Отошли в сторонку. Иностранец поглядел по сторонам.

"Знаете что, – пробормотал он, вынул, наконец, свою атлантическую книжечку и, стеснясь, торопливо вложил в нее кое-что. – Я вот тут подумал... Чем платить, лучше уж подарю вам..."

Человек в погонах откозырнул и проводил гостя до входа.

"Это наш человек".

Иностранец вступил в зал.

Кое-что изменилось. И, пожалуй, ничего не изменилось. Как они висели, так и висят. Поблескивают рамы, белый пасмурный день отвешивает в стеклах. Мимо, мимо... Смолистые кудри Димитрия Солунского, крутолобый Николай Мирликийский, узкая, похожая на подростка Параскева Пятница, братья-мученики в круглых шапках, со скорбными лицами, с флажками на копьях, бок о бок на неподвижно гарцующих тонкошеих конях, – пока, наконец, он не замечает издали трех юношей. Ни на что больше он смотреть не хотел.

Странно, думал он, сколько нового можно было извлечь из коротенького рассказа, древние иудеи должны были представлять себе эту историю совершенно иначе; да и вообще речь шла о чем-то другом. В полуденный зной пришли три мужика в запыленной одежде, издали, кое о чем сообщить. Их усадили в тени под деревом, хозяин велит жене накормить гостей. Суровые будни Библии, "и господин мой стар", никаких зримых подкреплений веры, только так может выглядеть правдивым этот невероятный рассказ. А здесь не мужи – ангелы. Они ничего не едят, ничего не говорят, они просто сидят и молчат, склонив головы в пышных прическах, и угадывают мысли друг друга. В сущности, все трое – одна неизреченная мысль. Красота, гармония, покой. То, чего никогда не бывает, никогда не было и не будет на этой земле.

У приезжего нет ни малейшей охоты вступить в беседу с аккуратно причесанным старичком в полотняной паре, который подошел и стал рядом.

"Это кто ж такие будут?"

Приезжий кивнул на табличку. Старик возразил:

"Какая же это Троица. Троица – это отец-сын-святой дух.

А это что?"

"Угу", – сказал турист, не отрывая глаз от иконы.

"А?" – спросил старик.

"Вы совершенно правы".

"Я говорю: а это что?"

"Это? – очнулся приезжий. – Это, как вам сказать. Беседа без слов: Я, Ты и Он. Аллегория времени, слева прошлое, справа будущее. Посредине настоящее. – Он спросил: – Вы Библию читали?"

"Да я уж не помню. Должно, читал".

"Три ангела пришли к Аврааму и Сарре".

"К кому?"

"Их здесь не видно. – Турист добавил: – Это знаменитая икона".

"Вижу, что знаменитая. Так к кому, говоришь, пришли?.."

"К Сарре и Аврааму".

"А где же они?"

"Их тут нет. Три ангела пришли сказать, что у них родится сын Исаак".

"Это что, евреи, что ль?"

К сожалению, сказал иностранец и отошел побить у окна. Парусиновый старец покачал головой, побрел прочь. Народу прибавилось, вокруг теснились экскурсанты. Еще одна группа вступила в зал. Турист стоял, прислонясь к подоконнику.

"The prophet El ija withscenes from his life!"

## Глава VII

Дни за днями... он медлит. Придумывает отговорки, однажды утром вылезает из машины на южной окраине, перед импровизированным цветочным рынком, перед воротами, открыта же вывеска, и те же нищие, и дощечка с расписанием посещения и закрытия. Выслушивает объяснения шофера, тотчас забывает их, плетется по аллее наугад мимо еврейского некрополя, мимо свалки ржавых провололочных венков, пожелтых лент, мимо звезд, крестов, оградок, похожих на спинки старых кроватей; дальше начинается жидкий лес. За

лесом, через дорогу, другие врата, без вывески, а надо бы, думает гость, начертать: оставь надежду всяк сюда входящий. Каменная ограда, колючая проволока и здание вахты. Ему объяснили, что ночью могут приехать с грузовиками, с кранами – чего проще – и утащить мраморы.

Между черно-белыми мемориалами бродят паломники, мерцают лампы. Сумеречный осенний день. Женщины крестятся и кланяются перед иконами, разглядывают молодежавших усопших, вытатуированных в камне во весь рост. Путешественник подсчитал средний возраст погибших – кажется, здесь не было никого, кто умер бы своей смертью. Вместе с другими, томимый болезненным любопытством, он переходил от одного памятника к другому, в эту минуту ему почудилась музыка вдаль.

Новое чувство неожиданно шевельнулось в нем, он прочел на мраморной стеле начертанные золотом похоронные вирши и готов был расхохотаться – но остановил себя. Ведь это было не что иное, как будущее! Нагло-наивное, косноязычное, не стыдящееся своего дурнопахнущего происхождения, оно заявило о себе уже сегодня. И услышало в ответ: добро пожаловать! Оно выставило себя напоказ, как жирная женщина выставляет свои прелести, – и услышало: почему бы и нет! Вещи соединены невидимой и необходимой связью, все одно к одному, и увиденное в эти дни уже не выглядело хаосом обломков, кладбище новых хозяев каким-то образом соединилось с музеем, с роскошным тяжеловесным храмом у речной излучины, с таинственным Павлом Евгеньевичем, с писателем-антикваром, а там и орлы, и полководец на коне с развевающимся хвостом, и что там еще, – да, это была верная формула: одно к одному. Это была мысль о новой легитимности, первое робкое приближение к новому эпосу, смутная мысль-догадка о гармонии, которая скрыта за кажущейся какофонией.

Стон и скрежет донеслись из леса: это пела труба Страшного суда или, что то же, триумфальная фанфара. Бухнули, словно раскаты грома, литавры, и вступил оркестр. Публика собралась перед вахтой, теснилась у распахнутых ворот, начальственный голос в мегафоне призывал к порядку, конные милиционеры оттесняли народ. Путь был очищен. Выступило шествие. Впереди шли музыканты. Вслед за траурным маршем оркестр исполнил популярную песню "Издали-долго". Многие плакали.

После чего музыка смолкла. В парадных одеждах, обнажив кудрявые головы, за колонной оркестрантов шествовали священнослужители. Народ осенил себя крестным знаменем. Шли со свечами дети, умытые и причесанные на пробор, девочки с бантами, в юбочках, мальчики в вышитых рубашках навывпуск, подпоясанных плетеным пояском, в плисовых портах и сапожках. И, наконец, вдвинулся и торжественно покатыл мимо мраморных склепов, стел, крестов и татуировок убранный цветами грузовик. Тут случилась заминка, послышался укоризненный говорок. Экипаж затормозил. Несколько крепких мужиков прыгнули через борта в кузов, гроб с лежащим среди цветов и кружев бронзовым ликом, с кистями маленьких рук на груди, съехал с грузовика и, качаясь, поплыл вперед, остановился, двинулся снова, поплыла следом дубовая, обитая бронзой крышка, оркестр грохнул марш, знающие люди шопотом рассказывали биографию застреленного в разборке – новый термин, услышанный гостем. Говорили о том, что на погребениях прекращается вражда, усопшего провожают и те, и эти. Говорили о готовящейся тризне в банкетном зале отеля "Савой". Между тем процессия достигла открытой моги-



лы, гроб стоял на помосте, начались речи. Раздавались рыдания и древнеболгарские словеса. Над головами стелился голубой дым паникадил. Друзья-соратники и собутыльники подняли к меркнувшим небесам автоматическое оружие, треснул прощальный салют. Атлантический путешественник выбрался из толпы, брел по главной аллее старого кладбища в надежде найти за воротами такси.

## Глава VIII

Таксист, почуявший хороший калым, везет его за город, в Николо-Ленинское или как оно там называется, не доезжая Пахры, свернуть на дорогу без указателя, место таинственное и знаменитое. В лесу, где еще недавно собирали грибы почетные инвалиды социализма, стоят заборы с ключей проволокой, висят видеокамеры, сверкают башенки вилл, покой и роскошь, дворцы-мутанты, кукольное средневековье, третьеразрядный модерн. Выяснение личности перед воротами из чугуна и жести, все на удивление просто и быстро; дано указание не задерживать, старая дружба не ржавеет! Такси разворачивается и катит прочь. Гость вступает на территорию в сопровождении мордатого телохранителя, радушный хозяин встречает в просторном холле. Ротшильд встречает поэта в своем дворце. Наконец-то вы навестили мою конуру, дорогой Гейне. Нет, говорит Гейне, я пришел повидать собаку.

Хозяин свеж, бодр, улыбчив, по-видимому, не испытывает смущения, что, впрочем, было бы странно в этих хоромах. Лицо Сережи с раздавшейся нижней половиной стало прямоугольным, кожа бронзовой, он не постарел, пожалуй, даже помолодел зрелой, законсервированной молодостью. Время течет по-разному на разных планетах, вернее, в разных сторонах. Что-то мешающее есть в их свидании, надо это признать, – песок на зубах, – но, в конце концов, это не удивительно, после стольких лет.

Хотели было обняться.

"Сколько времени ты уже здесь? Надолго приехал?... – За этим следует почти ритуальный вопрос: – Жрать хочешь?"

И распахиваются половинки дверей, и катится стол-тележка с бутылками необыкновенных фасонов, мажордом с физиономией, по которой словно проехали скалкой для раскатывания теста, расставляет яства. "Фуршетик", – говорит хозяин замка. Друзья сидят за овальным столом на неудобных стильных стульях с круглыми спинками; слабый взмах ладонью, – так отмахиваются от насекомых, – человек с плоским лицом исчез. Ручной телефон промурлыкал первые такты каватины Фигаро. Комната представляла собой гибрид музея с деловым кабинетом, пахли розы, тонкий, гнилостно-сладковатый запах. Хозяин тряс металлическим патроном, в котором брякали кубики льда.

Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный.

"Алло", – сказал он брезгливо.

Несколько секунд он слушал шепчущую, бормочущую трубку.

"Да. Нет. Короче".

Трубка шелестела, волновалась.

"Я сказал: нет. Советую не раскрывать хайло. Вот так. Советую".

Он разлил по фужерам бледно-янтарный напиток.

"Ты давай, приступай, не жди..."

"Мы тогда таких питий не пили", – улыбнулся гость.

"Уж это точно, – сказал хозяин. – Нравится?"

"Неплохо".

"Мой рецепт. Ты давай. Не стесняйся. Надолго к нам?"

"Еще денька два-три".

"По делам или так?"

"Какие у меня дела. Да, – проговорил гость, – тут много перемен. Хотя бы уже то, что я могу приехать..."

"Демократия", – сказал хозяин.

Он спросил:

"Видел кого-нибудь из наших?"

Приезжий отвечал, что никого не видел, одну только Ольгу.

"Это которую?"

"Ту самую". Он назвал фамилию.

"А!.. где-то припоминаю. Рыжую? Она, по-моему, уже три фамилии сменила".

"Столько воды утекло, – сказал приезжий. – А она насколько не изменилась".

Мальчик резвый... "Алло..."

Иностранец поворачивал голову, поглядывал по углам. Встал и подошел к окну.

"Алло. Я сказал. Больше повторять не буду... Так, говоришь, не изменилась, – промолвил Сережа, обращаясь к другу, который снова сидел перед ним. – Ты ведь, кажется, вздыхал по ней".

"Не я один", – заметил гость.

"На меня, что ли, намекаешь?"

"Хотя бы".

"Что-то не помню. Ну и как она тебя встретила?"

Приезжий пожал плечами.

"Ты женат? – Приезжий ответил, что живет один. – Ну, так тем более. Не теряйся. Раз уж приехал. Она всем дает, – сказал хозяин, берясь за новый фиал. – Вот это попробуй".

Владетельный князь льет прозрачный яд в кубок гостя.

"А ты?"

"Воздержусь. Врачи запретили".

Приезжий замешкался, пора приступить к разговору. Погода хмурится. Внезапно его охватывает чувство ненужности всей затеи, и у него нет никакого плана.

Что и кому он хочет доказать?

"А ты помнишь, Сережа..."

(Или, может быть, Сергей Иванович?)

"Конечно, помню".

"Но ведь ты еще не знаешь, – гость усмехнулся, – что я хочу спросить".

"Знаю, – хозяин в ответ. – Университет".

"Помнишь нашу балюстраду, в новом здании?"

"Как же, как же".

"Оно еще тогда называлось новым, а старое – где был наш факультет, по другую сторону улицы Герцена. По ней ходил трамвай".

"Большая Никитская, – поправил хозяин. – Я там тыщу лет не был".

Помолчав, он спросил:

"И что же, был ты на факультете?"

"Там уже нет никакого факультета. А еще... представляешь, я зашел в наш клуб, если помнишь, там стоял бюст Ломоносова. Дерзайте, ныне ободренны... Надпись на цоколе. Помнишь?"

Хозяин рассеянно кивал.

"И вижу: никакого Ломоносова больше нет, вместо Ломоносова портрет патриарха. Нет ни клуба, ни студенческого театра, все захватила церковь. Какие-то личности в рясах... При чем тут церковь, можешь ты мне объяснить?"

"Когда-то там была церковь. Я давно там не был", – повторил Сергей Иванович. Поднял брови, подлил гостю и поискал глазами на столике напиток для себя.

"Ты извини, – проговорил он, – я бы не хотел, чтобы в этом доме оскорбляли религию".



"Но я не оскорбляю..."

"Я христианин. Ты многого не понимаешь. В тебе еще живо советское воспитание".

"Угу. Да, конечно... – пробормотал гость, медленно, двумя пальцами вращая свой бокал. – Тогда у меня к тебе вопрос. – Он поднял глаза на хозяина. – Можно?"

"Валяй, – сказал Сергей Иванович и взглянул мельком на часы. – Подожди минутку..."

Он выстукал номер, трубка охотно откликнулась.

"Я. Ну что там. Короча. А ты куда смотрел! Твою... – он хотел выругаться, но осекся. – Ладно. Держи меня в курсе... Извини", – сказал он приезжему.

Крупные капли забарабанили по стеклам. Несколько времени оба прислушивались к шумящим потокам. Дождь плясал над городом. Ветер сорвал с деревьев пожухлые слова, остался голый смысл безлистных сучьев.

## Глава IX

"Скажи, Сережа... – Казалось, приезжий не мог собраться с мыслями. – Ты Евангелие читал?"

"Почему ты спрашиваешь? Ну, читал".

"Историю эту помнишь?"

"Какую историю?"

"Историю с Иудой Искариотом".

"А", – сказал Сергей Иванович.

"Иуда за плату обещал выдать Учителя и поцеловал его, когда пришли за ним. Чтобы они могли его узнать... Как ты относишься к этой истории?"

"А как к ней надо относиться?"

"Некоторые считают, что все произошло согласно воле Божьей. И что если бы не предательство, Иисус не был бы арестован, не был бы судим, его бы не распяли, ну и так далее. Иуда был Божьим орудием, в конечном счете действовал во благо..."

"Можно считать и так, – сказал хозяин, которому стало скучно. – Ты, кажется, еще в университете интересовался ранним христианством... Знаешь что, – и он снова взглянул на часы, – я очень рад был с тобой повидаться. Может, еще как-нибудь увидимся. Гора с горой не встречается, а человек..." – он улыбнулся.

"У тебя дела, понимаю. Еще две минуты".

"Что поделаешь". Сергей Иванович развел руками. Гость вздохнул и с какой-то мукой взглянул на него.

"То место на балюстраде... Между статуями. Сверху была видна вся лестница... А позади Коммунистическая аудитория. Я там вчера стоял. Я даже представить себе не мог, что когда-нибудь буду снова там стоять. Огромные статуи вождей из алебастра, которые пачкали. До них опасно было дотрагиваться. Помнишь?"

"Как же, как же".

"Теперь их нет".

"Еще бы".

"Я тебя всегда там ждал. Ты приходил в штатском".

"Я уже не помню".

"Ты учился в военном институте иностранных языков, а к нам в университет приходил в штатском. На тебе всегда был костюм с иголочки".

"Возможно".

"И у тебя всегда были деньги. Ты был щедр, Сережа... А как мы в Александровском саду гуляли, втроем, помнишь? Наши бесконечные дискуссии... Каждый старался блеснуть перед Олей... Да... так, значит, ты считаешь, что поступок Искариота оправдан, так сказать, высшими соображениями? Извини, я тебя еще спрошу..."

"Спрашивай, спрашивай, – сказал Сергей Иванович. – Я тебя тоже хочу спросить. Ты что... приехал, чтобы вести со мной теологический диспут? Я в таких делах не силен".

"У меня вопрос конкретный. Как ты теперь относишься к... ну, к тому, что произошло? Будь добр: отключи это... на короткое время".

Хозяин пожал плечами, выключил "хэнди".

"Что ты имеешь в виду?" – спросил он холодно.

"Ты меня посадил, Сережа".

Хозяин сузил глаза.

"То есть как. Я?.."

"Ты, кто же еще".

"Когда?"

"Тогда".

"Ты что..."

"Ты был приставлен ко мне, Сережа".

"Да ты о чем?.. Ты рехнулся. Ах вот оно что. За этим ты и явился?.."

"Спокойно. Поговорим как мужчина с женщиной. Как бывшие друзья. Ближе тебя у меня не было друга".

"Я и сейчас тебе друг, – промолвил Сергей Иванович. – Это, выходит, ты явился, чтобы мне сказать...?"

"Нет. Чтобы тебя убить".

"Меня?"

Скорее с изумлением, чем со страхом хозяин дома взглянул на пистолет, который гость с неожиданным проворством выхватил из-под пиджака.

"Брось, – сказал, наконец, Сергей Иванович, – не валяй дурака..."

"Спокойно... не вздумай поднимать шум. Сидеть на месте. – Иностранец поправил очки на носу. – Ты не ответил на мой вопрос?".

Хозяин молчал.

"Я жду".

"Какой вопрос... Какой вопрос?! Что тебе надо?.. Денег?.. И вообще, откуда ты взял?"

"От верблюда", – сказал гость.

"Наговорить можно на любого. Особенно в то время... Слушай. Давай разберемся. Ты считаешь, что я на тебя наступал, да? Кто это сказал? Где доказательства?"

Преступник злобно усмехнулся.

"Никто не сказал... и никогда не скажет. Твои доносы хранятся в отдельном деле. Эти дела никому не показывают".

"Чего ж ты тогда..."

"А в следственном деле о тебе никаких упоминаний".

"Ну вот видишь!"

Человек с пистолетом ничего не отвечал, кивал головой. Сергей Иванович перевел дух.

"Слушай... Убери. Я ведь вижу, что это игрушечный... Убери, пока не поздно. И вали отсюда... по добру, по здорovu".

Человек кивал.

"Вообще не советую тебе со мной связываться. Ты даже не представляешь, какие у меня возможности..."

"Представляю".

"Я все могу с тобой сделать... И для тебя все могу сделать".

"Можешь".

"Тебя никто не задержит. Пальцем не тронет. Расстанемся по-хорошему".

Преступник вздохнул, сунул руку глубоко в потайной карман, добыл цилиндрическую насадку-глушитель и навинтил на ствол. Хозяин остолбенело следил за его движениями.

"Это-то и есть доказательство", – сказал гость.

"Не понял".

"Следственное дело, – он показал двумя пальцами, – это вот такой том. Тебе дают пять минут, чтобы ознакомиться. Двести шестая статья. У вас ведь все по закону".

"А ты что, – осторожно спросил Сергей Иванович, очевидно, стараясь протянуть время, – ты считаешь, что тебя арестовали незаконно?"

"Нет. Не считаю. Что говорил, то говорил".

"То есть, извини, я назову вещи своими именами: вел подрывные разговоры? Извини, конечно, это дело прошлое".

"Можешь не извиняться. Хотя ты кое-что приукрасил, но в общем..."

"В общем, это правда?"

Приезжий пожал плечами.

"А откуда, собственно говоря, ты взял, что..."

"Оттуда. Вел разговоры, но ведь не с самим собой. С ближайшим другом. То, что там написано, я говорил только тебе. И ты соглашался. Во всем, что касалось режима, и Уса-того, и вообще, ты соглашался. Ты был заодно со мной. Ты сам вел эти разговоры! Даже, я бы сказал, еще радикальней. Я тебя выгораживал, Сережа. Я ведь думал сначала, что ты тоже арестован. Старался не упоминать о тебе".

"Откуда же ты..."

"Я успел посмотреть дело. Там много чего. Я клеветал на советский государственный строй, я то, я се. А кому все это говорилось, неизвестно".

"Ну и что".

"А то, что следователь знал весь наш факультет, сыпал фамилиями, знал всех моих знакомых. И только о тебе ни слова. Я твое имя не упоминал, а потом заметил, что и следователь тобой не интересуется. Была одна свидетельница..."

"Ольга? Ну, я так и знал".

"Ее допросили за десять дней до моего ареста. Когда все давно было решено и подписано. То, что она сказала, – десятая, двадцатая часть. Ее заставили... А тебя никто не заставлял. Твой отец был – сам знаешь кто. Но ты об этом никогда не говорил..."

"Естественно".

"Ты никогда не приглашал к себе".

Сережа развел руками.

"Не двигаться. Руки на стол... Твой отец занимал там высокий пост. А сам ты учился в военном институте иностранных языков".

"Ну это ты, положим, знал".

"Но ты никогда не говорил, что это за институт, кого он готовил. Ты приходил в дорогом костюме, а мы все ходили в отрепьях. У тебя всегда были деньги. А мне не на что было пообедать в столовке... Ты был щедр, ты угощал меня. Ты окончил институт. Был направлен за границу, верно? Мог бы там и остаться, а?"

"Что ты хочешь этим сказать?"

"Остаться... не возвращаться".

"Да, мог бы, – сказал Сергей Иванович, – особенно когда здесь начался этот хаос. Но знаешь... Если уж начистоту... Для тебя это, может быть, пустая риторика. А я люблю свою родину. В трудное время надо быть с ней".

Гость молчал, смотрел на хозяина, держал в руке свое оружие и терял время.

"Не будем ссориться, – сказал Сергей Иванович. – Я все понимаю. Ты, конечно, пострадал. У каждого своя судьба... Но родина у нас одна. Нас многое связывает..."

"Моя родина – лагерь", – сказал человек с пистолетом.

## Глава X

Он добавил:

"У тебя мало времени. Встань, пожалуйста. Я тебя расстреляю".

"Как это, расстреляю?"

"Очень просто. Повернись".

"Ты что... Ты шутишь? Да ты знаешь, что я могу..."

"Становись лицом к стене. И не вздумай артачиться, будет еще хуже... А так умрешь мгновенной смертью. И кстати, – добавил приезжий, – попытайся представить, как умирали там".

Сергей Иванович переводил взгляд то на дверь, то на окно. Дождь перестал, пятна яркого света лежали на полу. "Но ты же не сможешь отсюда уйти..." – пролепетал он.

В ответ он услышал тусклый голос:

"Лицом к стене, я сказал... Покажи, где у тебя затылочная ямка. Пальцем покажи..."

Преступник сощурил один глаз. Кажется, он даже не тропился. Вздохнув, проговорил:

"Ужасно не хочется тебя убивать... Но что поделаешь, жить с этим, – он все еще целился, – еще тяжелей..." Выдержав паузу, он отвел ствол в сторону и нажал на курок. Раздался негромкий хлопок. "Теперь уже окончательно", – сказал гость, но вместо этого повел дулом в другую сторону и снова нажал. Минуту спустя – или, пожалуй, еще меньше – все было кончено, он корчился на полу, сбитый с ног умелым ударом, двое стояли над ним, третий, это был плосконосый мажордом, подбирал с пола бутылки, осколки посуды. Хозяин, бледный, стараясь унять дрожь, осматривал оружие, это был 9-миллиметровый "макаров", несколько устарелый, но в общем пистолет как пистолет.

"Не трогать его. Вот дурак", – в сердцах сказал Сергей Иванович.

И в самом деле, что еще можно было сказать? Если (как предположил Сергей Иванович) старый друг просто хотел погугать его, то непонятно, с какой целью. Погугать, а потом улизнуть, – какой смысл? Оставалось думать, что он не в своем уме.

Последующее совершилось быстро и четко, могло служить образцом почти воинской дисциплины, если угодно, примером и образцом нового порядка, разве что завершение всей акции, так сказать, заключительный аккорд предоставил исполнителям некоторую свободу действий. У подъезда ждала машина с темными стеклами, глубокая и просторная, как пещера. С двух сторон уселись провожатые. Шофер дал газ. Пронеслись мимо заборы и цитадели, зачастил лес, вылетели на шоссе. Грозно квакнула сирена. Потянулись кварталы бывших новых районов, милиционеры в синих блинах почтительно козыряли. Сильно качало. Автомобиль несся навстречу сторонящемуся потоку по центральной оси. "Лихо едете, – заметил пассажир. – У нас бы за такую езду..." – "То у вас, а то у нас", – возразил провожатый.

Остановились в переулке у обшарпанного дома. Кнопки входа, грязная лестница; отомкнули жилище скульпторши. Усмехаясь, поглядывали на пыльную рухлядь. "В сортир можно?" – попросил турист. Закуток, где не повернешься, в такие боксы-отстойники поспешно заталкивали, когда из коридора за поворотом раздавался птичий клекот, предупредительный стук ключом о пряжку, цоканье подковок, это навстречу вели другого арестанта. Подследственный ждал в боксе. Чужестранный гость стоял над порывевшей, в трещинках фаянсовой чашей и думал – о чем?

"Але... жив?" – постучали в дверь.

Его чемодан лежал раскрытый на полу. Постоялец взялся за телефонную трубку. "Ну это ты брось", – лениво сказал провожатый и положил ладонь на аппарат. "Ты лучше погляди, – заметил другой, – не забыл ли чего". На полном ходу машина ворвалась в бурлящий поток, веселый ад города.

Состав остановился ночью, лягнули буфера, солдат шарил фонариком, прохрипел фамилию, арестант поднял голову, арестант выбрался из спящих тел, съехал с полки, наступив в темноте на кого-то, хватался за чьи-то плечи, слышал сонный ночной мат, перешагивал через лежащих, приоткрылась дверца, он вылез в тесный проход и шел в полутьме со свои скарбом следом за провожатым вдоль решетки до отказа набитого столыпинского вагона. Его столкнули с площадки, перед отвалами снега у колес ждал конвой. Впереди раздался тревожный свисток паровоза, гром и скрежет пробежали по вагонам, поезд двинулся, состав шел дальше, на север, стук колес на стыках постепенно затих, а он остался на

заснеженной насыпи, под темными небесами, на которых едва рисовалась черная масса тайги. В формуляре – место назначения. Перешли через полотно, брели гуськом, проваливаясь в сугробах, один солдат впереди, другой сзади, навстречу дальним огням комендантского лагпункта.

Поезд ушел, он остался, "вот дурак", сказал Сережа, и был прав: ушла – не догонишь – и эта жизнь. Двоящийся образ города снова, как наваждение, маячил перед оцепенелым взором паломника, человека, о котором мы так и не успели толком узнать, кто он и откуда. Девушка, склонившаяся когда-то над балюстрадой, на цыпочках, так что платье слегка поднялось на ее бедрах, забыла, как его звать, и старый товарищ не назвал его ни разу по имени. Двоящийся образ воздвигся перед глазами, город летел навстречу и прочь от него. Пассажиру не сообщили, куда его везут, как когда-то не трудились объяснять, куда катил экипаж, где он сидел, тесно зажаты между провожатыми и фуражка ночного лейтенанта покачивалась впереди рядом с шофером. Город неисследим. Это был долгий путь. Перед бывшей Колхозной площадью пришлось тормозить; вскоре увязли в застывшей лавине, и детские руки уже елозили грязной тряпкой по капоту, подростки совали в стекло журнальчики с пышнотелыми красотками, нищенки качали детей, протягивали черные ладони, инвалиды катались между машинами на тележках. Рванулись вперед, выскочили с кольца на Брестскую улицу, и опять пробка. "Куда ж ты полез, бля-сабля..." – "Да кто знал, бля". – "Осади назад". Но назад дороги уже не было. Нечто неописуемое, по крайней мере на взгляд приезжего, творилось в мареве знойного бабьего лета, клубилось в воронке на подступах к площади Белорусского вокзала, смолистый диалект предков стелился над черным пылающим варевом машин. Город смерти, думал турист, долина Иосафата.

Ленинградское шоссе, наконец-то. С заднего сиденья пассажир силился разглядеть зашкалившую стрелку спидометра. Внезапно затормозили и стали на обочине. Старший отправился на разведку, водитель пересел на его место рядом с пассажиром. Другой безучастно смотрел в окно. Покачиваясь, как цветок, на круглых бедрах, постукивая каблуками тонких длинных ног, приблизилась женщина, привет, мальчики. Ее лицо приникло к стеклу, маленькие груди вываливаются из выреза. "Не понимэ, – говорит шофер, неслышно опускается стекло, – мы иностранцы". – "Могу показать Москву". – "Да мы уж видели". – "Не все видели, вот она где, Москва", – говорит она, ее ладошка скользит по животу, пальцы с лиловым маникюром хлопают по причинному месту.

"Ну-ну; а почему экскурсия?"

"А смотря какая".

"Зеленькими?"

"А ты как думал".

Вернулся провожатый.

Бали отсюда. Поехали".

Хвост машин выстроился перед въездом, аэропорт перекрыт. Какая-то делегация прибыла в столицу. Милиционер в белой сбруе. "Але, шеф... Нам по-быстрому, где твое начальство". Доверительная беседа с тучным капитаном в фуражке размером с посадочную площадку для вертолета. Машина объезжает очередь.

Все трое – иностранец и два провожатых – стояли в гулком зале среди суетящихся людей. Старший направился к кассам переменить рейс и дату отлета, путешественник ждал, его прочно держали за локоть. Провожатый вернулся. Постояли, поглядели по сторонам. Времени навалом, может, выпить на посошок, чтой-то в горле пересохло. "Народу больно много". – "А чего нам народ. – Пассажиру: – Ты как?"

– "Никак", – сказал приезжий. "Сабля-бля. Компанию поддерживать не хочешь?" Пассажир испытывал неприятную слабость в ногах. Он сказал: "Дайте мне билет. Никуда я не денусь, сам управлюсь". – "Ишь ты какой, – возразил конвоир, – ну, пошли". – "Куда?" – спросил турист. Они направились по коридору, табличка: "Для служебного пользования". Вот он, заключительный аккорд.

"Это для персонала", – сказал пассажир.

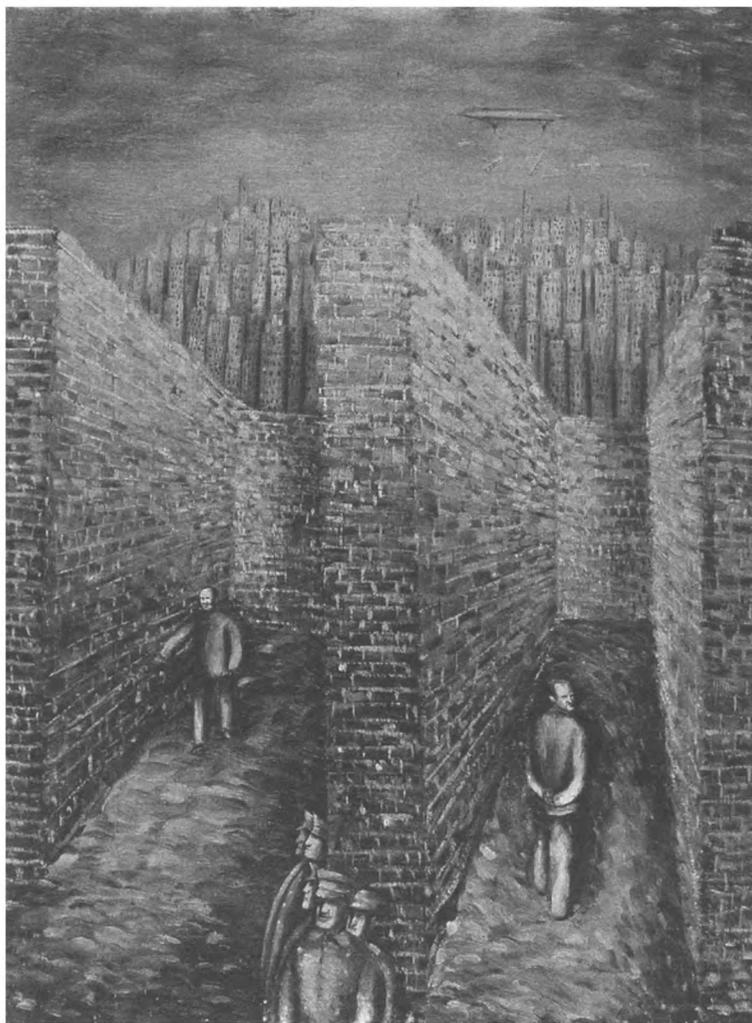
"А мы и есть персонал".

"Не пойду".

"Чего?! Ну-ка..."

Шибануло в нос едкой сыростью. Блеснул мертвенной желтизной кафель. Человек запер дверь и оставил ключ в замочной скважине.

"Дай погляжу на тебя, мужичок. – А он еще ничего. – Ну-к, повернись. Падла. Сука".



Оба стояли, тяжело дыша, над приезжим, который лежал ничком на каменном полу, одна рука подвернулась под живот. Тот, кто был главным и потрудился больше всего, тяжело дышал, утирал пот, глаза его, цвета мыльной пены, тускнели, стеклятели, рот открылся, впору было предположить, что у него самого произошло что-то, может быть, семяизвержение. Сейчас он стоял спиной, у писсуара. Где-то лилась вода. Чемодан приезжего стоял у входа, ключ торчал в скважине.

"Вставай, земляк... Ну чего, так и будем валяться?"

Рывком подняли, шлепнули по щекам, подвели к раковине, обмыли и вытерли бумагой разбитое лицо пассажира. Насадил на нос очки. Заботливо отряхнули, почистили

одежду, пригладили волосы. Вдвоем под руки вели иностранца по коридору. Один из них нес чемодан. Голос чревоушателя скрежетал в зале, приезжего подвели к стойке, регистрация закончилась. Барышня за стойкой спросила, не нужна ли медсестра. Приезжий покачал головой. Он обернулся – провожатых уже не было.

P.S.

Читатель вправе усомниться в том, что персонаж, о котором здесь идет речь (и со слов которого был написан этот рассказ), существовал на самом деле. Читатель может предположить одно из двух: либо рассказ является автобиографическим, либо он выдуман от начала до конца. Ни то, ни другое, очевидно, не соответствует действительности. Важней, однако, предмет или тема этого сочинения, назовем ее так: деспотизм памяти. Человек, посетивший знакомые места после долгого отсутствия, остается – сознает он это или нет – во власти воспоминаний. Эпиграмма родины впечатана в его мозг, образы прошлого пропитали его язык и проникли в сны. Разумеется, время ушло вперед, он не мог не слышать о переменах. Но все новое, что он видит, представляется ему подновленным старым. Так ли это на самом деле? В пространстве повествования этот вопрос не решен. Он и не ставится. К тому же никто не знает, что происходит на самом деле.

Память завистлива. Память, как уже было сказано, ревнива. Она не терпит соперничества. Книга прошлого не подлежит редактуре; прошлое вечно, настоящее зыбко; и образ пережитого приемлет из настоящего только то, что служит ему подтверждением. На каждом шагу путешественник узнает город своей юности. Зато город старается убедить его, что никакой юности, кроме сегодняшней, никогда не было. Город обманчив, лишь память владеет единственной и безраздельной истиной.

Несчастье в том, что он мученик памяти. Сказано: от многого знания много печали. Он ходит и вспоминает. Но воспоминания запрещены в городе, который полон решимости начать новую – хотя бы и неприглядную – жизнь и не хочет слышать о прошлом. Память гнетет путешественника, как старость. Память – это и есть старость.

*И он хочет расстрелять свою память.*

### Три постскриптума участников круглого стола

#### 1.

Вы, как я понял, автор этого произведения. Так вот, я бы хотел сделать несколько замечаний. Я красиво говорить не умею. Но я должен вас поправить. Вы тут вывели меня, как бы это сказать, в довольно-таки отрицательном свете. Ну, это ваше дело. Вы говорите, если кто-нибудь подумает, что рассказ выдуман, то это, дескать, неверно; дескать, на самом деле, все так и было. Так вот, давайте внесем ясность. Было-то было – только совсем не так.

Мы, действительно, когда-то дружили. Виделись чуть не каждый день. Что я его будто бы не пускал к себе домой, не приглашал в гости, такого случая не помню. Дело было еще при Сталине, – ну, сами понимаете, что было за время. И судить о нем по сегодняшним меркам было бы неверно. Его, действительно, арестовали, за что, по правде сказать, не знаю. Время было такое. Самое главное – что все это сочинено с его слов, вы это сами признаете.

Через много лет он вдруг является – я даже не знал, что он живет за границей, – и начинает меня шантажировать. Я, конечно, мог его просто вышвырнуть вон. Тем более что он еще стал грозить оружием. Но я решил запастись терпением, ради нашей молодости, старой дружбы. У вас получается,

что я будто бы испугался. Это ложь. Сами подумайте: кто я и кто он. Мне достаточно было только мигнуть, и он бы вылетел из моего дома со скоростью реактивного самолета.

Самое главное, моя совесть была чиста. Вы тут рассуждали о памяти, то да се. Простите, но все это не по делу. На самом деле он приехал, чтобы мне отомстить. И весь ваш рассказ написан с одной только целью. Вот, дескать, были совершены преступления, никто не наказан, а надо бы, дескать, со всей этой сволочью расправиться. А вот к чему бы все это могло привести, эти самоуправные суды, об этом вы не подумали. Вы за сто верст от нашей жизни, от интересов народа, они вам чужды – так же, как и этому... не знаю уж, как его назвать.

Вообще, я вам скажу: хватит сводить счеты. Не прошлым надо жить, а будущим. Слишком много проблем, в частности, экономических, стоит перед страной. А эти люди зациклились на своих переживаниях и думают, что все должны ими заниматься.

Но я все-таки хочу вернуться к этой истории. Могу открыть тайну: да, действительно, меня вызывали, от меня хотели узнать правду. Вообще-то им и так все было известно. Так что, вздумай я отказать, ничего бы все равно не изменилось. Нашли бы другого. А у меня были бы большие неприятности. Это вам сейчас хорошо говорить, а вот пожили бы вы в то время. Вы бы иначе рассуждали. Голову даю на отсечение: любой из вас поступил бы так же, как я.

Ничего я не придумывал. От меня требовали говорить правду, я и сказал правду. Что имели место антиправительственные, подрывные высказывания. Подрывные планы. Было? Было. За такие дела в любой стране по головке не погладят. А у нас, между прочим, все было не так уж плохо. Нечего кричать о лагерях. Кто там сидел, сидел за дело. И его, если уж говорить правду, посадили за дело, вот так.

И последнее, насчет мнимых палачей. Я моих ребят знаю, они мне никогда не лгут. Я от них получил полный отчет: как довезли до аэродрома, как посадили в самолет, и оревуар – нечего ему у нас делать. А то, что вы там написали, избиение в сортире и прочее, если это он вам рассказал, то пусть останется на его совести. Все из пальца высосано, вот так.

#### 2.

Я была замотана, когда он позвонил, – живешь в вечной суете, – как-то даже не сразу сообразила, что к чему. То есть, конечно, я его вспомнила. Тут написано, будто я забыла даже, как его зовут, вот уж неправда, просто я была замотана, ну и, конечно, столько лет прошло, ну а что касается всей этой истории, будто он приехал с целью убить стукача, я об этом ничего не знаю, может, и правда, у нас, между прочим, сейчас добыть оружие плевое дело, были бы деньги, словом, мне ничего не известно, я вообще не понимаю, зачем меня сюда впутали. Да и дело-то было сто лет назад, чего ворошить-то, я даже не знала, что люди могут быть такие злопамятные. Он тут правильно сказал, что ничего бы все равно не изменилось, знаете, как тогда говорили: органы не ошибаются, раз арестован, значит, ау, ничего уже не изменишь, а тут тебе говорят, если не подпишешь, значит, ты помогаешь врагу народа, значит, ты сама соучастница. Тут себя надо спасать, а человека все равно не спасешь. В общем, запудрили мозги, а ведь сами понимаете, я была совсем девчонкой. Да я не хочу оправдываться, чего там, я вам вот что скажу: моя вина другая. Это я была во всем виновата. Тут намекали на антисоветскую пропаганду, антисоветские разговоры, я уж не помню, о чем они там разговаривали, по моему, дело совсем не в этом. А дело в том, что оба были в меня влюблены по уши. А я, между прочим, была очень недурна собой, я была, чего уж там, самой красивой девушкой на курсе, спросите хоть кого, ну и, конечно, кокетничала по-

чем зря, как это там поется: и сердцами бесцельно играть, вот так же и я играла, а если говорить серьезно, то разжигала ревность у обоих: этому говорю, что тот меня поцеловал, а тому намекаю, что с этим чуть было не... Ну и кончилось тем, что возненавидели друг друга, и он начал стучать на своего друга. Вот вам и вся история.

## 3.

Разрешите мне как писателю поделиться, так сказать. Я считаю, что писатель имеет право на выдумку, на творческую фантазию. Лично я в своих исторических романах так и поступаю, я додумываю за моих героев их мысли, я передаю их чувства. Там, где в летописи, к примеру, стоит одна фраза, я разворачиваю в целую сцену. Но порочить моих героев, клеветать, вот этого я никогда не позволяю и позволить не могу. А что мы видим здесь? Выведен я, узнать меня нетрудно, я человек известный. И что же делает этот человек? Он торгует оружием! Несет какую-то херню о государе. И мало того, намекает, что может организовать заказное убийство. Все это, повторяю, приписано мне. Тут уж, знаете, я вам скажу. Тут злостная клевета, вот что. Хотя оболгать честное имя писателя, патриота, а за клевету у нас, между прочим, наказывают. В уголовном порядке, да-с. Хочу еще сказать об этом, с позволения сказать, произведении. Все в нем совершенно неправдоподобно. Человек попросту не знает нашей жизни. А писатель обязан изучать жизнь. А этот описывает так, будто это какая-то другая планета. Оно и понятно. Нечего было браться за эту тему, коли столько лет живешь вдали от России. Ему все не нравится: и церкви, и памятники, и люди. И вообще вся страна ему не нравится. Ну что ж, отправляйтесь к себе назад, в свои границы, живите там как вам нравится. А мы будем жить так, как нравится нам.

Зам. главного редактора

Уважаемый... Если Вы читали наш журнал, то, наверное, обратили внимание на предупреждение о том, что "неприятные рукописи не возвращаются и редакция в переписку по поводу их не вступает". Так что для вас сделано исключение. Конечно, я бы могла ограничиться коротким ответом, сослаться на то, что портфель переполнен (он действительно переполнен). Но мне хочется побеседовать с Вами. Я думаю, что начинающему автору полезно выслушать правду от старшего товарища. Так что извините, если я буду говорить с Вами откровенно.

Мне трудно судить о степени Вашего дарования. Возможно, что в Вас, как говорят, "что-то есть". Я бы посоветовала Вам больше работать над словом. В Вашем рассказе встречаются неудачные, подчас даже не совсем грамотные выражения, фразы, требующие правки, ненужные рассуждения, которые надо просто выкинуть. Но все это в конце концов техника. Недостатки рассказа лежат гораздо глубже.

Два слова о "постскриптумах". Возможно, это просто неуклюжий литературный трюк (хотя я не понимаю, зачем он понадобился), но если Вы в самом деле решили поместить – опять же непонятно, с какой целью, – отзывы лиц, послуживших прототипами героев Вашего произведения, то я должна сказать, что некоторые из их высказываний мне кажутся справедливыми.

В своем послесловии Вы намекаете, что рассказ написан "со слов" реально существующего человека, эмигранта, приехавшего в Москву. Можно сказать, что и повествование ведется в значительной мере от имени этого персонажа. Мы знаем множество произведений, где реальность показана сквозь призму отрицательного героя. Ваше право – избрать любую условную точку зрения. Но в том-то и беда, что она для Вас не условная, а Ваша собственная, Вы разделяете чув-

ства своего героя, согласны с его оценками, и это вызывает естественный протест у читателя. Я не знаю, насколько автобиографичен Ваш рассказ, но у меня буквально на каждой странице впечатление, что Ваш герой – это Вы сами.

Вот Вы приезжаете, – то есть он приезжает, – в город своего детства, своей юности, и что же он видит? Грязные дворы, нищих, проституток, езду против правил. Его окружают сомнительные типы, милиционеры-взяточники "в блинах", какой-то псевдописатель, который тайно торгует оружием, бывшая подруга, которая "всем дает". Все новое, все, чем украшается сейчас наша столица, размах строительства – все это вызывает у него злобу и насмешку. Чего стоит одна эта фраза: "Никогда не удастся сделать его просторным, вольным, даже если смести эту мерзость фанерных реклам, безвкусных статуй, пряничного кича и державного великолепия". Это говорится о великом городе, который вызывает восхищение иностранцев. И дальше: "Византийские орлы, свирепый маршал (это говорится о памятнике маршалу Жукову! – *Зам. Гл. редактора*) и новенькие маковки церквей, вся декоративная история, выставленная напоказ". Обретение духовности, возвращение нашего народа к вере отцов Вы называете "декоративным".

Герой рассказа вспоминает юность, но что он вспоминает? Историю своего ареста, тюрьму, лагерь – и больше ничего. Все, чем он обязан своей стране, образование, которое она ему дала, любовь к родине, гордость за нее, за свою нацию, выстоявшую в великой войне, – ничего не осталось, одна только злоба и зависть, простите за прямоту – зависть ренегата и отщепенца.

Тут мы подходим к главной теме. Сюжет рассказа основан на том, что герой, Вы называете его "туристом", на самом деле приезжает вовсе не как турист, а с целью разыскать человека, который, как он считает, посадил его в тюрьму, и отомстить ему. Что хочет сказать этим автор? По-моему, идея совершенно ясна. Раз государство не наказывает так называемых преступников, мы должны сделать это сами, должны рассчитаться с "советским прошлым".

Мы уже слышали таких геростратов, которые хотят перечеркнуть всю историю советских лет, сплошь обмазать наше прошлое дегтем. Хотя внушить молодежи, что ничего, кроме лагерей и тюрем, в нем не было. Да, были и тюрьмы, и лагеря, надо только как следует разобраться, кто там находился. Но главное – были великие социальные преобразования, была индустриализация, обеспечившая нам независимость, был энтузиазм, была самоотверженность и вера в великие идеалы. Была, наконец, великая культура и самая гуманистическая в мире литература. Вы призываете к мести, Вы сеете вражду. Понимаете ли Вы, что это значит? Вы, простите, не были здесь, Вы не пережили всего того, что мы пережили. Отдаете ли Вы себе отчет, живя там, на благополучном, на заевшемся Западе, что такие призывы могут привести к нарушению социального мира, а внутренний мир и согласие – это для России сейчас самое главное. Не зря народ говорит: кто старое помянет, тому глаз вон. Русский народ незлобив. Он готов простить даже отъявленному врагу. А ведь сказать, что люди, стоявшие у кормила державы, сумевшие вывести ее и из пекла гражданской войны, и из тяжких испытаний Великой Отечественной войны, сказать, что это были одни палачи, – тоже нельзя, не все были такими уж злодеями. Мы обычно предупреждаем, – если Вы читали наш журнал, – что рукописи не возвращаются, но для Вас делаю исключение, возвращаю Вам рассказ.

С уважением –

# Место Фридриха Горенштейна

Игорь Полянский



фото П. Свердлова

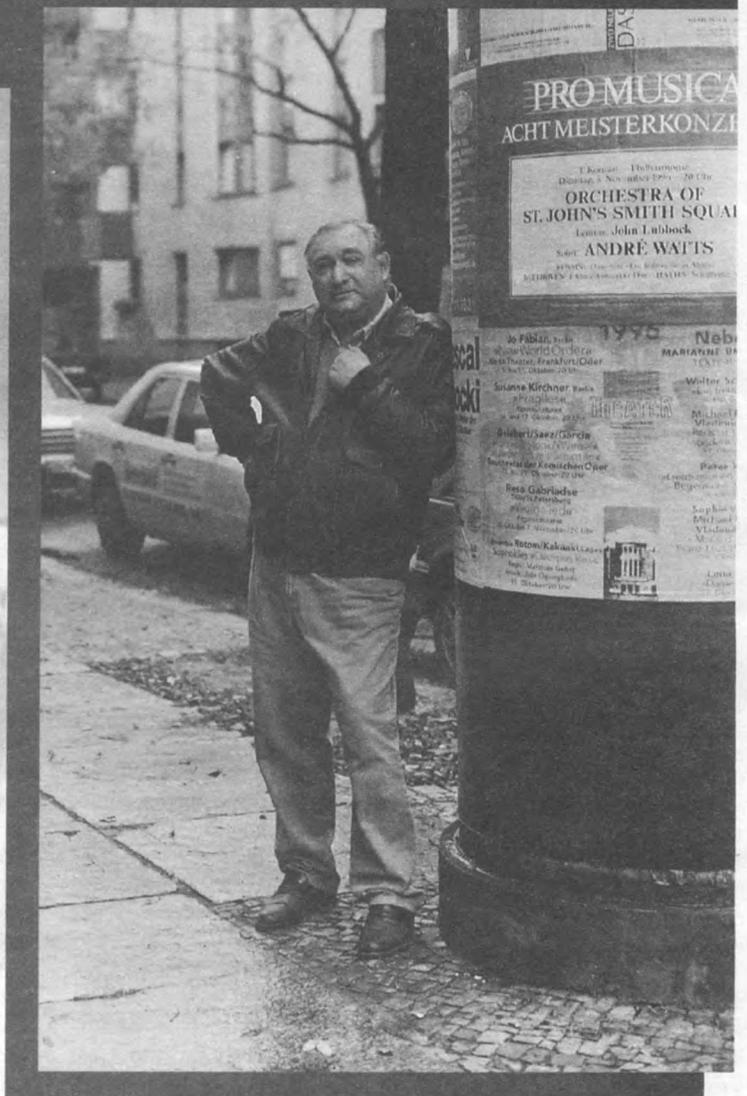


фото И. Малкнеля

Некрологов Фридрих Горенштейн не любил. Некролог, писал он – статья о "мертвом, пахнущем ладаном мертвыми словами – словами кладбищенского славословия" ("Зеркало Загадок" № 9, Берлин 2000). Я принципиальным ненавистником некрологов напротив не являюсь. Но если уж так сложилось, что приходится выбирать иную форму, то на смерть Горенштейна (2 марта 2002 г.), известного своим нонконформизмом, следовало бы откликнуться эпиграммой или, скажем, памфлетом-диссертацией – его любимым жанром.

Стоило бы перечислить еще раз недоброжелателей писателя всех гильдий и сортов – персонажей его публицистики. Впрочем, поименный список получился бы слишком длинным. Потому, вместо "штыка" номинализма, придется вооружиться "пером" типологического обобщения, подводя итог жизни и творчества.

С искренностью "любящего завистника" писал Горенштейн в романе "Летит себе аэроплан" о Марке Шагале, сыне витебского еврея – торговца селедкой, которому судьба одновременно подарила и долголетие, и удачу, и талант. Иначе судьба обошлась с самим Горенштейном, одним из самых талантливых прозаиков России, писавших в последней трети двадцатого века.

Фридрих Наумович Горенштейн родился в 1932 году в семье киевского еврея – профессора-экономиста. Однако, уже трехлетним ребенком он остался без отца, арестованного в 1935-ом и приговоренного 1937-ом "особой тройкой" к

расстрелу. Затем последовала война, эвакуация за несколько часов до прихода немецких частей и начала охоты на евреев немецко-украинскими карательными отрядами, смерть матери в вагоне поезда, уходящего на восток. (Первая публикация Горенштейна, рассказ "Дом с башенкой" об оставшемся сиротой мальчике почти документален.)

Дорога в эвакуацию закончилась детским распределителем и приютом. Впрочем, ребенок, оказался не просто сиротой, но сиротой – сыном врага народа, которому впоследствии полагалась если не каторга, то каторжная профессия. Горенштейну пришлось поступить в Горный институт – другого пути в высшее образование у него не было – провести полугоднюю юность в студенческих общежитиях, где борьба за место в жизни сводилась к жестокой борьбе за "койкоместо", работать на шахте.

Хрущевская оттепель стала эпохой раздачи долгов, удача повернулась лицом ко многим, кого раньше обходила стороной. Но только не к Горенштейну. Правда, в 1964 году в "Юности" был опубликован его рассказ "Домик с башенкой", уже в гранках читавшийся влиятельнейшими "именами". "Поначалу казалось после киевского прозябания, что я в Москве очень скоро "проснусь" знаменитым", вспоминал писатель ("Зеркало Загадок" № 7, Берлин 1998). Однако эта публикация оказалась первой и последней почти на тридцать лет.

А между тем, это были годы "нашумевшей", разоблачительнейшей прозы и поэзии, открывавшей внутреннему и внешнему читательскому рынку глаза на преступления сталинизма. Это было время, в которое строителю социализма с прямой гагаринской улыбки впервые дозволено было сомневаться и страдать на страницах "толстых" журналов и на экранах кинотеатров.

Герои произведений Горенштейна тоже страдали и сомневались. Но... как-то иначе, грубо ломая хрупкие формы послесталинской эстетики и этики, получившие свое яркое выражение в произведениях Аксенова и Солженицына.

Роман Горенштейна "Место" (1972) посвящен именно духовной атмосфере тех псевдолиберальных лет. Однако, главный герой романа не мученик сталинских лагерей, не затравленный генетик-селекционер, не вольнодумец хрущевского образца, не страстный ученый-атомщик, не комсомолец-романтик. Это и не "сокровенный" труженик деревенщиков, и не безбидный шутник-хулиган так называемой ленинградской литературной школы и даже не правдолюбец-уголовник шукшинского образца, если говорить о семидесятых годах. Ключевые художественные образы шестидесятых и семидесятых можно было бы продолжить. Среди них не найдется Цвибышева.

Герой "Места", этого политического романа-детектива, по жанру сравнимого с "Бесами" Достоевского, – сын врага народа, истерик-скандалист, обивающий пороги чиновных кабинетов после официального разоблачения культа личности. Он отчаянно борется за место в обществе, тщетно требует от хрущевского режима покаяния, признания и любви. Однако его равно не любят и третируют все советские люди: заводские коллеги, соседи по общежитию, общежитские управдомы и представители "элитарных" художественных кругов оттепели, с которыми он напрасно пытается сблизиться, и которые изображены в романе с памфлетной безжалостностью и точностью. Разочарованный и озлобленный Цвибышев примыкает к террористической группе, планирующей убийство Молотова. Однако, только в кабинетах КГБ он находит "понимание" и "сочувствие".

По сути, роман Горенштейна о террористе сам явился литературным терроризмом, ставившим под угрозу негласное соглашение о дозволенных степенях свободы, заключенное между творческой интеллигенцией и властью. Сам этот сговор, без которого невозможна была бы инсценировка полноценного общества, жестоко дезавуировался автором.

В книге "нормальная", казалось бы, обновленная жизнь шестидесятых оборачивалась фарсом. Неудивительно, что "Место" брали "как бомбу", "как ежа". Хотя его и читали в рукописи влиятельнейшие люди, впервые оно было опубликовано в России лишь в 1991 году.

Однако, вернемся к биографии писателя. Шли годы, Горенштейну удалось все-таки закончить в Москве Высшие сценарные курсы. Не имея ни квартиры, ни постоянной прописки в столице, он зарабатывал на жизнь тем, что писал и редактировал сценарии за других. Под его собственным именем были экранизированы только восемь сценариев. Среди них – "Раба любви" (режиссер Н. Михалков), "Солярис" (режиссер А. Тарковский), "Седьмая пуля" (режиссер А. Хамраев), "Комедия ошибок" (режиссер В. Гаузнер), "Щелчки" (режиссер Р. Эсадзе), "Без страха" (режиссер А. Хамраев), "Остров в космосе" (режиссер А. Бабаян). Многие сценарии, как например, "Светлый ветер", написанный совместно с Тарковским, были, однако, запрещены.

Послесталинская субкультура требовала от работников искусства куда более изощренной мимикрии, чем сталинский режим. Лагерный опыт создал новый, в отличие от сталинского сущностно советский, тип творческой интеллигенции, умело лавировавшей в узком пространстве неоромантического социализма на грани элитарности и пролетарности, имитируя либеральное общество и свободный худо-

жественный процесс. Кино, литература, театр стали наиболее коррумпированными зонами советского общества. Эти иерархические структуры литературно-художественного полусвета не только диктовали особый стиль в искусстве, но предписывали определенный стиль жизни и мышления тем, кто претендовал на привилегированное "место среди живущих" на духовном фронте. Ни в литературе, ни в жизни Горенштейн этим требованиям не отвечал. Более того, его опасно было "брать в дело", как, скажем, опасно брать эпиплетика на вооруженный грабеж. Того и гляди случится литературный припадок! Накроют всех.

В 1980 году Горенштейну, казалось бы, повезло. По приглашению Германского фонда по культурному обмену (DAAD) ему удалось попасть в Западный Берлин, где он и прожил 22 года. Однако и это событие произошло, как он не раз подчеркивал, не благодаря, а вопреки советскому "литературному истеблишменту", работавшему не только на внутренний рынок, но и на "экспорт", совместно с западной леволиберальной славистикой.

На Запад Горенштейн уехал без шумной биографии диссидента. Те успехи, которые пришли к нему в Германии и во Франции – почти все его произведения переведены на немецкий и французский – он принял у судьбы не как подарки, а как на годы задержанные долги, на которые стоило бы начислить большие проценты. Впрочем и здесь в Берлине, несмотря на то, что в немецкой печати за ним закрепился титул "второго Достоевского", у писателя было много неудач и разочарований, в частности в связи с его политическими взглядами, настолько не укладывающимися в готовые схемы, что пресса устала записывать его то в правые, то в левые радикалы. Берлинский журнал "Зеркало Загадок" был в последние годы почти единственным органом печати, где он мог открыто выступать как публицист.

А что же на Родине? Времена менялись. Менялись приоритеты и страхи советского, а затем и постсоветского "литературного истеблишмента", этого собирательного персонажа, ставшего постоянным объектом сатиры и критики Горенштейна. Конститутивный страх перед хронически беспартийным писателем сохранялся и в ельцинской России. В самом деле, стоит ли связываться с человеком, который, например, искренне полагает, что литературные премии следует присуждать по заслугам, а не "по очереди"?

Своей очереди на литературную премию в России писатель при жизни так и не дождался. Впрочем, переиздание в прошлом году в Москве романа "Псалом" добрый знак. А пока в опустевшей квартире Горенштейна в Берлине на Зексшештрассе на письменном столе – неоконченные рукописи, материалы и наброски к новой пьесе. Есть и практически завершённый роман "Веревочная книга", результат работы последних двух лет. Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь он выйдет в печати.

Роман Горенштейна "Место" состоит из четырех частей: "Койко-место", "Место в обществе", "Место среди жаждущих" и "Место среди служащих" и эпилога "Место среди живущих". Можно предположить, что во всех этих местах-ипостасях и сам писатель подобно своему герою нередко чувствовал себя незванным гостем. Что же касается места Горенштейна в русской литературе, он его несомненно себе обеспечил. Иной вопрос, когда он будет действительно по достоинству оценен на родине.

После краха Советского Союза и периода духовной эклектики девяностых годов не успело (или не сумело?) сформироваться поколение, способное критически пересмотреть эпоху "шестидесятников", эстетика которой до сих пор сохранила свою вирулентность. Мне думается, что появление имени Горенштейна в ряду русских классиков двадцатого века станет знаком смены вех в духовном развитии России, знаком зрелости постсоветской культуры.

# Как я бы шпионом ЦРУ

## ЦРУ



Фридрих Горенштейн

Окончание. Начало в № 9

Рисунок Тамары Ивановой

V

С Мордухаем Файволовичем Мордухаевым мы оказались в разных фондах: я в фонде доктора Фауста и его консультанта Мефистофеля, а Мордухай Файволович - в Рав Тов (добрый раввин). "Я вас найду, - сказал на прощанье Мордухай Файволович. - Нам нужно держаться вместе." Но больше не появлялся, исчез. Может быть, ему объяснили, что он надеется на фальшивую лошадку, и они с дочерью пристроились к каким-либо более умелым и влиятельным лицам.

Тут, на черной венской лестнице, рядом с витринным облием, кстати, достаточно однообразным, но тогда новым, быстро трезвеют. Даже я, "бедный рыцарь", начал думать о дополнительном заработке. Фонд доктора Фауста оплачивал пансион - не роскошный, но без клопов -, прижимисто выдавал на жизнь. Когда мой сын заболел, простудившись, то оплатил лечение в госпитале Святой Анны, где фельдшер без руки, узнав, что я писатель, начал вдруг говорить по-русски о Гоголе. Руку он потерял под Сталинградом и три года был после этого в русском плену. "Нас, австрийцев, освободили гораздо раньше, чем немцев. Мы ведь - маленькая нейтральная страна. Нам повезло. Так Сталин решил."

Истинно, повезло. Пути истории неисповедимы. Сталин хотел и Германию превратить в нейтральную страну, оставив ее единой. Не из-за того, что испытывал гуманные чувства, а из-за того, что опасался возрождения, и не без основания, немецкой армии. Но западные державы не согласились и потребовали раздела Германии именно потому, что хотели иметь немецкую армию и немецкий потенциал против весом сталинскому напору на Европу. Конечно, я понимал, что подобные мысли о причинах раздела Германии в фонде доктора Фауста не поощряются. Я уже понял, что и здесь существует своя цензура, но кое-что, в более завуалированной форме, все-таки написал, когда меня попросили вольно изложить свои соображения по международной ситуации

как приложение к анкете, мной заполненной. А спустя несколько дней я получил казенный конверт из Парижа. Это была тоже анкета, но вопросы были таковы, что сразу же позволили моей легко воспламеняющейся фантазии сообразить и додумать, кто ж впрямую стоит за этими вопросами, тем более, что подпись была типично ЦРУ-шная, точно не помню: то ли Шейли, то ли Бейли, то ли Рейли. "Мистер Шейли (Бейли, Рейли), ваша карта бита." Это из советских шпионских фильмов 50-х гг., но я, в духе конца 80-х, решил поставить на эту карту.

К анкете была приложена карта Москвы и просьба, по возможности точно обозначить крестиком, где я, в каком месте Москвы, жил, и указать, когда, как, в какие дни недели, в какое время года и при какой погоде, слышимость радиостанции была а) хорошая, в) средняя, с) плохая или вовсе отсутствовала. Перечислялись радиостанции "Голос Америки", "Свобода", "Голос Израиля", "Голос Франции", "Голос Швеции", "Голос Ватикана" и т.д. Перечислялись радиостанции, которых я не только не слышал, но и о которых не слышал. Тем не менее, я с энтузиазмом взялся за работу, тем более, что в конце прилагаемого на русском, ЦРУ-шном дистиллированном языке была приписка: "Мне приятно Вам также сообщить об оплате, которую Вы получите за предельный труд."

Эта приписка была действительно приятна. В дополнение к жидким субсидиям доктора Фауста, в оплату я весьма нуждался. Получить премию гения в полмиллиона долларов имело меньше шансов, чем найти в венском парке, куда я, кстати, почти не ходил, под гнилым пеньком в зарослях туго набитую долларами сумку. К тому же, досаждали непредвиденные расходы. Посещение госпиталя доктор Фауст оплатил, но лекарства пришлось оплачивать самому. Любезный ЦРУ-шник, не мистер Мефистофель, бес поменьше, пришел, чтобы отвезти нас в госпиталь, но за такси пришлось платить самому. Очевидно, в расходных списках ЦРУ оплата за такси не числилась.

Это, очевидно, было правилом. Когда я уезжал из Вены в Западный Берлин, мне дали телефон одного "хорошего", "нужного" человека: "Он Вам поможет". Этот огромный слонообразный человек – Джорж Бейли (Георгий Георгиевич, как он сам себя называл), добродушный и заботливый, говорил по-русски с легким акцентом, а по-немецки без акцента.

Маленькие дети, как известно, часто болеют. Когда заболел мой полугодовалый сын, Георгий Георгиевич тут же приехал, взял сына на руки, и мы отправились с того места, где я тогда жил, на то место, где я теперь живу, и где находился практикум доктора Боша. Но пять марок за такси – такси стоило тогда не слишком дорого – заплатил я сам. Это, очевидно, правило; Учреждение деньгами не бросалось, если, разумеется, не *особый случай*. Я, очевидно, *особым случаем* не был. Бейли Георгий Георгиевич некоторое время потом работал директором радиостанции "Свобода", должность, как правило принадлежавшая отставникам Учреждения.

Недавно по телевизору я видел встречу двух учреждений: с бывшей советской, то есть восточной стороны – некто Кондратьев, а с западной – Джорж Бейли, которого назвали "офицером связи в Западном Берлине". Георгий Георгиевич стал похож на похудевшего слона. Оба резидента дружески улыбаясь пожали друг другу руки. Холодная война кончилась, наступил горячий мир. Но тогда, два десятилетия назад мир был холодным, а день, о котором я пишу – в прямом смысле холодным.

Обратно поехали на трамвае. Никто из пассажиров не мог понять мой ломаный идиш и объяснить, где продают трамвайные билеты. Был осенний венский день с холодным дождем и сильным ветром. Вена славится своими ветрами. Одет я был не по сезону, поскольку багаж наш с вещами отправлен был в Западный Берлин, куда меня не впускали, несмотря на полученную стипендию, за отсутствие советского или какого-либо заграничного паспорта, на который можно поставить визу. Так, по крайней мере, объясняли. Разумеется, в этой обстановке невозможно было обойтись без трамвайного контролера. Он тотчас вошел после нас.

Что такое трамвайный контролер как человеческий тип - известно. Венский трамвайный контролер - красный нос и твердые уши под форменной фуражкой. Если немец, тем более австриец, надел форменную фуражку, то говорить ему о человечности - все равно, что говорить о человечности носорогу. "Не знали, где билет покупать, ребенок больной, не знали, не знали..." Пришлось заплатить штраф. Поэтому обрадовался дополнительному ЦРУ-шному заработку и поставил на ЦРУ-шную карту, причем в прямом смысле - на карту Москвы, которую должен был, в пределах своих возможностей, прокомментировать в интересах западной пропаганды. Кошка Крестя, которая освоилась в пансионате на Кохгассе, хоть и к неудовольствию хозяйки по фамилии Котбауер, поставила на эту разложенную карту Москвы свою измазанную попку, и от карты попахивало, но я воспринимал это как хороший признак.

В ЦРУ-шной анкете, помимо сухих цифровых данных, предложили мне также в вольном стиле на вольную тему изложить свое мнение по любому направлению - политическому, общественному, культурному. Я поехал в Венскую библиотеку, чтоб покопаться в газетах и книгах, необходимых для подобного изложения. В целом это, по сути, был мой западный бенефис, начало моей творческой работы на Западе. И сны начали сниться политические, странные: не Россия, но и не Запад, нечто неопределенное - разлив воды, книга, нарезанная, как пирог. Но раз приснился тогдашний редактор "Литгазеты" Чаковский, правда, с другой внешностью и в виде карлика, который по-цирковому ловко глотал подброшенные крутые яйца.

Для понимания подобных снов нужен психоанализ. Вена - город психоанализа, город Фрейда. Многое здесь - двухмерно, нет третьего измерения, нет куба. Романтизм тоже

## Als ich ein Spion des CIA war

Von Friedrich Gorenstein  
(Auszüge der Fortsetzung, Ende)

Was der Straßenbahnkontrolleur für eine Menschenart darstellt, ist bekannt. Der Wiener Straßenbahnkontrolleur hat eine rote Nase und steife Ohren unter der Uniformmütze. Wenn ein Deutscher, und erst recht ein Österreicher eine Uniformmütze trägt, so braucht man ihm nicht mit Menschlichkeit zu kommen, da kann man genauso gut einem Nashorn etwas von Menschlichkeit erzählen. „Wir wussten nicht, wo man ein Ticket kaufen muss, das Kind ist krank, das wussten wir nicht, wussten wir nicht...“ Wir mussten die Strafe bezahlen. Daher freute ich mich über den zusätzlichen Verdienst vom CIA und setzte auf die CIA-Karte, sogar im wörtlichen Sinn – auf die Karte Moskaus, die ich im Rahmen meiner Möglichkeiten im Interesse der westlichen Propaganda kommentieren sollte. Katze Kristja, die sich an die Pension in der Kochstraße angepasst hatte, auch wenn das zur Unzufriedenheit der Wirtin mit Namen Kotbauer geschah, setzte auf diese ausgefaltete Karte Moskaus ihr verschmiertes Gesäß, worauf die Karte leicht zu riechen anfang, was ich aber für ein gutes Vorzeichen nahm.

Der Fragebogen des CIA beinhaltete neben trockenen Zahlenangaben auch den Vorschlag, zu einem beliebigen Thema im beliebigen Stil zu einem freistehenden Sachverhalt seine Meinung zu äußern, sei es ein politischer, gesellschaftlicher oder kultureller. Ich fuhr in die Wiener Bibliothek, um mich in Zeitungen und Bücher zu vergraben, die ich für solche Erörterungen benötigte. Das Ganze war im Grunde genommen meine westliche Benefizvorstellung, der Anfang meiner künstlerischen Arbeit im Westen. Auch die Träume begannen politisch, seltsam zu werden: nicht Russland, aber auch nicht der Westen, irgendetwas Unbestimmtes – eine Wasserflut, ein Buch, zerschnitten wie eine Pirogge. (...)

Über arme Künstler, die auf den Straßen des Kapitalismus in Elend leben, hat man in der sowjetischen Propaganda einiges gehört, sogar Fotos konnte man sehen. Doch die Wirklichkeit erwies sich als noch unangenehmer, als sie in der sowjetischen Propaganda beschrieben worden war. Ein Künstler in schmutziger Kleidung, mit schmutzigem Bart im jungen Gesicht malte Bilder auf den Asphalt der Straßenbahn, an einer überirdisch-unterirdischen Tramhaltestelle. Er malte mal eine Dame, mal an einem anderen Tag ein Pferd mit goldenem Bändchen und langer Mähne, stellte eine Tasse hin und schrieb dazu „Danke“. Ich habe nicht gesehen, dass irgendwer eine Münze in die Tasse geworfen hätte. Neben ihm saß seine Freundin mit breiten Hüften, in Jeans gehüllt. An der gleichen Straßenbahnhaltestelle zettelte ein junger mit zwei älteren Leuten bürgerlichen Aussehens einen Streit an – einem Mann und einer Frau mit grünen Hüten. Der Alte verteidigte sich, doch der junge überwältigte ihn und schlug ihm sogar die Mütze vom Kopf. Keiner mischte sich ein. Ich mischte mich ein – ohne Worte, mit Gesten. Der junge Mann erschreckte sich vor mir: wahrscheinlich hielt er mich für einen Polizisten, und rannte weg. Die Alten gingen fort, ohne einen Blick auf mich zu werfen oder auch nur „Danke“ zu sagen.

Die Welt der Eitelkeiten einer fremden Straße... Doch ich hatte mir damals schon eine fremde Insel angeeignet, genannt die Wiener öffentliche Bibliothek. „Dichtung löst ein fremdes Dasein in ihr eigenes auf“ – sagte Novalis. Die Wiener öffentliche Bibliothek. Ein solider wissenschaftlicher Mitarbeiter trat aus dem Lesesaal ins Vestibül, packte eine akkurat verpackte vorher gereinigte Möhre aus, setzte sich in einen Sessel und begann sie mit Hasenappetit zu essen. Ein anderer solider Mann, glatzköpfig, mit Hut, mit einem dicken Bücherpaket in den Armen, rollte auf Rollschuhen in die Bibliothek. Im Vestibül gab er dann die Bücher bei der **Ausleihe**, die Rollschuhe mit Stiefeletten an der Garderobe ab und ging, nachdem er die mitgebrachten Schuhe angezogen hatte, in den Lesesaal. Offensichtlich machte er das ständig so. Ich sah ihn mehrere Male. Als er einmal so angefahren kam, machte er im Vestibül eine Pirouette, stieß mit einer Dame

двухмерен, как верно замечено, но в романтизме двухмерность одухотворена. Вставные новеллы "Дон Кихота" двухмерны по сравнению с текстами, зыбкий материал, жизнь из него устранена. Двухмерность - почти сказка высокой любви и безграничного переживания. Двухмерный Дон Кихот и кубический Панса. Третье измерение немецкого романтизма - это, видно, ночи, туманы и тому подобное. Вот на какие книги и темы, совершенно не соответствующие моим замыслам и замыслам ЦРУ, я наткнулся в Венской библиотеке и увлекся ими.

Но двухмерный венский романтизм возвращал к теме. В витринах венских магазинов - книги о Гитлере, о Геринге, о СС, о Сахарове, "Палестинец - Родина или смерть". Книги при капитализме стоят дорого, это я особенно отметил. В городе почти не видно птиц, это тоже я отметил. У госпиталя Святой Анны немного деревьев. Птички торопливо перелетают и прячутся. Они не щебечут на тротуарах, как в Москве, где много зелени, хоть это не город-сад, а скорей, город-лес - все запущено.

Тем не менее, присущее Москве общение с птицами в Вене отсутствует. Впрочем, и в Вене случаются московские виды. Московское утро субботней Вены - все с сумками. К половине двенадцатого дня продтоваров в магазинах нет, и продавщицы грубые, особенно в больших супермарктах. Среди кассирш почему-то много женщин с вагнеровским профилем. В Вене вообще чаще, чем в Германии, встречается женский тип с вагнеровским профилем. Сам Вагнер с вагнеровским профилем, очень маленького роста, самый нехристианский в немецкой музыке, и вообще - самый нехристианский из немецких композиторов, художников, писателей. Про бедных художников, нищенствующих на капиталистических улицах, немало слышал в советской пропаганде, даже видел снимки. Но реальность показала еще более неприятной, чем ее расписывали советские пропагандисты. Художник в грязной одежде, с грязной бородой на молодом лице рисовал на асфальте Трамвай-бана - надземно-подземного трамвайного вокзала. Рисовал то какую-то даму, то, на другой день - лошадь с золотой уздечкой, с длинной гривой, выставив чашку и написав "Danke". Я не видел, чтобы кто-либо бросил монету в чашку. Рядом с ним - его подруга с толстыми ляжками, обтянутыми джинсами. На той же остановке Трам-бана какой-то молодой затеял свару с двумя стариками бюргерского вида - мужчиной и женщиной в зеленых шляпах. Старик отбивался, но молодой одолевал и даже сбил со старого шляпу. Никто не вмешивался. Я вмешался - без слов, жестами. Молодой меня испугался: наверное, принял за полицейского, убежал. Старики ушли, даже не глянув в мою сторону и не сказав "Danke".

Суета сует чужой улицы... Но я тогда уже освоил чужой остров, именуемый Венской публичной библиотекой. "Поэзия растворяет чужое бытие в своем собственном" - сказал Новалис. Венская публичная библиотека. Какой-то солидный научный работник вышел из читального зала в вестибюль, вынул аккуратно завернутую очищенную заранее морковку и, сев в кресло, начал есть с заячьим аппетитом. Другой солидный человек, лысый, в шляпе, с толстой пачкой книг в руках, приехал в библиотеку на роликовых коньках. Войдя в вестибюль, он сдал книги в абонемент, роликовые коньки с ботинками - в гардероб, и, надев принесенные с собой туфли, вошел в читальный зал. Очевидно, так он приезжал постоянно. Я видел его несколько раз. В один из приездов он сделал в вестибюле пирует, сбил даму, та упала, откинув далеко в сторону руку с сумочкой. Извиняясь, господин даже заплакал. Эти малые чудачества не казались мне чужими. Среди книг я чувствовал родство душ, я чувствовал общемировую душу, ту самую, которая переселилась из языческой природы в души людей. Под влиянием всех этих мыслей и ощущений я писал ЦРУ-шникам свои соображения о национальной и мировой литературе.

zusammen, sie fiel um, wobei sie den Arm mit der Handtasche weit beiseite warf. Als er sich entschuldigte, weinte der Herr sogar. Diese kleinen Absonderlichkeiten erschienen mir damals nicht fremd. Zwischen den Büchern fühlte ich eine Seelenverwandtschaft, ich fühlte die weltweite Seele, dieselbe Seele, die aus der heidnischen Natur in die Seele der Menschen umgesiedelt ist. Unter dem Einfluss all dieser Gedanken und Gefühle schrieb ich den CIA-lern meine Überlegungen über die nationale und die Weltliteratur auf.

„Die Nationalkultur – die bildet die Grundlage, die man jedoch vollständig erfassen kann. Sie ist ein notwendiges, aber begrenztes Element der Kultur. Die Ähren der Kultur – die sind eine komplizierte geistige Verbindung nicht nur einer unbeweglichen Grundlage, sondern auch der beweglichen weltweiten Luft, der weltweiten Nässe, des weltweiten Himmels und der weltweiten Sonne. Ohne das Weltweite in einer Nationalkultur herrscht Dürre. Selbst die Folklore ist weltweit und stellt ein Spiegelbild des Bewusstseins der analphabetischen Unterschicht der weltweiten Kultur dar. Je niedriger die Kultur eines Volkes ist, desto dichter kommt sie der nationalen Grundlage und desto stärker gewinnt in ihr das nicht essbare Element von Lehm und Sand die Oberhand, das an die Stelle lebenden organischen Brotes tritt.

Wobei man die weltweite Kultur nicht mit dem heutigen Modebegriff „Multikultur“ verwechseln darf. In der Multikultur gibt es weder eine weltweite Grundlage noch einen weltweiten Himmel. Das sind äußerlich schöne, doch geschmacklose Produkte einer Kultur, die durch künstliche Genmanipulation verschiedener Rassen in den Treibhäusern liberaler Denker ohne Grundlage und Luft in den chemischen Lösungen ihrer utopischen „friedliebenden“ Bauwerke aufwachsen.“

Ich schrieb mein Traktat, adressiert an den CIA, teils in der Bibliothek und teils in der Pension in der Kochstraße, teils tagsüber in Begleitung eines Flügels. Über mir, eine Etage höher, spielte irgendjemand oft auf dem Flügel. Offensichtlich waren das reiche oder einflussreiche Emigranten, die in einem Appartement mit Flügel untergebracht wurden. Und teils nachts, in der Stille, bis sich morgens nicht so sehr die Sonne oder Vogelgesang erhob, war es doch ein dunkler, windiger Wiener Herbst ohne Vögel, sondern vielmehr das Wasserspülen in den Klosettbecken von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Stockwerken einsetzte, das erst aufhörte, wenn es draußen schon hell wurde und das schon vertraute Firmenschild des Geschäfts „Masarik“ auf der gegenüberliegenden Seite der Kochgasse auftauchte.

Schließlich hatte ich mein erstes im Westen geschriebenes Werk, das an den CIA adressiert war, beendet und nach Paris geschickt, zusammen mit dem Fragebogen über westliche Radiostationen, dem ich, das gebe ich zu, sehr viel weniger Aufmerksamkeit gewidmet hatte als dem Traktat, bei dem ich nur ungefähr die Radiostationen und deren Empfangsstärke angegeben hatte, und zusammen mit der Karte von Moskau, auf der ich und die Katze Kristenka Vermerke gemacht hatten, wobei Kristja mit verschmierem Gesäß auf das Gebiet des Kremel geraten ist.

Während ich auf Antwort wartete, besonders darauf, wie man auf mein Traktat reagierte, in dem neben der Kultur auch die aktuelle Politik behandelt wurde, schlief ich ruhig, manchmal wachte ich sogar auf und saß einfach so am Fenster, bis der Lärm der Klosettspülungen losging und das Firmenschild von „Masarik“ auftauchte. Manchmal gab es auch eigenartige Träume. Einmal träumte ich, dass ich mich an den Verhandlungstisch mit Breshnew setzte. Der Tisch war klein, ein Schachtisch, zuerst ging ich durch nächtliche Einöde. Am Tisch eine Wache. Sie wandte sich an mich: „Hände hoch! Die Atomwaffe abgeben!“ Den Morgen nach diesem Traum erhielt ich die Antwort. (...)

"Национальная культура - это почва, но она вполне познаваема. Это - необходимый, но не органический элемент культуры. Колосья культуры - это сложное духовное сочетание не только неподвижной почвы, но и подвижного всемирного воздуха, всемирной влаги, всемирного неба и всемирного солнца. Без всемирного в национальной культуре царит засуха. Даже фольклор всемирный и является отражением сознания неграмотных низов всемирной культуры. Чем ниже культура народа, тем ближе она к национальной почве, тем сильнее вместо живого органичного хлеба в ней преобладает несъедобный элемент глины и песка.

Кстати, всемирную культуру не следует путать с модным ныне термином "мультикультура". В мультикультуре нет ни всемирной почвы, ни всемирного неба. Это - внешне красивые, но безвкусные продукты культуры, которые выращивают искусственной генной манипуляцией разных рас в своих теплицах либеральных мыслителей без почвы и воздуха на химических растворах своих утопических "миролюбивых" построений."

Я писал свой трактат, адресованный ЦРУ, частично в библиотеке и частично в пансионе на Кохгассе, частично днем, под аккомпанемент рояля. Надо мной, этажом выше, кто-то часто играл на рояле. Видно, это были богатые или влиятельные эмигранты, которых поселили в апартамент с роялем. А частично ночью, в тишине, когда утро возвещалось не столько солнцем и пением птиц, поскольку была темная ветреная венская осень без птиц, сколько шумом воды в унитазах с разных сторон и на разных этажах, с окончанием которого за окном начинало светлеть и появлялась знакомая уже вывеска магазина "Масарика" на противоположной стороне Кохгассе.

Наконец, я свое первое на Западе произведение, адресованное ЦРУ, окончил и отправил в Париж, вместе с анкетой о западных радиостанциях, которой, признаюсь, уделил гораздо меньше внимания, чем трактату, примерно перечислив радиостанции и слышимость, а также карту Москвы, отмеченную мной и кошкой Кристенкой, причем Кристя измазанной попкой попала на район Кремля.

## VI

В ожидании ответа, особенно же реакции на мой трактат, где помимо культуры коснулся и современной политики, спал беспокойно, иногда даже просыпался и просто так сидел у окна до унитазных шумов и явления вывески магазина "Масарик". Случались и своеобразные сны. Снилось, что сел за стол переговоров с Брежневым. Столик маленький, шахматный, сперва шел через ночную пустыню. У столика охрана. Направились ко мне: "Руки вверх! Сдать атомное оружие!" После этого сна утром и принесли ответ.

Конверт такой же казенный. Торопливо вспорол. Ни слова о трактате. Вообще ни слова - только чек, 90 долларов. Не хочется даже тратить слов, чтобы передать мое разочарование, но пошел искать банк. Чек выписан в венский филиал банка Рокфеллера. Банк Рокфеллера - естественно, в престижном, богатом месте Вены, недалеко от кафе-ресторана "Модарт". Банки часто грабят, судя по сообщениям прессы, однако, я что-то не слышал об ограблении банка Рокфеллера. Охрана, войти можно только по предъявлению чека и личного документа. Личный документ у меня - полулиповый: справка о статусе эмигранта, но чек подлинный. Охранник, просветив каким-то аппаратиком, пропустил.

Пошел по лабиринту, пока не показали кассу. Кассир взял чек: некоторое время он рассматривал чек молча, мне даже показало, с недоверием, потом, через пуленепробиваемое стекло, посмотрел на меня. Кассир этот банка Рокфеллера был, кстати, гигантского роста атлет. Знаете, есть такие рано полысевшие блондинчики, загорелые крепкие лысины которых, как и увесистые кулаки-гири, свидетельствуют о дикой

силе: схватит - сомнет. Мне даже не по себе стало под этим бесцветным взглядом альбиноса. "Что-то случилось, - думаю. - Не пал ли я жертвой какой-нибудь непонятной интриги? Не подделан ли с какой-либо целью чек, или не придумано еще нечто головокружительно хитроумное?"

Холодная война была тогда в разгаре. Я достаточно много о том читал и слышал. Полковник Пеньковский с дерзкой отвагой передавал в Москве стратегические советские планы агентам ЦРУ среди бела дня на Тверском бульваре, спрятав их в детской песочнице, на детской игровой площадке, как раз против Литературного института имени Горького. О полковнике Пеньковском в начале 60-х много говорили и писали, как его разоблачили. Не деточки ли с игровой площадки откопали в песочке ведро со стратегическими планами и отнесли дяде милиционеру? Перед расстрелом полковник Пеньковский попросил свидание с матерью. Он вел себя мужественно. "Нет, - опровергнул лектор-референт из Органов. На Высших сценарных курсах сотоварищи Маклярского по Органам часто читали лекции, по просьбе, очевидно, самого Маклярского. - Нет, Пеньковский умер трусливо, плакал, молил о пощаде."

Никто не знает целого. Всякая версия состоит из оторванного клочка. Истинно сказано: потеря целого мстит, злорадствуя, в каждой частности. От отдельного человека ускользает мир как целое. Ясно одно - полковнику Пеньковскому не повезло. Полковник Куклинский в Польше продал стратегические планы всего Варшавского договора, и спасся с помощью американского поляка Збигнева Бжезинского. Он даже не скрывал, что шпионил ради денег, впрочем, как и я, тем не менее, в современной Польше его встречали не как блудного сына, а как героя, хотя всякая агентурно-шпионская деятельность издавна связана с чекowymi книжками и банковским делом. Именно это и является узким местом агентурно-шпионской деятельности. При выписке чеков, при передаче денег чаще всего случаются провокации и провалы. Нужда в деньгах - лучшая наживка.

Все эти мысли, хоть и не так подробно, пронеслись в моей перегруженной впечатлениями и чтением голове, пока кассир банка Рокфеллера рассматривал меня и чек. Я ожидал всего, что угодно, но только не того, что случилось далее. Самый ловкий автор криминальных романов, издающий их тиражами в 10 миллионов экземпляров и покупающий на свои гонорары уютные острова с удобными гаванями для личных яхт и посадочных площадок самолетов, не мог бы придумать подобного поворота. Глаза кассира банка Рокфеллера вдруг сузились, налились слезами, и бычьи плечи его затряслись. Сначала беззвучно, а потом все более оглушительно визгливо, он дико захохотал. Рядом с ним в кассе сидел еще один кассир-полицейский: брютон, тоже крепкого сложения. Гигант-блондинчик что-то сказал сквозь смех тenorом брютону по-английски, показывая ему чек, и тот тоже начал смеяться, хоть и более деликатно, не до такой самозабвенной истерики. "В чем дело? - решился наконец спросить я на ломаном идише. - Что случилось? Чек неправильный?" "Alles in Ordnung", - ответил мне блондин по-немецки с некоторым английским акцентом, продолжая смеяться и говорить нечто по-английски. Тогда я, наконец, понял, что он просто смеется над чеком и надо мной. Он смеялся над чеком с одним нулем, и надо мной, обладателем этого чека. Наверное, сюда, в банк Рокфеллера, такой чек поступил впервые, иначе кассира бы это не так удивило и рассмешило.

Не знаю, почему Шейли (Бейли, Рейли) выписал мне чек именно в банк Рокфеллера. Может быть, по рассеянности, может, по ошибке. Об ошибках разведчиков немало написано обладателями уютных островов и даже подмосковных дач, да и исторических фактов немало. Ясно лишь, что при Центральном Разведывательном Управлении США существовал и, может, тоже существует отдел утильсырья, наподобие бердичевского "Айн галош а фердел!" Один галош -

ненужный отброс, но тысяча старых галош уже годятся в переплавку, как и тысяча ржавых замков и оконных шпингалетов, а ненужное, битое стекло, этикетки, войлочные стельки выбрасываются в помойку, как выбросил в помойку Шейли (Бейли, Рейли) мой трактат о нынешнем состоянии культуры и политики. Но вот с оплатой получилась накладка: все равно, если б бердичевский старьевщик выписал за старую галошу копейку чеком через банк Ротшильда.

Конечно, кассира венского отделения банка Рокфеллера можно понять: Вена известна с давних времен как центр хорошо оплачиваемого международного шпионажа, терроризма и деятельности борцов за мир. Обе стороны имели, а, может, и имеют здесь счета в банках. Может, через стальные пальцы банкира-кассира пропускались многонулевые чеки бедняги Пеньковского и ловкого удачника Куллинского, может быть, сам Збигнев Бжезинский с тонким носом получал здесь многонулевой чек на текущие расходы, будучи проездом. Может, сам Генри Киссинджер, который именно банк Рокфеллера рекомендовал президенту Никсону в политические советники, получил здесь свою многонулевую долю переводом из нобелевского Осло за установление мира во Вьетнаме?

Партнер Киссинджера с вьетнамской стороны от медалей и чека честно отказался, предпочел натурой, то есть Южным Вьетнамом. Спустя короткий срок танки коммунистов ворвались в Сайгон, и последние американцы удрали с крыш посольства на вертолете. Такой-то мир, оплаченный многонулевым чеком. Потом Киссинджер, по поручению Никсона и, может быть, Рокфеллера, попытался установить такой же мир на Ближнем Востоке. Да и кто там не пытался заниматься миротворчеством? Бегин, Саддат, Рабин, Перес, Арафат, и все с медалями, дополненными многонулевыми чеками. Даже Клинтон старается получить, невзирая на графу в анкете "морально неустойчивый".

Вот Де Голль не получил за мир в Алжире. Это не совсем справедливо: более миллиона французов из Алжира изгнали, лишили имущества или убили, а более трех миллионов арабов осело во Франции, да еще иногда бомбочку подложат. Чем же алжирский вариант Де Голля хуже вьетнамского Киссинджера? Но зато Де Голль получил главную площадь - Этуаль, аэропорт Парижа, и, вообще, назначен вторым после Орлеанской девы историческим героем Франции.

История никогда не обладала и не обладает моральным тактом и точностью оценок политических старьевщиков. История - как пуля-дура, куда ее пустят, туда она летит. Но есть еще и штык-молодец: копьё-перо Бедного Рыцаря с бумажным щитом, на котором написаны высокие слова если не кровью, то желчью. Конечно, можно высмеивать его единственный нуль, можно бросать в помойку его трактат, но не нулем единым жив человек, а всяким словом, которое, к тому же, доступно копированию и хранению не хуже рокфеллеровских цифр. И, поскольку я вообще люблю себя сравнивать, попробую в этот раз сравнить себя с Де Голлем. Я получил 90 долларов за свою политическую деятельность, а он назначен вторым после Орлеанской девы героем Франции. А между тем, если взять общий масштаб и общий накал борьбы во время Второй мировой войны, то я позволю себе утверждать, что вклад Де Голля в разгром Гитлера не сильно превышает мой вклад в разведывательную деятельность Соединенных Штатов Америки. Попробую это доказать.

## VII

"Главнокомандующий французскими войсками в Сирии генерал Денц..." Генерал Денц? А где же Де Голль?

Английские, индийские и деголлевские войска - так их и называли, не французские, а деголлевские - продолжали наступление местного значения, захватив несколько сел. "Войс-

ка Де Голля встречают сильное сопротивление со стороны численно превосходящих французских войск." Оказывается, Франция воевала на обеих сторонах, причем в победное для Гитлера время с численным превосходством воевала на гитлеровской стороне. Так что участие Франции - деголлевцев - на антигитлеровской стороне было чисто символическим. Кто бы ни победил - Франция среди победителей.

Конечно, при, не дай Бог, гитлеровском выигрыше войны Пляс Этуаль - площадь Звезды - была переименована не в площадь генерала Де Голля, а в площадь генерала Денца, имя же Де Голля исчезло бы в архивном ничто, как ныне исчезло имя генерала Денца. У Брехта в "Галилее" сказано: "Несчастлива страна, которая нуждается в героях." Но можно сказать: трижды несчастлива страна, которая нуждается в фальшивых героях горячих и холодных войн.

Холодная война. Однако, не все из времен холодной войны надлежит бездумно, механически сдать в утиль. Даже сам ржавый железный занавес был, безусловно, досадным анахронизмом, механически разобранным и выброшенным за негодностью без всякой замены. Румынские взломщики, польские воры, украинские проститутки, не говоря уж о потомках Бени Крика в современной модификации, не с финским ножом в макинтоше, а с паучевой связью интернета в "макинтошах". Криминальная экзотика, мультикультура, особенно же экзотически цыганские хапуны-карманники, главным образом - неподсудные криминальному кодексу малолетки на резвых жеребьих ногах. Поди догони! Впрочем, одна бабушка так обиделась, что пустилась в погоню за своим любимым кошельком и установила рекорд по бегу для семидесятилетних женщин, но все равно не догнала. Так что, не все прошлое следует механически сдать в утильсырье, а кое-что даже надо вновь из архива извлечь для лучшего понимания современного мира.

Я, конечно, понимаю, что за подобные мысли и идеи, изложенные в трактате, ЦРУ и единый нуль не заплатит чеком через банк Рокфеллера, или вручит через доктора Фауста. Но я уж давно ЦРУ неподцензурен. Шпиона из меня не получилось. Шпион, как и прочий подобный народ, изначально должен слагаться из иного вещества - антиматерии что ли, в которой минусы и плюсы навыворот. Ученые ищут эту антимаерию в космосе, а ее и на Земле вдоволь. Не будь в сем мире антимаери, разве могли б существовать на Божьей земле сатанинские персоны? Пример подобного шпиона из антивещества - некий Хансфельд, эсэсовец, работающий в разведке ФРГ, якобы скрывший свое прошлое. Так ли скрыл? Высказался по немецкому телевидению: "Гитлер дал Германии все, что нужно: цель, единство, дисциплину." И при этом Хансфельд в камеру показывает паспорт ФРГ и пенсионную книжку КГБ, ибо долгие годы, работая в разведке ФРГ, был шпионом КГБ.

Вот такой собирательный образ: СС, разведка ФРГ, КГБ... А сколько таких Хансфельдов подобрало ЦРУ сразу после войны? Но золотые времена для Хансфельдов начались в золотые 50-тые, во время экономического чуда Эрхарда, но нацисты и демократы тогда перепутались так, что нельзя было понять, где чьи ноги и где чьи руки, и кто всему голова. После реформы Эрхарда каждый немец получил на руки по сорок новых марок - Крупп, Сименс, Шпрингер, Хансфельд, Мюллер -, и началась великая жратва.

В золотые 50-е немцы опять взяли реванш. Начался неутомимый бег по магазинам, по складам богатств, товаров, съестных припасов. Банды германских оккупантов вваливались в магазины с пустыми руками, а через полчаса выходили оттуда, набитые доверху. Следует лишь уточнить, что на сей раз немцы оккупировали собственные города. Ясно, что набег производится не только на ткани, обувь, белье, мебель, оптику, на тысячи вещей, которые люди приобретают, чтобы украсить жизнь и увеличить комфорт. Это был прежде всего набег на предметы первой необходимости, на продоволь-

ственные продукты. Изголодавшись за пять лет, считая от "штуде нуль", опять бросились в кондитерские, правда, не на Елисейских полях, а на Курфюрстендамм, и опять каждый брал пирог, рассчитанный на восемь человек, и проглатывал его тут же на месте.

Так винтообразно двигалось время по кругу и вперед. С тех пор как будто наелись, даже поделились с бедным родственником ГДР-овским, который едал не так обильно, но все ж лучше победителя, и победитель с тех пор стал побежденным, но не оружием, а чемоданами.

Время чемоданов. Теперь все просто: взял чемодан - езжай! Но куда? Вена, город на Дунае, больше не дает даже временного приюта. Фонды, и прежде не слишком щедрые, исчезли, а ехать надо, особенно евреям, братьям меньшим, которых постоянно били по голове морально, а иной раз даже физически. Так-то с дружбой народов. На Поварской, бывшей улице Воровского, который у Николая II перстень с большим голубым сапфиром украл, подтвердивши свою фамилию, так вот, на Поварской, за оградой, напоминающей теперь кладбищенскую, за которой Союз писателей похоронен, флигелек полуразвалившийся, у самой, кстати, ограды, где бедняков хоронят. Склеп этот обветшавший - "Дружба народов", редакция журнала. Войдите в нутро по расставленным ступенькам, оступишься - ногу вывихнешь. У Достоевского, "Сон смешного человека": "Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могилу, то собственно с могилой соединялось одно лишь ощущение: сырости и холода."

Точно также и с "Дружбой народов": полутьма, окна в землю вросли. Очень символично. И бедность. Дружба более не нужна: народы разбрелись и конфликтуют между собой. Адреса прежних домов творчества ССП - адреса нынешних международных конфликтов. Самостийна Ялта, антирусскаяязычно Рижское Взморье, Гагры... "А море в Гаграх, а Гагры в пальмах, кто побывал, тот не забудет никогда." Ныне пальмы и море приходится забыть. Зона грузино-абхазского конфликта. Поэтому многие литераторы, особенно с лицами еврейского происхождения, даже и те, кто прежде сживали в кладбищенской трапезной ССП, ныне помахали на прощание Родине автоматической ручкой. Другие стараются приспособиться к русскому варианту рыночной экономики. Есть редакции, которые потеснились и на свою жилплощадь квартирантов пустили, коечников: какое-нибудь акционерное общество "Лиссабонская клюква". С этого и живут. Но какая у "Дружбы народов" жилплощадь? Сами в тесноте и обиде. Да и какая она "дружба народов"!

Один студент медицины - молдаванин, практикант Кишиневской больницы, говорит своему другу, тоже молдаванину: "Сегодня у меня был удачный день. Привезли еврея - рак, привезли второго - рак, привезли третьего - опять рак." Вот какой способный ученик профессора медицины и доктора философии из Аушвица доктора доктора Менгеле. Вот какая "дружба народов". Конечно - крайность, но символическая.

Но это не из тех одухотворенных символов, которые нельзя выразить до конца словами, и которые мерцают сквозь натуру, а скорее мертвые аллегории, которые абсолютно мертвы. Впрочем, ныне это модно.

Но я человек немодный, несовременный. Иные говорят - нехороший человек и скандалист. Именно так. В том подражаю Достоевскому, любителю литературных скандалов.

- Нет, - говорит некий, - это неправильно, нужно умелое примирение.

- Как умелое?

- Ну, чтоб те, кто прежде были против, стали за.

Вот, например, Генис и Вайль. Вайль подошел ко мне в Москве можно сказать с протянутой рукой, а я эту руку не принял. "Неправильно, - говорят, - он бы что-то хорошее о

Вас написал". Знаю я эти примирения и хорошие писания. Раз уж так, не по моей, кстати, инициативе сложилось, то лучше с подобными персонами мне находиться во вражде, чем в дружбе. Ибо при "дружбе" они меня сразу в ранжир поставят.

Маленький пример: есть в Париже переводчица Лили Дени (Ростоцкая, русско-еврейская эмигрантка тридцатых годов), многолетний активный популяризатор и переводчик В. Аксенова. Она, кстати, и мое кое-что переводила. Но Аксенова - с упоением и всего. Как-то в Париже меня пригласили выступить с чтениями и она, к сожалению, оказалась вблизи, вызвалась меня представить - так большую часть времени говорила об Аксенове: "Метрополь" и т.д. И я на собственном выступлении был в ранжире. Так что все эти приглашения для меня - христианство второй свежести.

Если с Вайлем примирение, то почему не с Померанцем, написавшем в "Литературной газете" о моем романе "Псалом" - "Псалом антихристу" и с И. Роднянской, которая, оказывается, в "Новом мире" написала, что в "Псаломе" извращена Библия. Оба - и Г. Померанц и И. Роднянская, которую один критик назвал "давней Капо" - теперь, к тому же, принадлежат к интеллектуальной богадельне. Сегодня мне советуют с этим примириться, а завтра, пожалуй, посоветуют цветы на могилу М. Шатрова отнести, который немало потрудился, пытаюсь из зависти меня заживо похоронить. Сегодня - нет, сегодня, к сожалению, рано, как сказал Ленин, но завтра или послезавтра...

Николай Чуковский сказал о Борисе Степановиче Житкове - "умер от ненависти к Маршаку". Но здесь будет наоборот. Вся семейка Маршаков имеет нечто общее: С. Маршак отличается от М. Шатрова-Маршака лишь талантом, но не нравственностью. Оба нелитературными методами утверждали себя в литературе: устранением конкурентов, тех, кого, конечно, возможно. С. В. Михалкова, например, вряд ли.

Борис Степанович Житков при всей своей ненависти к старавшемуся помешать его литературе Самуилу Маршаку не впал, однако, в антисемитизм. О Булгакове, например, такого не скажешь. Среди ненавистников Булгакова действительно было немало евреев. Не все, конечно, такие, как Александр Безыменский или Виктор Шкловский. Но они ему были враждебны на интернационально-революционной основе, считая его белогвардейцем, кем он и был, а он их ненавидел на расовой основе, что, кстати, отмечалось в белоэмигрантской прессе: составлял "черные списки" и прочее. Это и в его художественности просматривалось, иногда его прорывало. В "Днях Турбиных" была сцена убийства еврея, намеченная, кстати, и в романе "Белая гвардия". Но в "Днях Турбиных" она приняла сатирически-физиологический облик, как бы смаковавший погром. Сцену пришлось убрать по требованию наркома, несмотря на протесты Булгакова.

Помельче духом оказался Михаил Афанасьевич Булгаков Бориса Степановича Житкова. Эта мелкость и в творчестве Булгакова заложена. За исключением личностной лирической "Белой гвардии" творчество Булгакова живо лишь при сатирическом, а впав в "серьез" тускнеет, сереет - как, например, в церковно-приходском христианстве Булгакова из "Мастера и Маргариты".

Б. С. Житкова можно было устранить: если не во всем, так во многом - хорошо знакомая мне информационная блокада. Такое не прощают - попытка заживо похоронить, как похоронили заживо всей совписовской похоронной командой замечательный роман Бориса Житкова "Виктор Вавич". Вот и меня пытаются заживо похоронить, и доходят до комического, если бы это не было так паскудненько: не паскудно, а именно паскудненько.

Не могу не вспомнить в связи с этим историю с первым Букером, когда на эту тридцатитысячную премию был выд-

винут также мой роман "Место". Потом уж Букеры пошли чередой, караваном, потом уж началась раздача верблюдов, точнее, слонов. Кто хочет получить список шестидесятилетнего истеблишмента, может заглянуть в список лауреатов премии Букера - в первые номера. Еще более полный список они получают среди лауреатов государственной премии, причем по годам: Войнович, Маканин, Окуджава и т.д. Мне, кстати, от одного московского журнала также предлагали в свое время лауреатом в кандидаты - то есть наоборот. Однако, опыт у меня уже был и я сказал: „Nein, danke!“

Недавно купил на рынке свежую лавровую ветвь – вот и награда. Тогда же – при первом Букере опыта еще не хватало, и я подумал: кто его знает, все-таки советское время миновало, теперь демократы всем вертят, честность с амвонов проповедуют, Битов в жюри. А Битов тогда по приезду несколько раз заходил, мы с ним даже перекусили и погуляли по городу. И англичанин звонит. Букер, как известно, от англичан, от какой-то овощной, кажется, фирмы. Вы, говорит, верный кандидат в лауреаты. Он, я думаю, "Место" не читал, но его кто-то так настроил. Через некоторое время опять англичанин звонит, спрашивает почему-то: "Битов к вам заходит?" А Битов, действительно, пропал и заходить перестал. Он, очевидно, уже тогда решение принял, еще не читая, да, думаю, и потом не читал. "Нет, говорю, не заходит". "Ах так, - говорит англичанин, почему-то упавшим голосом, - ну, всякое может произойти. Главное - участие" - то есть он имел в виду, что победит дружба.

Первым лауреатом премии Букера стал Марк Харитонов. Битов, как кстати оказалось, тоже был разочарован. Его потом спрашивали: "Отчего же не "Место"?" Я думаю, другие члены жюри в большинстве своем тоже "Место" не читали. Синявский покойный, безусловно, не читал. Дай Бог, свои книжки успеть прочесть. Про "зарубежную команду" - бандершу Профер из небезызвестного "Ардиса" и некоего литературоведа из Оксфорда - можно гарантировать – не читали. Да этим и читать мои книги бесполезно. О председателе жюри А. Латыниной не знаю, твердо не скажу. Но А. Латынина тоже приняла решение. Битов, когда его спрашивали, отвечал: "А я хотел, чтобы премию получил мой друг Маканин." Латынина же заявила: "Горенштейн и так все имеет. (Что я имею?) Поддержать надо было Марка Харитонova".

То есть благотворительность за мой счет. Почему же не благотворительствовать за счет Окуджавы или иного? Если бы я был наивный человек, то конечно сказал бы: "Но вы ведь члены литературного жюри! Для вас литературное качество должно быть единственным критерием, а не личная дружба или благотворительность. Если вы, конечно, честные. А вы оказывается нечестные! И вас не оправдывает, что все жюри, включая нобелевский комитет, действуют примерно так же". Если бы я был наивный человек, я бы так сказал.

Но в бытии борьба развернулась между Битовым и Латыниной. Латынина, очевидно, мобилизовала "заграницу", включая Синявского, и своею нечестностью победила нечестность Битова. Хотя Маканин, конечно, потом реванш взял (смотри список последующих лауреатов). Что же касается Марка Харитонova, то я кое-что написанное им читал, но, признаюсь, только в газете. Интервью с первым лауреатом премии Букера пошло косяком. И вот одно я читал. Оно меня кое-чем заинтересовало, именно кое-чем, а не в целом. В целом безликое, но притом чуть ли не с газетный столбец посвящено был вопросу о месте рождения Марка Харитонova. То есть его о том не спрашивали. Он сам поднял этот вопрос, настойчиво объясняя, почему он, столичный, тем не менее, родился в Житомире, о чем свидетельствует паспорт.

Произошло это случайно: мать, кажется, гостила у родственников. Или нет – какие могут быть в Житомире, в черте оседлости, пусть и бывшей, у столичных, таких, как

Л. Клейн и М. Харитонов, родственники! Это обо мне столичный Л. Клейн написал, что я из черты оседлости. Да, из черты, я не возражаю против черты, по крайней мере той, которая отделяет меня от Клейна и от некоторых других, пусть и с громкими именами. Но Марк Харитонов против черты, о которой свидетельствует его паспорт, возражает. Кажется, вообще это произошло случайно. В дороге чуть ли не. Приехали в город Житомир, носильщик пятнадцатый номер... Мать Харитонova была на сносях, ее вынесли прямо в житомирский роддом.

Так родился будущий первый лауреат первой премии Букера. Ларчик, то есть сундучок просто открывался, но я после такого ларчика, то есть сундучка, конечно уж читать Харитонova не стал. Для меня чтение это прежде всего общение не столько с текстом, сколько с личностью автора. Личность же мне после чтения газеты стала настолько понятна, что и романых разъяснений не надо. Однако, между тем, он – любимец интеллигенции в отличие от меня, судя по такой заботе о нем за мой счет: помогли родиться лауреатом, то есть проснуться знаменитым, торжественно разбудили. Мне же интеллигенция желала доброго сна, иные, думаю, даже вечного - чтобы не видно и не слышно было, чтобы не мешал я "нашим", то есть своим. Так же и книги мои, чтобы не мешали.

Когда в 1993 году в издательстве "Слово" был издан роман "Псалом", то издательству в так называемой хрущевской "стекляшке" - книжном магазине на Новом Арбате - было заявлено: "Две недели – и забирайте!". Еще бы! На книжные полки надо ведь поставить "своих": Окуджаву, Маканина, Войновича, того же Марка Харитонova и т. д. "Слово" эти слова правильно поняло – больше это издательство меня не публиковало. Войнович как-то при случае на вопрос читателей, почему в России не издают Горенштейна, ответил: "Горенштейна не покупают, потому и не издают, а меня покупают - потому и издают". Примерно так же ответил Евгений Попов (не сговариваясь, в другое время и в другом месте): "Нет читательской потребности!" При этом он великодушно добавил: "Горенштейн – хороший писатель". Это я – хороший писатель, в котором нет потребности. А Евгений Попов – хороший писатель, в котором есть потребность.

Борис Степанович Житков – хороший писатель, в котором не было, очевидно, потребности, по крайней мере, не было потребности в его романе. Валентин Катаев - хороший писатель, в котором была потребность. Тогда как в сравнении с недавно изданным романом Житкова "Виктор Вавич" "Белеет парус одинокий", написанный Катаевым, не более, чем приторный леденец. А тема романов общая и персонажи даже чем-то близки. Борис Степанович был, очевидно, добрее, чем я, но и он вряд ли обнялся бы со своими гробовщиками. Меня, повторяю, похоронить не удастся...

Вот А. Генис... Опять Генис, тот, который старался меня объединить то с Савеллой, то с Трифоновым (это уже рангом выше). Не то, что я за этой персоной слежу, но она появляется отовсюду, высовывается, как Петрушка, кувыркается в свободном эфире... В свободном эфире есть "Свобода", которую иной раз слушаю, как прежде читал "Правду", отыскивая, если не правду, то истину методом от противного. И недавно слышу, объявляют: сейчас А. Генис будет петь осанну Клинтону по случаю открытия его бюро в Гарлеме. И он запел весело и находчиво.

Помните - была на советском телевидении передача "КВН"? Клуб веселых и находчивых. Передача эта должна была первоначально называться "Игра в умы". Такая игра существовала чуть ли не в дореволюционное время и я слышал, будто бы на основании этой игры и "КВН" был создан. Игра в ум, однако, не означает быть умным. Часто – наоборот. Действительно, умный человек играть умом не умеет, тем более, весело и находчиво. Играть Сократа еще не означает быть Сократом. Но неискушенная публика, имя

которой легион, часто сыгранного Сократа воспринимает лучше, чем достоверного. Примеров тому много. Среди них - любимцы интеллигенции Генис, Вайль и примкнувший к ним Парамонов.

Но вернусь к пению Гениса осанну Клинтону. Пока "они" "играют в умных" по-мелкому, то еще, как говорится, хрен с ними. Тут же в большую политику начали играть. Политическую свою осанну Генис начал с предшественника Клинтона Картера - тоже "борца за мир", "правозащитника" и президента в отставке. Мол, уйдя в отставку, Картер стал всеобщим любимцем, посредником во многих переговорах, многих "мирных процессов". Я лично убежден, что кровь повсеместно льется, война пылает, терроризм зверствует именно из-за этих "мирных процессов" и этих "мирных посредников" типа Картера или Чемберлена. К чему привел "мирный процесс" с его посредниками, показал Мюнхен 1937 года, а в современном варианте это - ближневосточное Осло или балканский Дейтон. Всюду они потакают, если не впрямую поддерживают агрессора. В 30-е годы это был национал-социализм, ныне это - национал-исламизм.

Престарелый семидесяти семи лет отставной Картер недавно выставил свою физиономию из подворотни и подал голос против нынешней администрации Белого дома. Для него, Картера, она недостаточно антиизраильская. Я мол, бахвалится старик Картер, - заставил Израиль отдать Синай и разрушить города, построенные на Синае. И наступил, мол, мир. Какой мир наступил, известно. Египет, получив политый кровью Синай, полон ненависти к Израильскому государству и ждет только удобного случая, чтобы эту ненависть реализовать. Ждет, но при этом страшится опять весь Синай потерять, уже окончательно. И американскую помощь потерять. Это сейчас "западники" египетские страшатся. А если придут к власти исламисты? Если новый Ирак появится под боком у Израиля? Вот такой мир сколотил Картер. И конечно Менахем Бегин при всем своем терроризме и национализме показал себя дурным политиком. Очевидно, сам это поняв, добровольно удалился, правда слишком поздно. Так вот Картер требует теперь от Дубльва Буша, чтоб тот заставил Израиль ликвидировать поселения на западном берегу Иордана, то есть в Иудее и Самарии, и тогда мол наступит мир.

Если географически Синай не врезается в глубь израильской территории, то достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, к чему приведет выход жаждущих еврейской крови арабских террористов на зеленую линию. Неужели их остановят бумажки и подписи? Только слабоумные коминтерновцы и их потомки в разных вариантах того не понимают или делают вид, что не понимают. Такие играющие в умы миролюбцы, не только в Израиле, но и в диаспоре восхваляют посредников, "мирные процессы", "борцов за мир" типа Картера. Кстати напомним, брат Картера получил от Каддафи взятку не без ведома самого Картера. Может, брат с братом по-братски поделился? Именно Картер под влиянием своего советника польского американца профессора-шпиона Бжезинского, давнего врага Израиля и России посоветовал Шаху Ирака, читай - заставить, уйти. Он, видите ли, нарушает права человека. Кто вместо шаха пришел, известно, и как в Ираке соблюдают права тоже. Свое понятие о "правах" муллы стараются распространить по миру с помощью терроризма. Что же касается Картера, то они его по-своему поблагодарили: унизили Америку, захватив в заложники американское посольство. Картер бездарно организовал попытку его освободить, лишней раз продемонстрировав свои способности. За это и не только за это его американский избиратель уволил - на второй срок не избрал.

К сожалению, Клинтон действовал более умело (в смысле обмана избирателей), более популистски - ну и жена помогла! "Он дал им жизнь" - как сказала одна дама, тоже играющая в умы, только, в отличие от Гениса в домашних усло-

виях. Он дал им жизнь. Кому? Американцам. Как говорится, bestiam везет. В клинтоновский период вначале был экономический подъем, к которому Клинтон никакого отношения не имеет, по крайней мере, позитивного. Но негативное отношение имеет. Со времен древнего Египта известно, что за тучными коровами и годами приходят худые коровы и годы. Однако Клинтон в отличие от Иосифа Прекрасного запасов не делал, то есть налоги не снижал, а наоборот популистски раздавал не им накопленное непроизводительным слоям населения. Создавал на эти деньги фальшивые ненужные рабочие места, создавал, как это делалось в Советском Союзе, скрытую безработицу. Среднее сословие очень задолжало, запуталось в кредитах, но ни одной настоящей реформы, как он рекламировал, проведено не было, в частности реформы здравоохранения. И вот еще при Клинтоне, хотя это и не афишировалось, на смену тучных коров начали приходиться худые.

К тому же надо учесть, что в период Клинтона отпала необходимость противостоять Советскому Союзу, не реформированному, а разваленному неразумными действиями Горбачева и коррумпированного Ельцина. Не было того бремени противостояния Востоку, которое лежало на плечах предыдущих президентов и, думаю, будет лежать на плечах последующих. Как же воспользовался Клинтон благоприятными обстоятельствами?

После избрания на второй срок, став бесконтрольным, он организовал агрессию НАТО на Балканах, разрушил беззащитную, оставленную на произвол судьбы коррумпированным Ельциным, Югославию. Создал, вооружил и обучил исламскую УЧК - албанскую террористическую армию. Как Рейган и его военный министр Вайнбергер, кстати махровый антисемит и враг Израиля, вооружили и обучили талибов и в том числе международного террориста №1 Бин Ладена, который их отблагодарил взрывами домов в Нью-Йорке и американских посольств в Африке, и еще благодарить будет. Не отблагодарит ли в той же манере УЧК Америку и НАТОвцев, которые к тому же были при агрессии в Югославии авиацией террористов. Все это сопровождалось ложью рептильной западной прессы о якобы сербском насилии над албанцами, как они лгали и лгут по поводу насилия Израиля над бедными палестинцами. Хотя и в том и в другом случае национал-исламизм играет роль агрессора. Все это подтверждает неделимость морали личной и общественной. В отличие от попыток иных интеллектуалов мораль поделить: тот, кто лгал на Библии о своих сексуальных аферах, размахивая своим лживым пальцем, тем же пальцем направил балканскую агрессию и даже не в интересах НАТО, а в интересах национал-исламизма.

Тем же пальцем он пытался разрезать Иерусалим: всем по кусочку, как будто это шоколадный торт его бабушки, если только у него была бабушка. А не получил ли Клинтон карманные суммы, как получил Картер? Политика его в отношении Израиля наводит на подобные мысли. Говорят, он хотел мира. Может быть. Чемберлен и Де Ладье в Мюнхене тоже хотели мира. Утопист? Может быть. Клинтон сочтает в своем характере утописта с подлесом. Это сочетание, к сожалению, нередкое.

И вот о Клинтоне поет осанну Генис, намекая на его будущую посредническую деятельность между Палестиной и израильянами. Будто бы такие намеки были уже в "Нью-Йорк Таймс". Не знаю, как намекает играющий в умы КВНщик из "Нью-Йорк Таймс", но я бы не советовал Клинтону показываться в Иерусалиме. Как сказал мэр Иерусалима господин Ольмар, Клинтон - первый американский президент, который открыто заявил о необходимости отдать Иерусалим арабам. Так же заявил другой посредник - шведский дипломат граф Бернадот в 1948 году, имевший до того контакты с Гимлером. Известно также, чем Бернадот кончил - пулей в голову.

Также не советую появляться Клинтону на Балканах по-средничать. Еще найдется новый Гаврила Принцип. Так что Клинтон пусть сидит в Гарлеме, переехав из Белого дома в черный дом. Может быть, Генис его там посетит, и потом опишет. Генис и Вайль уже описывали, как они ночью посещали Гарлем. Это оказалось, как выяснилось, ложью, но зато было написано весело и находчиво. Да, игра в умы. Я бывал в Гарлеме днем. Не советую ходить туда ночью – если вы только не негр, торгующий наркотиками, и не Клинтон, который по слухам в молодости в период своего дезертирства от службы во Вьетнаме тоже яхшался с наркотиками. Интересно, напишет ли он об этом в своих мемуарах, за которые ему будто бы обещано десять миллионов долларов, сумма превышающая гонорар Папы Римского за его мемуары. Интересно, что он там напишет, Клинтон. Сомневаюсь, что исповедуется, судя по клинтоновской приторной религиозности в Бога он не верит.

Но вернусь к эмиграции. Собственно, прежней родины давно уж нет, она умерла насильственной смертью. Та, многовековая с ее шолом-алейхемовским печальным самовысказыванием, с анекдотами про ее обитателей и обитатели-анекдотами. И тем не менее, с теплым, как парное козье молоко чувством к родным камням и родным бедам. И уж не немцам упрекать тех, кто эту погибшую родину оставил.

Я слышал, что иные немецкие школьники под воздействием домашних родительских толков терроризируют своих еврейских одноклассников: зачем приехали? Немецкие деточки! Три тысячи немецких зондеркоманд по пятьдесят – шестьдесят ваших дедушек и прадедушек в каждой за какие-нибудь три месяца 1941 года не только убили полтора миллиона евреев Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, но и вытоптали окончательно многовековую почву еврейского проживания, а также показали местным антисемитам "низших рас" с их горячей, неопрятной, слюнявой крикливостью, как должно выглядеть чистоплотное, научно-холодное юдофобство. Так что жизнь стала, по сути, почти невозможна, и немецкое демократическое правительство вместо прежней разрушенной родины решило предоставить желающим евреям немецкий эрзац. А эрзац есть эрзац, даже и законный.

Штемпель, зигель, надпись, подпись – все по закону. Прежде ползаконно ехали. Ехали через Вену. И жизнь была ползаконна на черной венской лестнице. Страх и надежда, особенно у натур романтических или мнительных. А страх и надежда – это уже чувства религиозные.

Впрочем, в немецкой религиозной натуре пробуждалось не столько чувство, сколько мысль, то есть наука – основа немецкой религиозности. То, что антисемитизм входит научным компонентом в эту религию удивительным научным феноменом не является. Но есть и научные феномены. О них речь. В частности, о научном синдроме, который я бы назвал "гюнтерграсс-синдромом"

## VIII

### *Экскурс или краткая научная монография о глухонемых и глухослепых в Германии*

Монография, как известно, – научное произведение, исследующее жизнь и деятельность какого-либо ученого, писателя или всесторонне, с возможной полной разработкой какой-либо отдельный вопрос или тему.

На подобную всесторонность я в своей краткой научной монографии не претендую. И тем не менее, все-таки попытаюсь дать пусть не скрупулезный, но все-таки научный набросок проблемы глухонемой и глухослепых в Германии.

Сначала о страдающих глухонемой, как о более изученной категории. Оказывается, для разных стран и разных наций статистика глухонемой различна. Я, правда, распо-

лагаю несколько устаревшими данными, но меня интересует не точность цифр, а порядок цифр и соотношение по разным национальным группам.

Так, в Германии на десять тысяч жителей приходится 17 глухонемых, тогда как в России – 9,9, в Италии – 9,7, в Англии – 5,27, в Голландии – 4,4 и т.д. Почему так происходит, какие тут таинственные сочетания и хитросплетения, этнографии, генетики, медицины, биологии, биохимии плюс влияния климата, фауны, флоры, еще не знаю чего – за пределами моей темы.

Меня интересуют только статистические факты, указывающие, что по глухонемым Германия лидирует.

В науке еще много белых пятен и невозможно логично понять, почему, например, в России на начало века по статистике наибольший процент глухонемых на душу населения был среди латышей и белорусов, а наименьший – среди евреев.

Слово "статистика" недаром перекликается со словом "статика" – состояние равновесия, отсутствие движения, неподвижность, или со словом "статист" т.е. актер, исполняющий второстепенные роли без слов. Действительно, статистику можно обозначить как исполняющую в науке вспомогательную, второстепенную роль без слов. Она ничего не объясняет, ни на что не реагирует, она просто наглядно изображает без слов подчас то, что другие основные разговорчивые науки объяснить не могут. Образно говоря, статистику можно назвать глухонемой наукой. И поэтому статистика наиболее часто фальсифицируется, злобно истолковывается, подменяется с корыстной целью.

Черчилль сказал: "Я верю только той статистике, которую сам фальсифицировал". Но тогда возникает вопрос: с какой целью? Потому что в мошенничестве тоже должна быть логика. Я еще мог бы понять, если бы какой-нибудь германофоб составил статистику, по которой Германия лидировала бы по количеству идиотов на душу населения. Или какой-нибудь русофоб составил статистику, по которой Россия лидировала бы по количеству воров на душу населения.

А.П.Чехов в свое время писал, что он не любит немцев, потому что, по статистике, на сто немцев – 99 идиотов и один гений. Но это, конечно же, не фальсификация, а шутка Антона Павловича. Может быть, немного подсолонная некоторой временной раздражительностью по какому-то конкретному поводу, связанному с немцами. Кстати, жена Антона Павловича была немка, а иная жена может до белого каления довести, не такое скажешь. Конечно, на одних жен сваливать нельзя, есть и другие поводы для раздражения.

Писатель Владимир Набоков, кстати, счастливо женатый и довольно долго живший в Берлине, да к тому же еще по соседству со мной (всякий раз по соседству с моими берлинскими адресами, разумеется, по соседству в пространстве, а не во времени), так вот, этот В. Набоков, несколько раздраженный действиями Германии 30-40 х годов, заявил, что надо эту самую Германию уничтожить до последней пивной кружки, до последней незабудки. Такие заявления людей, чем-то немцами раздраженных, оправдать нельзя, но понять можно. Такое раздражение, в шутку ли, всерьез ли, приходит и уходит.

Как сказал И. В. Сталин: "Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается". Однако логически непонятно, кому придет в голову фальшивить статистику, по которой этот самый немецкий народ, который остается, лидирует по количеству глухонемых на душу населения. Впрочем, по глухослепым, кажется, и статистики нет. Однако мне кажется, и я даже берусь утверждать, что по количеству глухослепых на душу населения Германия лидирует с еще большим отрывом. Слишком много фактов глухослепых, особенно по определенным явлениям. Можно привести многочисленные примеры, но для наглядности я возьму личность заметную, возвышающуюся, видимую издалека, не в смысле роста, а в

смысле авторитета всегерманского, а теперь, после Нобелевской награды по литературе за 1999 г., еще и всеевропейского, пожинаящего плоды и лавры на Франкфуртской книжной ярмарке в окружении восторженных поклонников. Речь, конечно, идет о Гюнтере Грассе.

Дело, разумеется, не во Франкфуртской ярмарке, которую в этом году можно было назвать ярмаркой тщеславия, заимствовав титул у Теккерея. Почему-то если не все, то очень многие любят книжки писать, хоть признаюсь по собственному многолетнему опыту, занятие довольно неприятное, чтоб не сказать противное. Иногда думаешь, кто б за меня мой роман написал. А порой даже хочется дать объявление в интернет: "Ищу человека, который бы написал за меня роман". Не даю только потому, что сомневаюсь, найдется ли такой человек. Но Дюма-отец таких людей находил... Впрочем, какие книжки и кто пишет. Если итальянская бронетанкостая красотища Верона Фельдбуш книжку про шпинат пишет, этот шпинат может и приятен в сочетании с копченым мясом, картофелем, хорошеньким личиком и соблазняющим бюстом. Кстати, этим же бюстом Верона рекламирует и нижнее женское белье, да жаль не на Франкфуртской книжной ярмарке, которая при нынешней ее (ярмарки) состоянии вполне такой рекламе бы соответствовала. Ибо иные политики рекламируют на ярмарке грязное белье, свое и чужое. И в таком политическом ниглиже не только не стесняются предстать перед публикой, а даже, наоборот, имеют успех. В большинстве своем эти политики – ветераны недавней югославской войны. И как на всякой войне, есть среди них герои – герр бундесканцлер, герр министр обороны... Как на всякой войне, есть среди них даже раненые. Герр Фишер, прошедший славный путь от хаусбетцера до министра иностранных дел, ранен в ухо пакетом с красной краской каким-то "зеленым" партизаном. Есть среди них, как и положено на всякой войне, дезертиры. Герр экс-финансминистр и экс-партай форзитцендер. Герр "экс" не только с югославского фронта дезертировал, но и с внутреннего, дав тем самым политическому противнику окружить и разгромить социал-демократию во многих землях и городах. Правда, у герра "экс" свое мнение о причинах поражения социал-демократии. Во-первых, война на два фронта – югославский и внутренний. Во-вторых..., в-десятых... Причем излагает с улыбкой бравого солдата Швейка. Эту улыбку бравого солдата Швейка я и у другого "экса" заметил – экс-бундесканцлера Коля. Но это уже партия из другой оперы. Или опера из другой партии. Хотя нынешняя Германия все более и более напоминает страну с однопартийной системой. CDU от SPD трудно отличить... Отчасти эта тема в книге экс-партай форзитцендера затронута в книге про свое левое сердце. Но не потому успех на Франкфуртской книжной ярмарке у левого сердца, как у бюста Вероны Фельдбуш. Успех от того, что публика жаждет скандалов всякого рода. Сексуальных, политических, обыкновенных, какие случаются в трамваях или кнайпах. Однако у авторов, бывших друзей по партии, как раз наоборот – обозлились на скандального дезертира так, что создается впечатление: если б могли, то повесили бы его на основании устаревшего приказа 1944 года. Причем дезертирами считались тогда не только покинувшие фронт, но и вывесившие белый флаг гражданские лица. Дезертиров, в том числе и гражданских, вешали на деревьях, на бензопилках, на телеграфных столбах, на фонарях. А гитлерюноши, даже дети из гитлер-югенда помогали, или во всяком случае, вокруг весело бегали, повешенных дезертиров за ноги хватили и раскачивались, как на качелях. Я о том знаю из воспоминаний очевидцев. Может, о том слышал и герр Грасс или даже видал. О большем говорить не буду. Во всяком случае, на нынешнего дезертира, бывшего своего приятеля, герр Грасс набросился яростно, со всем своим нобелевским авторитетом. Но о нынешнем герре Грассе я говорить не буду. Меня нынешний нобелевский лауреат не ин-

тересует. Признаюсь, поклонником Грасса я не был ранее, также и теперь. И если б случайно в этом году оказался на книжной ярмарке, то скорее пошел бы попробовать шпинат, гарнированный хорошенькой фигурой Вероны Фельдбуш, чем созерцать сутулую фигуру герра Грасса, чадающего своей трубкой. Нет, меня если интересует, то иной Грасс – молодой, розовощекий Гюнтер из Данцинга. Радиостанция "Свобода", присоединившая свой голос к хору поздравлений, этот период проболтала стыдливой скороговоркой: в 1945 году, когда кончилась война, Гюнтеру Грассу было 18 лет. И все, господа свободолюбцы?

В 1941 году, когда меня в детском возрасте чуть не убили на Украине, молодой, почти что вертеровского возраста Гюнтер Грасс в Данцинге переживал пору радостного юного цветения. Это радостное цветение во имя фюрера и фатерланда продолжалось в 42-м, и в 43-м, и в 44-м, когда фюрер во главе фатерланда совершал массовые убийства. И молодой Гюнтер испытывал все что угодно, только не страдания. Был он одним из многочисленных фюреров гитлер-югенда, что соответствует по нашим меркам секретарю райкома комсомола. Но в конце концов, был, так был. Согласно поговорке "кто в те годы нацистом не был, тот своей бабушке не внук", или согласно другой поговорке "кто старое помянет – тому глаз вон". Вот именно – глаз вон. Оказывается, тогдашний молодой Гюнтер ничего не видел, а заодно и не слышал о делах режима, которому радостно служил.

И гитлеровский, и сталинский режим, безусловно, преступны. Но методы совершаемых преступлений были разные. Если сталинский режим совершал свои преступления, вывозя жертвы в ГУЛАГи под аккомпанемент слащавой человеколюбивой риторики, то Гитлер брызгал слюной у всех на виду и на слуху. Хрустальная ночь совершалась у всех на глазах. Газеты были переполнены не интернациональным овечьим бляением, а расистским волчьим воем. Евреев гнали и били прямо на улице. Данцингских и прочих. Над советскими пленными издевались и морили голодом публично. Фабрики смерти дымили не так уж далеко – тут же, в Польше. Что сам Гюнтер, активный фюрер гитлер-югенда в то время делал, не знаю и говорить об этом не буду. О том Гюнтер знает. Пусть говорит об этом на досуге со своей совестью, если у него есть желание. Во всяком случае, говорить Гюнтер любит и глухонемым его не назовешь. Я сам слышал, как он говорил, что ничего не видел и ничего не слышал, а рассказы о гитлеровских зверствах считал вражеской пропагандой. Значит, все-таки что-то слышал, но считал пропагандой. Может, даже видел, как евреев гнали через Данцинг, или как с пленными по-скотски обращались, но тоже считал это вражеской инсценировкой попросту. Поверил же, по его словам, лишь после того, как его начальник, шеф гитлер-югенда фон Ширах признался и подтвердил это в Нюрнберге. Вот такой феномен глухослепоты, в Германии распространенный. Фельдмаршал Манштейн, который лично приказал усилить береговую охрану Крыма, чтоб евреи не сбежали на лодках, на том же Нюрнбергском процессе на прямой вопрос, знал ли он о преступлениях, о геноциде, ответил: "Ничего не видел, ничего не слышал". Но если поверить фельдмаршалу Манштейну, то надо поверить и Гюнтеру Грассу, ибо это общий феномен.

А теперь возьмем другой пример немецкой глухослепоты, чтобы подтвердить, что случаи не единичны. Возьмем пример из другого конца, точнее, из другого района, а именно – из восточного Берлина, район Вайсензее, по-русски – Белое озеро. Красивая местность, парк с незабудками и бочковым пивом в кружках, озеро с пляжем. Но есть в этом районе и другой объект, который как раз подходит для моего научного исследования – еврейское кладбище, к слову сказать, самое большое в Европе. Любят туда ходить гулять некие ночные посетители. Думаю, ночные, но, возможно при исследуемой мной глухослепоте, ходят даже днем с ломиками

и взрывчаткой. Кстати, во времена "диктатуры пролетариата" не ходили. И при Гитлере, вот что интересно, тоже не ходили. Тех евреев, которые уже в земле лежат, оставляли в покое. И в Берлине еврейское кладбище сохранилось, и в Праге, и даже в Бердичеве. Почему так, надо у Гитлера спросить. Но теперь, похоже, Гитлер другие указания дает из адского котла, из своей проклятой могилы. И согласно тем указаниям юные комрады ходят. Недавно в очередной раз пришли, разрушили 104 могильных плиты. Опыта у меня по этой части нет. Я никогда ни одной могильной плиты не разрушил, но думаю, час-полтора-два для такой работы необходимы. Работа нелегкая, даже при наличии опыта. И тихо это сделать нельзя. Как же тихо ломом по каменной плите ударишь, чтобы ее расколоть? Иной же раз даже взрывают, как могилу бывшего председателя еврейской общины Гайнца Галинского. И не один раз. Как же тихо взорвешь? Но власти, полиция и прочие немецкие шерлоки холмсы никого не задержали, не осудили и даже в угол не поставили по школьному обычаю, хоть длится это ни ночь, ни две, а пожалуй, тысяча и одна ночь. Я упомянул школьное наказание, ибо думаю, возможно, и школьники, гимназисты новые приказы фюрера исполняют. Во всяком случае, молодежь исполняет. Юноши в вертеровском возрасте. Старики комрады, как бы не сатанели от злости против живых и мертвых, на кладбище ночью не пойдут: подагра, ревматизм, боевые раны ноют. А комрады внучата ходят. Тем более – дело веселое и безопасное. Ни увидеть, ни услышать этих кладбищенских погромщиков власти не могут, хоть кладбищенские бандиты оставляют даже визитные карточки. Тут вам "молотов-коктейли", к счастью не взорвавшиеся, то в другом месте вымажут черной краской памятник погибшим в концлагерях. И нельзя сказать, что полиция совсем уж глуха и слепа. Например, повадились на немецкие кладбища некрофилы. Трупы юношей, умерших насильственной смертью, выкапывают и похищают. Конечно, не в массовом порядке, конечно, не постоянно, в каком-то провинциальном городке появились, через некоторое время – в каком-то другом городке. Но какой резонанс! Ищут, объявляют вознаграждение. Думаю, найдут. А в случае с кладбищенскими бандитами, систематически, массово разрушающими еврейские могилы, объявили и захитили. Вдругой раз объявят, когда снова разрушат. Глухослепота, но не постоянная, и по национальному признаку. Я бы это назвал "гюнтерграсс синдром". Если глухонмота как-то связана с национальным, и Германия по глухонемым лидирует на душу населения, то глухослепота, возможно, тоже как-то с национальным связана. Явление это, конечно, не физиологическое, а психологическое, которое можно лечить наложением рук. Как Иисус Христос лечил. Он накладывал руки на головы, а иным в глаза плевал, и прозревали – Божья роса. Плевать в глаза по человеку-божьи – дело, конечно, простым смертным не доступное, но как увидишь шнауцы-хари комрадов, то хочется по человечески в них плюнуть. Недавно по телевизору показывали шведский филиал первородного немецкого гитлеризма. Хари, надо сказать... Последняя свинья выставить свою морду рядом постесняется. Но явно страдающая "гюнтерграсс синдромом" шведская дама-юристка эхом повторяет много раз до нее повторенный тезис: "нельзя их запрещать, чтобы они не сделались святыми". В чьих глазах святыми? Тогда и Гитлера нельзя было запрещать, сиречь уничтожать, чтоб не стал святым? Для тех, кто в стране первородного гитлеризма и ее филиала выполняет гитлеровские приказы из ада, он действительно стал святым. Но что из этого следует?..

Боже мой, как я не люблю этих дамочек, среди которых, впрочем, попадаются и мужчины. Им бы конфитюры варить и прочие сладости. Ибо работа юриста требует все-таки остроты, соли, перца. Впрочем, как и работа педагога. Подобные дамочки, юристки и педагоги, специалист-

ки по варке конфитюра и глухослепая полиция – вот причины веселого благополучия молодых кладбищенских бандитов. Может быть, в раннем школьном возрасте иных из них можно было вылечить евангельскими истинами о том, что нельзя тревожить мертвых до второго пришествия. Или если это не помогает, то наложением рук, но не по-христиански на голову, а старым родительским способом – на задницу. С внушением при том: нельзя тревожить мертвых, ибо среди мертвых уж точно нет ни элина, ни иудея. Однако не сказывается и здесь синдром глухослепоты? Каковы они, нынешние родительские поучения?

Интересную историю услышал я недавно. Историю об истории, о преподавании истории в одной из элитарных гимназий с уклоном в изучении иностранных языков. Кстати, расположенной совсем не далеко от Вайсензее. Один преподаватель истории, кстати, еврей по фамилии Розенбаум, заявил гимназистам, что не будет преподавать период с 1933 по 1945 годы. "У меня отец погиб, поэтому мне об этом преподавать тяжело". На первый взгляд, можно подумать: дурак-индивидуалист с заячьей душой. Этот тип, к сожалению, среди определенного сорта евреев нередок. Такой трусливый еврей обычно считается "хорошим". "И глаза по-еврейски добрые", – обычно говорят о таких. Так вот этот очередной "хороший еврей с добрыми глазами", на первый взгляд, индивидуально действовал, но если внимательно приглядеться и проследить дальнейшую историю с историей в этой элитарной гимназии, то начинает возникать подозрение: действовал в соответствии с пожеланиями дирекции, которая нашла удобный способ от определенного периода немецкой истории просто избавиться, превратить его в "штунды нуль". Вскоре и от самого Розенбаума избавились, как сделавшего свое дело. Явился преподаватель ариец. Явился и сказал: "Если он (т.е. Розенбаум) не захотел преподавать период с 1933 по 1945, то я уж подавно". Отчего, не прокомментировал. Наверное, у него тоже отец погиб. И дирекция гимназии его активно поддержала. Но поскольку нынешняя Германия – страна демократическая, и все вокруг – демократы, а иные даже – национал-демократы (НПД), то решили вынести этот вопрос на родительское собрание: преподавать период с 1933 по 1945 годы, или нет. Родители дружно, демократично проголосовали – "нет". Почти абсолютным большинством. Потому что нашлось и меньшинство в количестве одного человека. Завязалась дискуссия. "Нам это уже надоело, – говорит большинство. – Все время одно и то же. Тем более, это уже прошлое". Бисмарк – не прошлое и Фридрих Барбаросса – тоже. Но поскольку меньшинство настаивало, то дирекция придумала компромисс – решить демократическим путем: или преподавать период с 1933 по 1945 гг. в течение одного часа, но тогда уступить тему "Европейский союз", или сэкономить этот час для Европейского союза. Причем решить в письменном виде, для чего разослать всем родителям письма с вопросом: "да" или "нет". Ненужное вычеркнуть. Не знаю, чем кончилось, но думаю что ненужным оказался период с 33-го по 45-й.

Я так подробно излагаю эту историю с историей в этой элитарной гимназии близ Вайсензее, ибо у меня есть сильное внутреннее чувство: те юноши с ломиками и "молотов-коктейлями" учили историю в упомянутой гимназии. Или ей подобной, поскольку не думаю, что эта элитарная гимназия есть одинокое исключение. А это соответствует моей теме глухослепоты. И мелькает даже мысль, не подкрепить ли это мое теоретическое исследование опытным экспериментом. Взять ломик, несколько бутылок "молотов-коктейля" и пойти ночью на немецкое кладбище. Как я уже писал, опыта у меня, подобного молодым гробокопателям, нет. Но все-таки попробую разбить одну-две немецкие могильные плиты, расколоть и опрокинуть несколько немецких надгробий и бросить "молотов-коктейль" в какой-нибудь немецкий склеп. Останутся глухослепы немецкие полицейские – значит, глухослепота физиологическая, а если прибегут тотчас на шум с криком "хэнде хох", то зна-

чит - глухослепота психологическая, и "гюнтерграсс-синдром" может быть занесен в эпонимический словарь психиатрических терминов. Ибо если существует в словаре психиатрических терминов Трутмана синдром лагерей уничтожения, который наблюдается у бывших узников нацистских концлагерей и который выражается в психическом расстройстве, депрессивных реакциях, состоянии страха и оживающих воспоминаниях прошлого, то почему бы не быть в словаре "гюнтерграсс-синдром" глухослепоты?

Поймите меня правильно, я не упрекаю герра Грасса за то, что во времена гитлеризма он не проявил антигитлеровского героизма, как, например, Рихард Зорге, практически в нынешней Германии если не проклятый, то полупроклятый. Или, по крайней мере, забытый и уж подавно в школьных программах не значащийся. Упрекать за это Гюнтера Грасса – все равно, что упрекать фрау Верону Фельдбуш за то, что она не Жорж Санд. И не написала психологический роман "Шпинат", который удостоен был бы Нобелевской премии. Впрочем, за Жорж Санд она себя и не выдает. Я вообще не касаюсь ни творчества фрау Фельдбуш, которая, кстати, заявила, что с детства мечтала стать писательницей, ни герра Грасса. Дело вкуса. Одни любят шпинат с яйцом, а другие – свиную голяшку с капустой. Конечно, в молодые годы быть фривольной телесансеткой – занятие более невинное, чем в те же годы быть фюрером гитлерюгенда. Но время миновало, и меняется человек. Разумеется, он меняется, полностью рассчитавшись с неприятным прошлым. Герр Грасс это и делает. Создал фонд помощи цыганам, куда отдал нобелевские средства. Занятие благое. Все пострадавшие должны быть компенсированы материально, а еще важнее – психологически. Если эти "все" не исполняются под определенным косым углом. Мне как-то пришлось несколько лет назад слышать такую "косую" дискуссию. Парочка личностей, один, кстати, лысый, на Эйхмана очень похож, начали высказываться. "Арме юден, - иронично улыбаясь, сказал этот лысоватый. - Все компенсации – им. А цыгане? А гомосексуалисты?" О гомосексуалистах – особый разговор. Много гомосексуалистов было в СА. Были и в СС, несмотря на запрет. Гомосексуализм имел традиции в старой прусской армии. Преследование гомосексуалистов гитлеровскими моралистами носило перевоспитательный характер. Поэтому сравнивать перевоспитательное преследование гомосексуалистов со стремлением уничтожить биологические корни еврейства – значит проявлять моральную глухослепоту. Цыган действительно преследовали по этническому признаку. Но преследование это, слава Богу, не носило такого тотального характера. Не было столь беспощадно. Приведу немецкую статистику по Освенциму.

В Освенциме погибло 22 тыс. поляков, 20 тыс. цыган и 1 млн. 300 тыс. евреев. Слава Богу, цыганского Эйхмана не было. Разумеется не из-за гуманности. Просто у нацистов на все рук не хватало. На Украине большинство цыган пережило немецкую оккупацию. Но писатель Василий Гроссман сообщает, что пройдя от Харькова до Киева не встретил ни одного живого еврея. Конечно, человеческая жизнь не подчиняется статистике, любая жертва должна быть учтена. Однако уничтожение еврейства было для Гитлера основой его идеологии, его политики, да, пожалуй, одной из основ его военного плана Барбаросса. Во всяком случае, на немецких оперативных картах такие города, как Бердичев обозначались как стратегически важные объекты. А стратегическим в нем было только высокий процент проживающих там евреев. "Как бы война ни кончилась, в Европе не останется ни одного еврея", - сказал Гитлер. И попытки эту "особенность" затушевать, скрыть с помощью "косых" дискуссий о "справедливости для всех жертв" - есть проявление все той же умышленной глухослепоты, чтобы не сказать худшего. Конечно, о концлагерях говорится и пишется повсюду в немецких средствах массовой информации. Но нередко сопро-

вождается такая тема еще одним "косым" приложением – "второй раз такое не должно повториться". Некий нечитый подтекст ощущается мне в подобном "второй раз". Что значит "второй раз"? Разве первого раза не достаточно на будущие сотни лет немецкой истории, или это намек на то, что кто-то хотел бы еще второй раз? Какая-то смесь идиотизма с подлостью в этом "второй раз". Элитарная гимназия близ Вайсензее решила в школьной программе вообще опустить эту проблему "первый раз", "второй раз". Однако школьная программа 1933-1945 гг. сама зияет дырами, нулями. И у определенного сорта молодых людей может создаться впечатление, что страдали "арме юден", "арме ферфлюхте юден", а нам, "дойче", "ох как тогда было хорошо". Может, потому пловчиха Франси (Франциска ван Альмзик) в одном из интервью сообщила, что ее любимый герой и прообраз - Гитлер. Сказала, так сказала. Молодая избалованная дура может что угодно сказать. Тем более, я думаю, училась она в одной из элитарных гимназий. Но как герр редактор пропустил. Или тоже "в косую" хотел, чтобы о фюрере было сказано не только дурное, тем более популярными устами. Потому, я думаю, помимо концлагерей и прочих гитлеровских зверств неплохо было бы включить в программу 1933-1945 гг. раздел о подготовке атомной бомбардировки Германии. Бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, были предназначены немецким городам, кажется, Гамбургу и Франкфурту-на-Майне. И сбросили бы, если бы война не кончилась весной 45-го, а затянулась бы до осени 45-го. Разумеется, немецкие города были и без атомных бомб разрушены. Много пишут об успешном восстановлении Германии. Восстановлении городов. Но как они восстановлены? В значительной части – это стандартные города-близнецы. Порой не поймешь, где ты, в Эссене или Дюссельдорфе. А то и в Стамбуле. Это тоже результат гитлеровской перетряски Европы, когда на развалинах пришлось строить другую Европу. Кому это не нравится, может обращаться с претензиями к черной тени Гитлера. Я уж не говорю об утраченных старых немецких землях, старых немецких городах, где жил Эммануэль Кант, и где цвела старая немецкая цивилизация и культура. Этим Германия обязана тоже австрийскому бродяге Гитлеру. Мутант с одним яйцом. И нечего перекладывать вину с беснующей головы на здоровую.

Вот так бы надо преподавать период с 33-го по 45-й, без "косых" приложений и нулей, напоминающих дыры в кладбищенских заборах и в немецких законах, через которые свободно пролезают комрады с ломиками и "молотов-коктейлями".

В Германии часто и много поминают жертвы Холокоста. Конечно, не в элитарных гимназиях, но поминают. Это хорошо. Однако лучшим венком на могилу жертв были бы долголетние тюремные сроки для тех, кто разоряет эти могилы и все прочие, ибо разоряя еврейское кладбище на Вайсензее или в другом месте, нынешние нацистские ублюдки разоряют общее кладбище жертв геноцида, да и вообще всех жертв гитлеровского режима. Впрочем, они это тоже делают, оскверняя могилы павших солдат и офицеров.

Говорят, история повторяется дважды. Первый раз - как трагедия, а второй раз – как фарс. А я говорю: кто пытается превратить кровавую трагедию в грязный фарс, тот рискует пережить эту трагедию второй раз, еще в худшем виде. Имеющий глаза да прочтет, имеющий уши да услышит.

## IX

В Вене я ходил в Собор Святого Стефана молиться. Странно звучит "молиться", если речь идет обо мне, который с позиций всех конфессий - человек неверующий. Неправда, верующий, хоть и не религиозный. Обряды и правила не

соблюдаю, молиться по канонам не умею. Если б умел - может, пошел бы в Синагогу, но каков он - тот канон, и где она - та венская синагога? А собор Святого Стефана в Вене всегда на виду, возносится к небу, и совсем недалеко от моего пансиона на Кохгассе. Собор Святого Стефана носит имя не христианского апостола, а христианского дьякона - того, кто занимался не делами духовными, а делами хозяйственными, плотскими, телесными. "Бог и душа - вот два существа, все остальное - только печатное объявление, приклеенное на минутку." Так у Жуковского. Однако, когда духовное приобретает телесную обитель, оно становится видимым, особенно же недругами, даже теми, кто читает объявления по складам.

Если бы единобожие не обрело телесной обители в Аврааме, оно бы не столь раздражало язычников и их потомков. Дьякон Стефан стал первым христианином-мучеником, потому что стал первым видим недругам, таким как Саул-Савл. Оттого так первостепенно телесное воплощение Мессии, по-гречески - Христа. Оно делает духовное видимым, но, к сожалению, и для глаз враждебных. Мой скромный опыт меня в том же убеждает. Моя телесность всегда вызывала и вызывает раздражение Савлов и Павлов.

Собор Святого Стефана изнутри напоминает огромный скелет, но кость дорогая, слоновая, полированная временем, масляно-желтая, восковая. Не то, что слова, даже мысли в нем звучат гулко, уходят под купол, в поднебесье. Во время службы я сидел и молчал, изредка вставал, когда то требовалось по католическому обряду. Я не поклонник любого обряда, но в общественных местах его следует соблюдать ради приличия, и потому с вызовом, брошенным Л. Н. Толстым, я в этом вопросе не согласен. В делах духовных, когда речь идет о добре и зле, в жизни не стоит скандалить по мелочам.

Личная молитва моя напоминала жанр эпистолярный. Австрийские дети пишут письма Богу: "Lieber Gott!" и рассказывают ему свои детские проблемы. Так молился и я. Мои молитвы - это были мои письма Богу. Я жил в Вене уже три месяца, и приближалось Рождество. Я уже начал привыкать к Вене. Пальто венского цвета - темно-зеленое, консервативные женские и мужские. Иногда зеленое пальто усилено зеленой шляпой, иногда к этому прибавляли зеленые носки-гетры, которые ниже колен упирались в манжеты коротких штанишек на пуговичках. В России такие штанишки носят малые ребята, а здесь они на стариках с кривыми ногами, обтянутыми гетрами.

С черной венской лестницы начал я захаживать в парадную, богатую. В богатой жизни не участвовал, но смотрел: центр, Картнерштрассе, роскошь магазинов, блеск зеркальных витрин. Ранний венский пятчасовой вечер, неоновые сумерки, пирожные в витринах напоминают по роскоши бриллианты, а бриллианты в витринах аппетитны и красивы, как пирожные. Предрождественская теплынь, новогодний апрель с морозящим дождиком. Зонтики снуют мимо украшенных елок, изящные венские нищие играют дуэтом на скрипке и кларнете. Под музыку Моцарта в исполнении этих изящных молодых нищих и живет Картнерштрассе, упирающаяся одним концом в красивую Венскую Оперу, другим - в великий Собор Святого Стефана. Тут, на Картнерштрассе, Вена тратит деньги среди изобилия магазинов. В Вене позволено безмятежно сидеть в ресторанах и кондитерских. Сколько за витринами ресторанов и кондитерских международных шпионов! Шпионы, шпионы, шпионы, 35 тысяч шпионов! Из меня, как известно, шпиона не получилось, заплатилов с одним нулем.

Я слышал, Хемингуэй был шпионом ЦРУ. Интересно, сколько ему платили. Но и я получил в виде гонорара вскорее несколько нулей за изданную в Германии книгу, и хлопоты о моем приезде в Западный Берлин, которые вела при-

гласившая меня академия приближалась к благополучному концу. Захотелось отметить как-то необычно и безумно. Иногда хочется безумия. Я решил посетить венский публичный дом.

Публичные дома Вены - только на одном небольшом участке Альштрассе. Красная вывеска "Клуб интимных и эротических чувств", силуэт женщины с гибким телом. Дом обшарпанный, на всех окнах шторы. Вышла старуха привратница, нечистая, бедная, купила газету в киоске, вошла назад. Бар Саламбо - фотографии: китайки, вьетнамки, блондинки, "Овен-клуб" - множество эротических фотографий: сочные брюнетки, блондинка с арийским подбородком и большой голой грудью, вьетнамка с плоским носом обнажает ноги. Внутри все время мигает красная лампочка, ужасно воняет - непонятно чем, какой-то смесью духов и прокисшего бульона. Оргазм невозможен. Лучше б съел в кондитерской несколько пирожных.

Я читал, что римские блудницы во время работы расплали клиентов стопами истязаемых, иные плакали, как младенцы. Одно время Римом вообще управляли блудницы, существовала порнократия. Известны примеры великих блудниц: разве Мария Египетская не была прежде блудницей? Разве Мария Магдалена не была блудницей? А Фамари разве не блудом привлекла к себе гуляку Иуду, патриарха колена Иудина? И разве не от блудного зачатия исправлено было гнилое семя Онана, явилась поросль, из которой вышли царь Давид, царь Соломон и Иисус Христос?

Когда обесцениваются святые, и Площадь Библейских Царей в Тель-Авиве или Площадь Звезды в Париже называются в честь политических функционеров для подкрепления тех или иных политических небылиц, то это есть не что иное, как чадный туман исторической фальсификации, который не может быть вечным, но когда обесценивается первая в мировой истории профессия, то это уже свидетельствует об утрате физиологических соков человеком нашей эпохи и нашей среды. А без телесного в чем держится душа? Я видел объявление о защите диссертации "Социальный и возрастной состав посетителей публичных домов Вены на примере трех учреждений". Есть, конечно, разные учреждения. Бар в центре, публичный дом "Опиум" - дорогие бляди в наброшенных на голое тело одеяниях, лобки заклеены чуть-чуть в самом том месте серебряными треугольничками и прямоугольничками. Блядь в пеньюаре прижимает к просвечивающей груди кошку. Стоимость входа - 1000 шиллингов. Тут же, неподалеку - церковная организация, фотографии голых тел, анти-эротика, негритянские дети-скелеты.

Картнерштрассе - Рождество, теплое Рождество, солнечное, голубое небо. Рождество и Новый год встречают в пиджаках и весенних платьях. И вдруг - нищий. Не чистый венский нищий, а точно из России - рюкзачок за плечами, плоский нос, старый летный шлем на голове. Кто он? Ему наплевать на Картнерштрассе, он роется в изящных мусорниках. У него мутные, нечистые, но незлые глаза. Он бродяга. У него на груди крест. Я видел его потом в Святом Стефане. Он тоже, как и я, сидел молча и молился. Может, он пришел сюда просто передохнуть внутри, в прохладе огромного человеческого скелета из слоновой кости, или у него тоже молитва к Богу в эпистолярном жанре? Какое письмо он пишет Богу? Он ни за что не скажет, а воспроизвести невозможно даже Льву Толстому или Сервантесу.

Да и в словах ли дело? Слова и образы могут быть самые обычные. Важно освещение - то, в чем проявилось высокое новаторство Рембрандта. Портрет Саскии, портрет любви... Я вывез на Запад семью, но я не вывез любовь; вместо любви - сын-мальчик. Это, конечно, в некотором смысле, компенсация. Но, все-таки, вспоминаются чудесные строки Гейне:

Бежим, ты будешь мне женой,  
Мы отдохнем в краю чужом.  
В моей любви ты обретешь  
И родину, и отчий дом.  
А не пойдешь - я здесь умру,  
И ты останешься одна,  
И будет отчий дом тебе  
Как чужедальняя страна.

Драматургия освещения, драматургия света. Синагога - дом Книги. Но скульптура и живопись, краски и камни - это Святой Стефан, это Кельнский собор, это - даже менее известная Мраморная церковь в Копенгагене. В Мраморной церкви Копенгагена я сидел и слушал проповедь священника на непонятном мне датском языке - языке королей и принцев Гамлетов. Тут надо дополнить - Мраморная церковь Копенгагена расположена неподалеку от королевского дворца. Когда замок королей был в городке неподалеку от Копенгагена - Хельсинхор, который Шекспир неточно назвал Эльсинор, заимствуя из неточного французского перевода. Хельсинхор - городок, расположенный на берегу узкого пролива, отделяющего Данию от Швеции, через который за одну ночь датские христиане спасли своих еврейских сограждан от немецких христиан, в отличие от латышских, литовских, украинских и прочих "братьев по вере". Дело, значит, не только и не столько в вере, сколько в том самом рембрандтовском Божьем освещении. Философ и атеист Гамлет, правда,

понимает эти проблемы несколько иначе. "Что нового, ребята?" - спрашивает он Гильденстерна и Розенкранца. "Ничего нового, если не считать, что в мире завелась совесть". "Значит, конец света", - отвечает Гамлет.

Нацизм, в отличие от большевизма в России, не тронул национальной структуры немцев, не разрушил нажитую веками психологию и материальные навыки. Он возвысил национальную гордость немцев, всего лишь освободив их от тяжелых вериг совести. Национал-социалистический пророк Гитлер вывел немецкий народ из Божьего рабства и превратил его в лишенных совести вольных разбойников. Поэтому немецкая и интернациональная чернь, в основном из низов и среднего сословия, которой особенно обременительно Божье рабство, молилась и будет еще века молиться своему пророку-избавителю, но эта молитва не успокоит, а сделает ее еще более злобной и неврастеничной. Только Божьи вериги совести могут успокоить. Рай человека - его спокойная совесть. Иного рая нет. В блаженный легкий рай я не верю, да и само сознание - в жизни тяжелая ноша. Потеря сознания приносит облегчение. В Мраморной церкви Копенгагена я сидел и слушал проповедь на непонятном языке. Я понял только два слова из длинной проповеди датского пастора. Первое слово - Христос, второе слово - Аушвиц.

Берлин, 2000-2002 гг.





Рисунки Тамары Ивановой

## Михаил Городинский

Михаил Городинский родился в 1947 г. в Ленинграде. Автор книг прозы «Позабудем свои неудачи», «В поте души своей». Проза, эссеистика, стихи публиковались в российских и зарубежных литературных журналах, альманахах, газетах. Роман «Дети слов» был представлен на премию Букера. Многие произведения Городинского переведены на иностранные языки. Член международного ПЕН-клуба. С 1991 живет в Аахене.

Предлагаемое сочинение представляет собой импровизацию на джазовую тему, или, точнее, конечно, на тему джаза.

Читатель, знакомый с современным джазом, с музыкой троих знаменитых музыкантов, которым посвящена данная композиция, возможно, заметит (а не знакомый – поверит тогда уж), что автор иногда пытался следовать за их музыкальным стилем. Попытка, по понятным причинам, заведомо провальная, и данное замечание лучше поскорее выбросить из головы.

Автор был бы рад, если бы чтению сопутствовала музыка в исполнении упомянутых в тексте мастеров. А после, конечно, осталась бы только музыка. Именно эта надежда и вдохновляла его, когда он брался за перо компьютера.

*"Хазары умели читать цвета, как будто это музыкальные записи или буквы и цифры"*  
М. Павич, "Хазарский словарь"

Лет десять тому я впервые услышал, вернее, увидел. Услышал его на экране TV. Герой телефильма, время от времени он вскарабкивался на банкеточку и играл на рояле джаз. Зримый, облизываемый и пожираемый телекамерами, он мешал своей музыке. Похоть маскультуры, угрожающей своему всемирному клиенту, его праву поглощать хлеб и зрелища одновременно (кажется, я тоже пил чай). "Вань (Джон, Ганс, Франсуа, Сема), погляди какие карлики!". Тулуз-Лотреку в этом смысле повезло: его, по крайней мере, не крутили по TV, не превращали в аттракцион для телетолпы. К тому же к звучащей картинке упорно лепилась еще одна: петух, торчавший из авоськи моей первой учительницы музыки. Направляясь к шестилетнему мне, она заскакивала по пути на Сенной рынок, и мертвая жутко внимательная петушиная голова была постоянным участником наших паломничеств к прекрасному.

События встречи (а зачем иначе искусство, книга?) не случилось.

Помешало обычное, человеческое.

- Послушай, - сказал мне через пару лет старый приятель, музыкант и джазмен. Он зарядил диск.

Дело было Бог знает где, точнее, в городе Эйлате, в его крохотной квартирке. Напротив сидел Вовка, с которым последний раз мы случайно столкнулись где-то на Невском, перед скоростным его отъездом. Слева маячила Иордания, справа - Синай. Реальность, что и говорить, сильно валяла дурака, слишком сильно, и вот Петруччани заиграли нам свою роскошную печаль.

Я полюбил его музыку, порядком пожил с нею.

Три года назад в декабре 1998-го 36-ти летнего маэстро не стало. По TV опять крутили тот фильм - уже в память. Потом еще, еще. И все как будто и соединилось, и сладилось. Уродство и красота, боль и блаженство, убожество и дар, страдание, спасение, острейшее и несоединимое "был" и "не был". Вопиющая очевидность человеческого несчастья исчезла, точно была оптическим обманом, и Мишель наконец-то освободился от приговора этой очевидностью, ее логикой.

Отбросив в сторону маленькие костылики (они, если угодно, сложились в крест, который после концерта опять превратился в современные лилипутские жутко упорные и почти веселенькие ходули), он опять вскарабкивается на ту банкетку, к роялю. Инструмент оснащен высокими навесными педалями, эксклюзивное приспособление когда-то смастерил вундеркинду отец. На клавиатуре громадные руки - шальной дар нелепому тельцу, как и громадные уши. Пауза. Он начинает "Body and Soul" - "Душа и тело". Зал аплодирует, заодно и себе, сразу узнавшему первые звуки темы, сигналил о своей готовности к самоотречению.

Где мы бываем в подобные мгновения? Откуда возвращаемся? Не оттуда ли, где нас нет (и потому-то там так хорошо) - усталых, суетливых и изболтавшихся, значит, нет и времени, страха, панической потребности защищаться и быть вдобавок счастливыми; где за чертой обыденности среди ветерков, зефиров, септаккордов и голубых нот терпеливо дожидается нас божественное нечто – наконец-то без имени? Как, в самом деле, назвать этот обморок, спазм, короткое замыкание, когда "было" и "сейчас", память и дрящущийся вот звук - одно, и ты нежно изгнан в юность, где, крадя по ночам "Час джаза" Улиса Кановера (почему не напевы пьяного соседа-гармониста за стеной?), прикипали еще такие жадные душа, тело к этому шаманству, к свободе, ее блюзовому обещанию, угождавшему, надо же, так глубоко и в самую цель?

Э, для того и существуют чудеса, чтобы пусть ненадолго освободить нас от гордыни "здорового смысла", его холодной речи, слов, вопросов и ответов. "Чего вы ждете от слушателей?" - спросили однажды у В. Горовица. "Тишины", - ответил он за всех чудотворцев.

Кажется, лучшие слова о джазе сказали (написали) Х. Кортасар и Б. Виан. Но и то, куда деваться, лишь прекрасные метафоры, метаморфозы не случилось - музыкой слова не стали.

Кстати, вопрос о любимом писателе, любимой книге заставляет маэстро врасплох. Он не по этому делу. Теряется, скучает. Но, подобно мальчишке, желающему выглядеть повзрослее, все же ляпает вдогонку, когда тема как будто уже снята: "Мастер и Маргарита". Почему бы нет, хотя и несколько странно для сегодняшнего парижанина. Великие черные наверняка вообще не стали бы говорить о такой чуши - писателе, книга, слова...

-Что вы чувствуете, когда играете?

-Это похоже на любовь, ну, на оргазм.

-Что вы скажете о цвете и звуке?

-Звук имеет свой цвет...

-А можете ли вы сыграть зеленое?

Наконец-то кончилась эта интеллектуальная пытка! Другие, другие прекрасно расскажут вам и про оргазм, и про цвет, звук!

Петруччани уже у рояля и после короткой медиации импровизирует зеленое.

О, понятия не имею, как звучало зеленое до сей минуты, звучало ли, но после нескольких его аккордов зеленое уже всегда будет мне звучать, ибо не звучать теперь уже не сможет. Звук зеленого стал в этом мире таким же законным и непреложным, как какая-нибудь строфа настоящего поэта.

Не было, могло не быть, но вот прозвучало, и ты поверил, значит, есть.

-А серо-голубое?

Маэстро сосредоточен, отрешен, как и подобает перед работой творцу, не задающемуся вопросом "зачем". Требуется лишь немного тишины.

О, о том, как звучит серо-голубое, я, разумеется, имел представление еще более отдаленное. То есть, никакого, никогда, вообще, почти принципиально. Но знаю теперь и этот звук, и тоже не спрашиваю, за чем.

Петруччани и старик Граппелли (скрипач, джазовый гений) записывают в студии диск. Играют удивительной красоты и красивейшей печали тему "Nuages" легендарного Джанго Рейнхардта (еще один из их синклита, гитарист). Играют, шуткуют, пьют колу, перекуривают, надевают наушники и играют по новой. Предположив, что как-то так во время перекура ведут себя боги, я сделал бы последним комплимент, которого они не заслужили. Хотя бы потому, что никто из тех богов покамест не сыграл мне "Nuages".

Комплимент ли это человекам? Все настойчивее кажется нынче, что искусство, поэзия - едва ли не единственное алиби, которое есть у слепой кровавой кутерьмы, по-прежнему зовущейся историей, прогрессом и чем там еще. Все менее интересующее самих двуногих свидетельство, которое, однако, они только и могли бы предъявить себе в оправдание, может быть, и во славу даже, найдись вдруг вонне любопытствующий и секущий.

Но свидетельствуют ли гении, даже таланты за всех, за биологический, так сказать, вид? Или вопреки ему, и лишь за себя, а остальным - проходим, проходим, проходим - не стоит рассчитывать и на эту халяву?

Существеннее, впрочем, что и у нас есть шанс: хотя бы иногда умолкать и пытаться услышать.

-Бойтесь ли вы смерти?

-Боюсь, - без запинки отвечает маэстро.

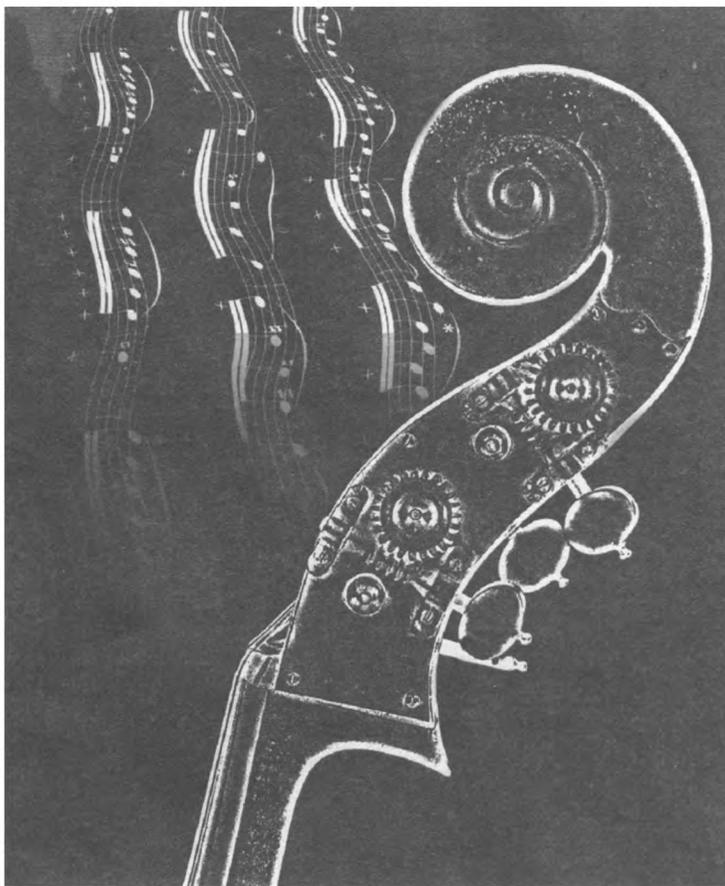
Тело, тело и душа, тельце и душа.

Дар Божий, способ существования белковых тел.

Спасет мир все же красота, или все же клонирование вместе с диктатурой гуманизма при сокрушительной поддержке НАТО.

Интереснейших вопросов хватает.

Вот только, оплошность какая, прекрасный Мишель Петруччани уже не вскарабкается на банкеточку, уже не сыграет ничего нового на рояле со спецпедалями. Утешает, что до поры никто не отнимет того, что он успел нам сыграть.



Как там у поэта?

На стекла вечности уже легло  
Мое дыхание, мое тепло.

Вот, вот, тепло.

Почтенному Туутсу Тилемансу,  
играющему джаз на губной гармошке

Незабвенному Чет Бэкеру,  
джазовому трубачу и вокалисту,  
в мае 1988-го улетевишем  
из одного из амстердамских окон

Младенец, старик, звукодув,  
игрец на обломке гармонии,  
бродившей всю ночь одиноко,  
девушкам спать не дававший  
за околицей моих снов.  
Утром замерло все до рассвета...  
В этот-то несусветный час  
сбитых с толку петухов,  
обалдевших собак  
из гармонии было похищено ребро  
чернобелым божком- бомжком,  
набравшимся трав и глюков,  
понимавшим рассвет и утро,  
пространство и время,  
бытие, но сперва спасенье  
последовательностью звуков,  
сыгранных в стиле "кул" или "би-боп"  
с импровизацией в том же стиле.  
Ход его дальнейших маршрутов  
столь же непознаваем,  
как квадратура круга,  
отношение мака к обдолбанному,  
на рассвете одиночество околицы.  
Известно лишь,  
что кража была совершена для тебя,  
Туутс Тилеманс,  
в свое время  
травматически не пережившего  
кошмар отлучения от груди,  
с тех пор одержимого манией  
совать в рот и мусолить губами  
различные предметы.  
Эта мамия вернуться, добрать, дососать,  
догреться, донезиться, домадиться  
мне куда понятнее и милее,  
чем жестокость уже остывших,  
чем месть сперва отлучающих,  
чем подлость потом отучающих  
от, по их, вероятно, мнению,  
ужасной привычки,  
чем ритуальная мерзость  
битья по чужим рукам.  
Как же ты надул их,  
Туутс,  
мудрейшее дитя,  
отказавшись от известных способов борьбы  
за суверенно право хватать  
свое и по- своему,  
в ходе которой даже  
самые самоотверженные из наших  
терпели крах!  
Ты прикинулся взрослым,  
потом седым стариком,  
нацепил профессорские окуляры,  
надевал шпионские костюмы,  
смокинги, - bravo!, -  
терпел их аплодисменты, орации,  
прессу, поклонников, продюсеров,  
пластинки, диски, деньги -  
ничтожные уступочки, право,  
за блаженство не выпускать из рук, из губ эту штуку!  
И мерзлячка, дурочка,  
как всякая вещь в себе,  
поверив нежнейшему из астматиков,  
отогревшись твоим дыханием,  
оживши в твоих губах,  
запела гармошка  
священным голосом печали.

давай-ка, Чет Бэкер,  
надуй, надыши и напой,  
архангел гундосый,  
бездомных  
смурной  
домовой,  
где глуше пропажа,  
там духов законней игра,  
и "Листьев опавших"  
протяжней  
прицельней  
игла,  
усталой змеею,  
забывшей факира и трюк,  
потянется кровь  
на прописанный  
к вечеру  
звук,  
кольцо разомкнет,  
услышит немислимый свет, -  
то лепет свободы,  
и трепет,  
и джазовый бред,  
оживши обманом,  
скуля, пропадая, спеша  
за славным безумьем  
увяжется  
мигом  
душа,  
так в жилу псалом,  
или дом разорился вконец,  
не клеится притча,  
где путь,  
возвращенье,  
отец,  
из ветхой картины  
"Итог с человеческим лицом"  
сын бежит,  
и бежит он  
за блудным  
отцом,  
тот давно налегке,  
ибо знает, зачем и куда,  
все богатство у отце -  
косячок,  
да напев,  
да дуда,  
серебришком надежды  
не снабдит беглеца,  
чем спасется сынишка,  
не  
колышет  
отца,  
коль согласен с условием  
завета, наследства, родства  
зачарует пощадой  
поющая  
та  
листва,  
бесполезно божествен  
труд нелепой четы-  
довести до черты под сурдинку,  
под сурдинку  
дойти  
до черты.

# Алексей Толстой в Берлине

Мина Полянская

Посвящая Наталье Толстой



Мина Полянская, литературный редактор журнала "Зеркало Загадок", литературовед, эссеист. Она один из авторов книги "Одним дыханием с Ленинградом..." (1989) о литературном Петербурге-Ленинграде двадцатого века и филологических экзерсисов "Классическое вино" (1994), автор книг "Музы города" (2000) и "Брак мой тайный..." (2001), публикуется в периодических изданиях. Член международного ПЕН-клуба. С 1991 года живет в Берлине.

*О, звуки, полные былого!  
Мои деревья, ветер мой,  
и слезы чудные, и слово  
непостижимое: домой!*

В. Набоков

## I

Осенью 1921 года из Парижа в Берлин с семьей переехал Алексей Толстой. "Осанистый и неторопливый" господин, как его охарактеризовал Корней Чуковский, носил титул графа и принадлежал к старинному роду, давшему уже России двух писателей - Льва Николаевича Толстого и Алексея Константиновича Толстого. "Гр. Ал. Н. Толстой" - так он подписывал свои первые произведения - был в двадцатых годах уже знаменитым автором цикла рассказов и повестей об усадебной дворянской жизни "Заволжье", романов на эту же тему "Чудаки" и "Хромой барин", "Егор Абовов". Находясь в эмиграции, он в 1921 году в Севре - между Парижем и Версалем - написал роман "Сестры" - первую часть трилогии "Хождение по мукам", основной темой которой была судьба русской интеллигенции в годы революции.

Позади остались пять лет скитаний. Алексей Николаевич и его семья, состоящая из семи человек, как и многие тысячи эмигрантов, два года провела в Одессе. Иван Бунин, находившийся тогда же в Одессе, вспоминал:

"Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам..., но в начале апреля большевики взяли, наконец, Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать ее..."<sup>1</sup> Толстые отправились в эмиграцию на пароходе "Кавказ", где оказались в сыром трюме, вместе с тифозными больными. "Но тогда точно ветер подхватил нас, - писал впоследствии Толстой Бунину, - и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено не рассказать".

Два месяца добирались до Турции. Вновь прибывших эмигрантов в Константинополь не допускали - размещали в резервации для русских эмигрантов - на острове "Халки"; спустя месяц Толстые оказались в Константинополе, где на улицах повсеместная русская речь сливалась с таким же неизбежным заунывным пением муллы, а из ресторана доносилось, как писал Аверченко в одном из рассказов: "Маруся, брось свои замашки, скорей тангу со мной спляши!"

Стихотворение Владимира Набокова "Беженцы" отразило отчаяние эмигрантов, навсегда лишившихся родины. Оно было опубликовано в газете "Руль" в 1921 году.

Я объездил, о Боже, твой мир,  
оглядел, облизал, - он, положим,  
горьковат... Помню пыльный Каир:  
там сапожки я чистил прохожим...  
Также помню и бойкий Бостон,  
где плясал на кабацких подмостках...  
Скучно, Господи! Вижу я сон,  
белый сон о каких-то березках...  
Ах, когда-нибудь райскую весть  
я примечу в газете раскрытой,  
и рванусь и без шапки, как есть,  
возвращусь я в мой город забытый!  
Но, увы, приглянувшись к нему,  
не узнаю... и скорчусь от боли;  
даже вывесок я не пойму:  
по-болгарски написано, что ли...  
Поброжу по садам, площадям, -  
большеглазый, в поношенном фраке...  
„Извините, какой это храм?“  
И мне встречный ответит: "Исакий".  
И друзьям он расскажет потом:  
"Иностранец пристал; все дивился..."  
Буду новое чуютъ во всем  
И томиться, как вчуже томился...<sup>2</sup>

Тысячи эмигрантов так никогда и не выбрались из этого кошмара, Толстых же выручил друг семьи, богат и меценат Сергей Аполлонович Скирмунт, который помог им получить разрешение на выезд из Турции в Европу.

Семья продолжила свое мучительное путешествие на пароходе "Карковадо". "Ах, эти дымы, заржавленные пароходы!", - писал Толстой впоследствии в повести "Похождение Невзорова, или Ибикус", вспоминая как наваждение пароходный трюм, темноту, качку, дощатые нары, на которых он лежал в отчаянии и тоске, уставившись в пустоту. Однако и в Париже нищенская жизнь продолжала преследовать семью Толстых и, как вспоминал пасынок Толстого Федор Волькенштейн, "не было никаких перспектив выбраться из нищеты".<sup>3</sup>

Жена Толстого Наталья Васильевна Крандиевская, дочь известной в свое время писательницы А. Р. Крандиевской, была необычайно талантливым человеком: писала стихи, сочиняла музыку, до революции занималась живописью и скульптурой в студии Е. Н. Званцевой в Петербурге, в том самом угловом доме с башней на Таврической улице, где находился литературно-художественный салон Вячеслава Иванова - знаменитая "башня Иванова". (Студию Званцевой одно время посещал Марк Шагал, где обучался ри-

<sup>1</sup> Бунин И. А. Собр. Соч. в 9-ти т., т. 9, с. 442.

<sup>2</sup> "Руль", 19(6) июня 1921 г.

<sup>3</sup> Воспоминания об А. Н. Толстом. М., 1982, с. 113.

сунку у Мстислава Добужинского и живописи у Леонида Бакста.)

Бунин вспоминал о Наталье Крандиевской: "Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, - иней опустил всю ее беленькую шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, - и я просто поражен был ее прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила: - Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут..."<sup>4</sup>. Наталья Васильевна в самом деле принесла семье в жертву свое литературное дарование, научилась в Париже шить и обшивала богатых дам. А к осени 1921 года семья Толстых приняла окончательное решение переехать из Парижа в Берлин.

## II

В Берлине Толстые вначале поселились в пансионе Марии Фишер. В письмах Толстой называет адрес: Kurfuerstendamm, 31 Pens. M. Fischer. (Дом, в котором находился этот пансион в самом центре Берлина, не сохранился). К осени 1922 года Толстым удалось переехать из пансиона в квартиру на Бельцигерштрассе 46.

Четырехэтажный дом серого цвета с глухими заштукатуренными балконами, напоминавшими Набокову столы с выдвинутыми ящиками, которые забыли задвинуть, сохранился до наших дней. Сохранился и облик той части улицы, где находится этот дом - тихий и уютный уголок Берлина с небольшими кафе и неторопливыми пешеходами.

Дом на Бельцигерштрассе можно было бы назвать "стартовой площадкой" "Аэлиты" Толстого, так как именно здесь он написал этот свой первый научно-фантастический роман. "Настоящая" романная стартовая площадка находилась, впрочем, в Петербурге. Именно там разворачивается действие романа "Аэлита", там же в 1923 году он впервые будет опубликован. Покинув Петербург 12 лет назад (Толстой перед революцией жил в Москве), автор сохранил в памяти приметы любимого города, и был осведомлен о бесчисленных переименованиях улиц, также ставших символом новой власти.

Когда-то нарядный и оживленный Каменоостровский проспект стал называться улицей Красных зорь и в период гражданской войны и разрухи представлял печальное зрелище. В берлинском доме на Бельцигерштрассе Толстой писал о петербургской улице: "Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми - ни одна голова не выглядывала на улицу".

На одном из этих домов висело объявление странного содержания: оно приглашало желающих совершить космическое путешествие, указывался адрес, где стоит космический корабль: "Инженер Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс, явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная, дом 11, во дворе". Именно во дворе этого дома и состоялся торжественный старт космического корабля: "На пустыре перед мастерской Лося стал собираться народ. Шли с набережной, бежали со стороны Петровского острова..."

Так, неожиданным образом космический корабль соединил тихую берлинскую Бельцигерштрассе и такую же тогда тихую петербургскую Ждановскую набережную, на которой по странному стечению обстоятельств Толстой поселился в 1923 году сразу же по возвращении в Советскую Россию. Причем дом 3/1, где Толстой с семьей прожил 5 лет (до переезда в Детское село), находился в нескольких шагах от места, где "состоялся" старт космического корабля, описанный им в Берлине.



## III

Берлин понравился Толстому. Он писал Бунину в Париж: "Милый Иван, приехали мы в Берлин, - Боже, здесь все иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае, близко от России. Жизнь здесь приблизительно, как в Харькове при Гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. На улице снег, совсем, как в Москве в конце ноября, - все черное..."

Здесь вовсю идет издательская деятельность... По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать с Россией".<sup>6</sup> Бунина, который живет в большой нужде, Толстой зовет в Берлин, где, по его мнению, жизнь дешевле, а возможностей издаваться гораздо больше.

Письма Толстого из Берлина воссоздают атмосферу обманчивого благополучия начала двадцатых годов, в котором уже угадывались признаки надвигающегося экономического кризиса. "Мы с семьей... проживаем тринадцать - четырнадцать тысяч марок в месяц, - сообщает он Бунину 21 января 1922 года, - то есть меньше тысячи франков... В Париже мы бы умерли с голоду. Зарботки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, - меня поддерживают книги, но ты одной построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все... Словом, в Берлине сейчас около тридцати издательств".

После революции 1917 года немецкая столица оказалась пристанищем русской эмиграции. Русский серебряный век "переехал" в Берлин, который Владислав Ходасевич тогда же, в 1923 году, в стихотворении "Все каменное" назвал "мачехой российских городов". "Мачеха" была на удивление терпима к эмигрантам. Бердяев отмечал, что немцы отличались большей лояльностью к выходцам из России, чем французы. Германия, выплачивавшая огромные репарации союзникам после поражения в Первой мировой войне и переживавшая значительные экономические трудности, тем не менее, стала мостом, соединяющим эмигрантский мир с Россией.

Английский исследователь Р. С. Уильямс утверждал, что в 1922 году в Берлине находилось около ста тысяч русских.<sup>7</sup> Эмигранты, туристы с советскими паспортами, бывшие военнопленные, остатки различных белых освободительных корпусов - все эти люди поначалу оказывались иногда в одних и тех же пансионах и в одних кафе. В этой атмосфере относительной политической свободы и интеллектуального возбуждения формировались различные партии, от право-консервативных до леволиберальных, и возникали всевозможные сообщества. Например, в газете "Накануне"

<sup>4</sup> Бунин И. А. Собр. соч. в 9-ти т., М., т. 9, с. 536-637.

<sup>5</sup> Вполне возможно, что в Берлине Толстой вспомнил о том, что до революции в Петербурге во дворе дома 11 по Ждановской набережной размещался моторный класс авиационной военно-технической школы, находившейся неподалеку, а во дворе на учебном стенде будущие мотористы учились работать с авиационными двигателями, которые оглашали округу страшным ревом и гулом. Не исключено, что эти "достижения" молодой отечественной авиации и ассоциировались у Толстого с его собственным летательным аппаратом.

<sup>6</sup> Бунин И. А., Собр. соч. в 6-ти т., М., т. 6, с. 296.

<sup>7</sup> М. Разумовская "Марина Цветаева", М., 1994, стр. 147.

за 3 июня 1922 года под заголовком "Русские учреждения в Берлине" находим такие колоритные названия: "Союз Русских летчиков в Германии", "Союз Российских Студентов Германии", "Еврейский Студенческий союз", "Общество русских инженеров в Германии", "Союз колонистов Черного моря" и так далее. Томас Урбан в книге о Набокове "Синие сумерки Берлина" указывает адреса некоторых российских объединений в Берлине, такие как Союз защиты русских граждан в Германии (Виландштрассе), Союз русских врачей в Берлине (Вильгельмштрассе), Союз русских журналистов и писателей (Маркграфенштрассе), Союз русских адвокатов в Германии (Францозише штрассе), Американский фонд поддержки русских писателей и ученых (Маркграфенштрассе)<sup>8</sup> и многие другие.

Десятки русских писателей поселились тогда в Берлине. Среди них - В. Набоков, В. Шкловский, В. Ходасевич, Н. Берберова, Н. Тэффи, А. Ремизов, М. Алданов, Г. Ландау, С. Маковский, Н. Минский, П. Муратов, И. Соколов-Микитов, Саша Черный, С. Волконский, Н. Оцуп, И. Шмелев и многие другие. Сюда на "гастроли" приезжали и посланцы Советской республики В. Маяковский и С. Есенин.

Здесь же, неподалеку от Толстого, поселился М. Горький, который из Петрограда приехал в Берлин и настоятельно отговаривал Толстого от возвращения в Россию.

Берлинская русскоязычная пресса тех лет полна сообщениями о литературных новостях, об открывающихся курсах по изучению языков и освоению новых профессий и о постоянно прибывающих знаменитостях. Так, например, газета "Накануне" 7 мая 1922 года в разделе "Литературная хроника" сообщает:

"В середине мая в Берлин приезжает Валерий Брюсов", "В двадцатых числах мая из Флоренции в Берлин прибывает П. Е. Щеголев, отвозивший на Флорентийскую книжную выставку образцы изданий Госиздата", "Борис Зайцев приезжает в Берлин 15 мая", "От петербургского ордена "Серапионовых братьев" получен в Берлин целый ряд рукописей (стихи и беллетристика)".

Газета "Руль" в разделе "Хроника" сообщает: "Объявленные союзом российских студентов в Германии "Курсы русского языка для немцев" вызвали к себе большой интерес со стороны немцев. За два последних дня записались через союз на курсы свыше ста человек"<sup>9</sup>.

Так называемый русский Берлин располагался в основном в районе между Прагерплатц и Ноллендорфплатц. На этом сравнительно небольшом пространстве находились многочисленные русские издательства, парикмахерские, книжные, галантерейные и продовольственные магазины. Повсюду в Европе, где собиралось сколько-нибудь значительное число русских эмигрантов, и, прежде всего, в Берлине возникали русские газеты и журналы, печатались альманахи и книги (количество русских издательств в Берлине достигло огромной для немецкого города цифры 87), которые тут же, на прилавках магазинов (не только книжных) и продавались.

Здесь можно было купить эмигрантские газеты различных политических оттенков - кадетскую ежедневную газету "Руль" или же эсеровские "Дни", монархическую газету "Грядущая Россия", просоветскую "Новый мир", а также ориентированную на советскую Россию "Накануне". В Берлине издавалось большое количество русских журналов, свидетельствующих об интенсивной идейной и духовной жизни эмигрантов. Это были: „Эпопея“ Андрея Белого, "Новая русская книга" под редакцией А. С. Ященко, "Беседа", основанная по инициативе М. Горького. Обилие всевозможных русских заведений, как будто бы обособленных, отгороженных от остального мира в самом центре Берлина, создавало особый городской колорит. Как отмечал В. Набоков, эмигранты,

## Alexej Tolstoi in Berlin

von Mina Polianski

Im Herbst 1921 zog Alexej Tolstoi mit seiner Familie aus Paris nach Berlin. Der „stattliche und nicht zur Eile neigende“ Herr, wie ihn Kornej Tschukowski charakterisierte, trug den Titel eines Grafen und gehörte zu einem alten Adelsgeschlecht, das Russland schon zwei Schriftsteller geschenkt hatte: Lew Nikolajewitsch Tolstoi und Alexej Konstantinowitsch Tolstoi, „Gr. Al. N. Tolstoi“ – so signierte er auch seine ersten Werke. In den zwanziger Jahren war Alexej Tolstoi schon ein berühmter Schriftsteller. (...)

In Berlin kamen die Tolstois anfangs in der Pension Maria Fischer unter. In seinen Briefen gibt Tolstoi die Adresse „Kurfürstendamm, 31 Pens. M. Fischer“ an. (Das Haus, in dem sich diese Pension im Zentrum Berlins befand, steht nicht mehr.) Zum Herbst 1922 konnten die Tolstois aus der Pension in eine Wohnung in der Belziger Straße 46 umziehen. (...)

Das Haus in der Belziger Straße könnte man die „Startrampe“ von „Aëlitä“ nennen, war es doch hier, wo er seinen ersten wissenschaftlich-phantastischen Roman schrieb. Die „wirkliche“ Startrampe des Romans befand sich allerdings in Petersburg. Dort entwickelt sich die Handlung des Romans „Aëlitä“ und eben da wird er auch das erste Mal 1923 publiziert werden. (...)

Berlin gefiel Tolstoi. Bunin schrieb er nach Paris: „Lieber Iwan, wir sind nach Berlin gezogen, – mein Gott, hier ist alles anders. Es ist Russland sehr ähnlich, zumindest ist es nicht weit weg von Russland. Das Leben ist hier so ähnlich wie in Charkow unter dem Hétman: die Mark fällt, die Preise steigen, die Waren werden zurückgehalten. Auf der Straße liegt Schnee, ganz wie in Moskau Ende November, – alles ist schwarz...“

Überall ist man verlegerisch tätig... Es ist offensichtlich, dass die hiesigen Verleger bestimmte Pläne verfolgen, mit Russland zu handeln“. Tolstoi ruft Bunin, der in großer Armut lebte, nach Berlin, wo das Leben seiner Ansicht nach billiger und die Möglichkeiten, einen Verlag zu finden, größer waren.

Die Briefe Tolstois aus Berlin vermitteln den Eindruck eines trügerischen Wohlergehens Anfang der zwanziger Jahre, als schon die ersten Vorzeichen der kommenden wirtschaftlichen Krise zu erahnen sind. „Unsere Familie... verbraucht im Monat dreißig- bis vierzigtausend Mark zum Leben“, teilt er Bunin am 21. Januar 1922 mit, „das sind weniger als tausend Franken... In Paris wären wir vor Hunger gestorben. Die Einkünfte sind hier derartig, dass es schwer fällt, mich und meine Familie mit der Arbeit für die Zeitschriften zu ernähren, mir dienen die Bücher als Stütze, aber du könntest allein vom Zeilengeld schon sorglos leben... Der Buchmarkt ist hier sehr groß und entwickelt sich mit jedem Monat weiter, es wird alles gekauft... Mit einem Wort, in Berlin gibt es jetzt ungefähr dreißig Verlage“.

Nach der Revolution 1917 war die deutsche Hauptstadt zu einer Zufluchtsstätte der russischen Emigration geworden. Das russische silberne Zeitalter „siedelte“ nach Berlin „über“, das Chodassewitsch eben damals, im Jahr 1923, in seinem Gedicht „alles Steinern“ die „Stiefmutter der russischen Städte“ nannte. Die „Stiefmutter“ war erstaunlich geduldig gegenüber den Emigranten. Bertjajew stellte fest, dass sich die Deutschen von den Franzosen dadurch unterschieden, dass sie nach der Auswanderung aus Russland eine größere Loyalität entgegenbrachten. Deutschland wurde ungeachtet der großen Reparationssummen, die es nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg an die Alliierten zahlen musste, und ungeachtet erheblicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu einer Brücke, die die Welt der Emigranten mit Russland verband.

Der englische Literaturhistoriker Robert C. Williams geht davon aus, dass sich 1922 in Berlin um die hunderttausend Russen befanden. Emigranten, Touristen mit sowjetischen Pässen, ehemalige Kriegsgefangene, Reste verschiedener weißer Freikorps – sie alle traf man manchmal in ein- und derselben Pension, in ein- und demselben Café an. In dieser Atmosphäre relativer politischer Freiheit und

ранты, находясь в этом вольном зарубежье "в вещественной нищете и духовной неге", как будто бы и не замечали проходящих мимо берлинцев.

В романе "Другие берега" Набоков называл коренных жителей Берлина туземцами и "призрачными иностранцами", в чьих городах русским изгнанникам "доводилось физически существовать". "Все это было пока еще далеко от

<sup>8</sup> Thomas Urban, Vladimir Nabokov. Blaue Abende in Berlin, 1999, S. 17.

<sup>9</sup> "Руль" от 25 мая 1921 г.

интеллектуellen Aufbruchs formierten sich von rechts-konservativ bis links-liberal unterschiedliche Parteien und entstanden alle möglichen Vereinigungen. (...)

Dutzende russische Schriftsteller lebten damals in Berlin. Unter ihnen waren Vladimir Nabokov, Viktor Schklowski, Chodassewitsch, Nina Berberowa, Nadeshda Teffi, Alexej Remisow, Mark Aldanow, Grigori Landau, Sergej Makowski, Nikolaj Minski, Pawel Muratow, Iwan Sokolow-Mikitow, Sascha Tschjorny, S. Wolkonski, Nikolaj Ozup, Iwan Schmeljow und viele andere. Zu „Gastspielen“ fuhren die Gesandten der Sowjetrepublik Wladimir Majakowski und Sergej Jessenin hierher.

Hier wohnte auch nicht weit von Tolstoi entfernt Maxim Gorki, der aus Petrograd nach Berlin gekommen war und Tolstoi nachdrücklich davon abriet, nach Russland zurückzukehren (...)

Tolstoi hatte nicht vor, lange in Berlin zu bleiben. Die Stadt war für ihn eine eigenartige „Startrampe“ für seine Rückkehr nach Sowjetrußland. Es war völlig folgerichtig, zuerst in Deutschland Station zu machen, bevor er nach Petrograd zurückkehrte, wo er sich dauerhaft niederlassen wollte, war doch Deutschland eines der ersten Länder, das die RSFSR anerkannte, weswegen es von dem unversöhnlichen Teil der Emigranten auch „rot“ genannt wurde, während Majakowski für Berlin eine Zwischenfarbe zwischen rot und weiß fand – er nannte die Stadt grau. „Weißes Paris, graues Berlin, rotes Moskau“ – so betitelte er einen seiner Vorträge. (...)

Tolstoi interessierte in erster Linie eine neue politische Bewegung (obwohl er behauptete, sich für Politik nicht zu interessieren) – die sogenannte „Smenowechowstwo“ [die Bewegung „Wechsel der Wegzeichen“]. Zum Ideologen dieser Bewegung und ihrer Politik, die darin bestand, Kontakte zu den Bolschewiki aufzubauen, wurde der ehemalige weiße Offizier Nikolaj Ustrjalow. Von Chabrin aus, wo er lebte, publizierte er seine Artikel, in denen er nachwies, dass die Idee, die Bolschewiki mit Gewalt zu stürzen, gescheitert sei, und dazu aufrief, die große Tat zu vollbringen, sich bewusst aufzuopfern und mit der neuen Macht in Russland zusammenzuarbeiten. (...)

In Berlin gab es ein ganzes Netz an Propagandisten, die aktiv daran arbeiteten, das Leben unter den Sowjets in einem guten Licht zu zeigen. (...) Es ist nicht auszuschließen, dass Tolstoi 1922 wirklich Hoffnung auf die NÖP [Neue Ökonomische Politik] setzte und hoffte, dass die Zeit des Kriegskommunismus nur eine schreckliche Episode blieb, die der Vergangenheit angehörte. (...)

Tolstoi war fast der einzige unter den zurückgekehrten bekannten Schriftstellern, der sich in den Hof des neuen Regimes begab. Es scheint, als ob die Diktatur des Proletariats gerade einen richtigen Grafen brauchte. Denn der Graf wurde Abgeordneter des Obersten Sowjets. In dem Ort Detskoje Selo [„Kinderdorf“, das ehemalige Zarskoje Selo, ab 1937 Puschkino], wo er sich Ende der Zwanziger mit seiner Familie niederließ, prunkte an der Tür seiner Villa das Schild „Gr. Tolstoi“, dessen Doppelsinn offensichtlich war. Die Abkürzung „Gr.“ konnte im Russischen als Abkürzung für „Bürger“ gelesen werden und verwies gleichzeitig auf seinen Grafentitel. Diese Doppeldeutigkeit bestätigte auch eine alte Haushälterin. Auf die Frage, ob Tolstoi zuhause sei, antwortete sie am Telefon zur Hochzeit des stalinistischen Terrors ganz arglos: „Seine Erlaucht ist ins Bezirkskomitee gegangen“.

War dieser „Dritte Tolstoi“ (so nannte Iwan Bunin einen Aufsatz über ihn, Bunin, der niemals etwas von den Ersuchen erfuhr, die Tolstoi kurz vor dem Krieg für ihn aufgrund von dessen materieller Lage gestellt hat) glücklich, der schon zu Lebzeiten von Legenden umgeben war und sich standhaft eines nicht gerade schmeichelhaften Rufes unter der Intelligenzija Russlands erfreute? Wahrscheinlich nicht. Und was nun den Streit über die Rechtschaffenheit dieses Schriftstellers angeht, enthalten wir uns vorerst moralischer Urteile. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Studien zu seiner Biographie, eine Erforschung früher unbeachteter Quellen ein neues Licht auf die Rolle werfen, die er in der sowjetischen Literaturpolitik der 30er und 40er Jahre gespielt hat.

(Kurzfassung)

„государства в государстве“, - вспоминал редактор газеты „Руль“ И. В. Гессен, - но навязывалось сравнение с опытом, который был показан в гимназии преподавателем физики и произвел впечатление замечательного фокуса: опущенное в чуждую ему жидкость масло собиралось в шарик и в таком виде независимо держалось“.

В Берлине Толстой написал несколько рассказов об эмиграции и эмигрантах. Среди них – „На острове Халки“ и „Рукопись, найденная под кроватью“, „Черная пятница“. В основу рассказа „Черная пятница“ легли собственные впечатления о его пребывании с семьей в благопристойном берлинском пансионе фрау Фишер. Незыблемость давно заведенного в нем порядка не нарушили ни война, ни изнурительное бремя репараций - те же чистые салфетки в деревянных кольцах на чистой скатерти.

Возможно, замысел рассказа возник у писателя, когда он случайно стал свидетелем возникшей паники у „KaDeWe“ - одного из крупнейших в Европе магазинов - в связи с падением марки. В одной из витрин легендарного „KaDeWe“, сохранившегося до наших дней, висело табло, соединенное с биржей. Показания падения марки менялись каждый час. Богатые берлинцы, находившиеся здесь же, в толпе у витрины, в течение нескольких часов становились нищими.

Толстой не собирался надолго оставаться в Берлине. Город был для него своеобразной „стартовой площадкой“ для возвращения в Советскую Россию. Вполне логично было, прежде чем вернуться в Петроград, где он собирался прочно обосноваться, вначале поселиться в Германии, которая одной из первых признала РСФСР, так что непримиримая часть эмиграции называла ее „красной“, а Маяковский нашел для Берлина промежуточный цвет между красным и белым - он оказался серым. „Белый Париж, серый Берлин, красная Москва“ - так он назвал один из своих докладов. „У власти стоял канцлер Вирт, - писал Эренбург, - он пытался спасти Германскую республику и в Рапалло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмущались... Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись; в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий“.<sup>10</sup>

Толстого в первую очередь интересовало новое политическое движение (хотя он и утверждал, что политикой не интересуется) - так называемое „сменовеховство“. Идеологом „сменовеховства“ - политики налаживания контактов с большевиками - стал бывший белый офицер Н. В. Устрялов. Находясь в Харбине, он публиковал статьи, в которых доказывал, что идея свержения большевиков силой провалилась, и призывал идти на подвиг сознательной жертвенной работы с новой властью в России.

Настроение и дух „Смены вех“ как нельзя лучше отражает, например, одно „письмо читателя“, подписанное „Рабочий“, опубликованное в этом журнале в 1921 году:

„Настоящим письмом, прежде всего, приветствую вас как рабочий, и шлю вам благие пожелания на успехи вашего трудного дела, а главное, чтобы стойко бороться за право русского народа против контрреволюционной интеллигентской эмиграции. Долго и много думал я и никак не мог найти причину, почему столь много славных русских интеллигентских сил стало на сторону русской контрреволюции... Почему? Только потому, что революцию пролетариат совершил не по их указке. Сколько обидно и больно было за ренегатство русской интеллигенции, столько и отрадно видеть часть интеллигенции, осознавшей свои ошибки, сделанные против русской революции, что эта часть интеллигенции честно и открыто заявила об этом и даже создала открыто журнал „Смена вех“...“

Остаюсь с глубоким почтением к Вам. Рабочий.“<sup>11</sup>

Главным редактором газеты „Накануне“, которая по сути дела являлась одним из рупоров „сменовеховства“, был Ю. В. Ключников (он вернулся в Россию с Толстым на одном пароходе), который печатался и в России. Сам же Толстой

<sup>10</sup> И. Эренбург, Люди, годы, жизнь, II, стр. 26.

<sup>11</sup> Цитируется по: „Зеркало Загадок“, Берлин, 1997, № 6, стр. 30.

стал активным сотрудником этой газеты и редактором ее еженедельного литературного приложения, где он публиковал писателей из Советской России - М. Зощенко, С. Есенина, К. Федина, М. Булгакова и многих других.

VI

В апреле на страницах "Накануне" разразился первый политический скандал, связанный с именем Толстого. Председатель эмигрантского Комитета помощи писателям Н. В. Чайковский обратился к Толстому с открытым письмом, которое было помещено на второй странице 17-го номера газеты:

"Милостивый Государь граф Алексей Николаевич!

Обращаюсь к Вам с этим письмом по поручению Исполнительного Бюро Комитета Помощи Русским Писателям и Ученым во Франции. Настоящим прошу Вас, как члена Комитета, объяснить нам, как следует понимать Ваше сотрудничество в органе "Накануне", заведомо издающемся на большевистские деньги и открыто ставящем себе задачу бороться с русской эмиграцией, к которой и мы все, члены Комитета, вместе с Вами, до сих пор себя причисляли. Вам известно, конечно, что Комитет Помощи Русским Писателям и Ученым по уставу имеет своей целью "помогать жертвам событий в России", то есть большевистского террора. Следует ли ему понимать занятую Вами в настоящее время позицию, как открытый переход Ваш под флаг той самозванной власти, которой эти жертвы террора в России обязаны всеми своими муками, лишениями и унижениями? В ожидании ответа -

С почтением  
Н. В. Чайковский."<sup>12</sup>

Ответ Толстого был помещен в этом же номере газеты, на той же странице - под письмом Чайковского. Толстой заявлял, что газета издается на деньги частного лица, "не имеющего никакой связи с нынешним правительством России. "Накануне" есть газета свободная, редакция состоит из членов группы "Смены Вех"."

"Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, - писал Алексей Толстой, - то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных - я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти года погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядьев, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть.

Красные одолели, междоусобная война кончилась, но мы, русские эмигранты в Париже, все еще продолжали жить инерцией бывшей борьбы. Мы питались дикими слухами и фантастическими надеждами. Каждый день мы определяли новый срок, когда большевики должны пасть, - были несомненны признаки их конца... Мы бредили наяву, в трамваях, на улицах... Мы были призраками, бродящими по великому городу...

Затем наступили два события, которые - одним подбавили жару в их надеждах на падение большевиков, на других повлияли совсем по иному. Это была война с Польшей и голод в России.

Я, в числе многих, многих других, не мог сочувствовать полякам, завоевавшим русскую землю, не мог пожелать установления границ 72 года, или отдачи полякам Смоленска, который 400 лет тому назад, точно в такой же обстановке, защищал воевода Шеин от польских войск, явившихся так же по

русскому зову под стены русского города. Всей своей кровью, я желал победы красным войскам. Какое противоречие... Пришло новое испытание: апокалиптические времена русского голода. Россия вымирала. Кто был виноват? Не все ли равно, кто виноват, когда детские трупики сваливаются, как штабели дров, у железнодорожных станций... Все, все мы скопом, соборно, извечно виноваты."<sup>13</sup>

Далее Толстой назвал три пути сохранения русской государственности, из которых два первых он отвергал. Один из них - собрать армию иностранцев и вместе с остатками белой армии вторгнуться в Россию. Кроме того, можно брать большевиков измором и таким образом принимать участие в нескончаемой жестокой бойне, спровоцирован-



А. М. Горький, А. С. Родэ, А. Н. Толстой, А. М. Ремизов, А. П. Пинквейн.  
Берлин 1922 г.

ной революцией. Третий путь - единственный возможный в сложившейся ситуации - это признать реальность существования правительства России. "И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию, и хоть гвоздик собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль. По примеру Петра."<sup>14</sup>

VII

В июне произошло второе крупное столкновение на страницах печати. Повод для него на этот раз подал сам Алексей Толстой, который в литературном приложении к "Накануне" напечатал обращенное к нему из Петрограда письмо Корнея Чуковского. Чуковский невольно отозвался о нескольких писателях "Дома искусств" в Петрограде (в частности, Евгения Замятина он определил "чистоплюем"), назвал их "внутренними" эмигрантами, бесконечно заседающими и получающими пайки. По его мнению, они художественным творчеством не занимались, книг не писали, однако советскую власть "поругивали".

Петроградский Дом искусств был основан по инициативе М. Горького в декабре 1919 года и расположился в бывшем особняке Елисеевых на Мойке 59. Среди живших здесь были известные в будущем писатели О. Форш, М. Шагинян, А. Грин, Н. Тихонов, Вс. Иванов, К. Федин, В. Рождественский. На четвертом этаже флигеля особняка жили и работали М. Зощенко и О. Мандельштам. А в начале 1921 года здесь

<sup>12</sup> "Накануне", 14 апреля 1922 года.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

сложилась творческая группа молодых литераторов "Серапионовы братья", назвавшие себя так в память о литературном обществе, впервые собравшемся в Берлине в квартире Э. Т. А. Гофмана 14 ноября 1818 года (в день святого Серапиона). Горький организовал для молодых писателей семинары по теории прозы и стихотворения. Блок приходил сюда читать лекции по западной литературе, а Чуковский неоднократно выступал с докладами. Ольга Форш посвятила этому дому роман "Сумасшедший корабль". Она писала о нем: "Редкий писатель, ткнув пальцем в то или иное окно, не скажет: "Здесь я жил и писал мой том первый".

Публикация письма Чуковского была расценена в широких эмигрантских кругах как провокация и вызвала негодование, как против самого автора, так и против опубликовавшего его получателя.

На этот раз откликнулась Цветаева, только что приехавшая из России, где (еще и года не прошло) по необоснованному обвинению в контрреволюционном заговоре был расстрелян Николай Гумилев. 7 июня в "Голосе России" было опубликовано открытое письмо Цветаевой Толстому.

*"Открытое письмо А. Н. Толстому*

*Алексей Николаевич!*

Передо мной в №6 Приложения к газете "Накануне" письмо к Вам Чуковского.

Если бы Вы не редактировали этой газеты, я бы приняла свершившееся за дурную услугу кого-либо из Ваших друзей.

Но вы редактор, и предположение отпадает.

*Остаются две возможности: или письмо оглашено Вами по просьбе самого Чуковского, или же Вы это сделали по своей воле и без его ведома.*

"В 1919 году я основал "Дом Искусств"; устроил студию (вместе с Николаем Гумилевым), устроил различные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа, Добужинского, устроил общежитие на 56 человек, библиотеку и т. д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают, - эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому или Чудовскому очень легко: они получают пайки, заседают, ничего не пишут, и поругивают Советскую власть..." - "... Нет Толстой, Вы должны вернуться сюда гордо, с ясной душой. Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватым". *(Курсив, вероятно, Чуковского.)*

Если Вы оглашаете эти строки по дружбе к Чуковскому (просьбе его) - то поступок Чуковского ясен: не может он не знать, что "Накануне" продается на всех углах Москвы и Петербурга! - Менее ясны Вы, выворачивающий такую помынную яму. Так служить - подводить.

Обратимся ко второму случаю: Вы оглашаете письмо вне давления. Но у всякого поступка есть цель. Не вредить же тем, что четыре года сряду таскающим на своей спине отнюдь не аллегорические тяжести, вроде совести, неудовлетворенной гражданственности и пр., а просто: сначала мороженую картошку, потом не мороженую, сначала черную муку, потом серую...

*Перечитываю - и:*

"Спасибо Вам за дивный подарок - "Любовь книга золотая". - Вы должно быть сами понимаете, какая это полная, породистая, бессмертно-поэтическая вещь. Только Вы один умеете писать, что и смешно и поэтично. А полная вещь - вот как дети бывают удачно-рожденные: поднимаешь его, а он - ой, ой какой тяжелый, три года (?), а такой мясovitый. И глупы все - поэтически, нежно-глупы. Воображаю, какой успех имеет она на сцене. Пришлите мне рецензии, я переведу их и дам в "Литературные записки" (журнал Дома Литераторов) - пускай вся Россия знает о Ваших успехах".

Но желая поделиться радостью с Вашими западными друзьями, Вы могли бы ограничиться этим отрывком.

Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, не подозревающий ни о существовании в России ГПУ (вчера ЧК), ни о зависимости всех советских граждан от этого ГПУ, ни о закрытии "Летописи Дома Литераторов", ни о многом, многом другом...

Допустим, что одному из названных лиц после четырех с половиной лет "ничего-не-деланья" (от него, кстати, умер Блок) захочется на волю, - какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануне письмо?

*Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованною землею, меньше всего занята вопросами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу."*

Цветаева назвала в этом письме только одного поэта - жертву большевистского режима - Александра Блока. Однако вероятно подразумевала и гибель Гумилева в том же месяце - в августе 1921-го. Смерть двух поэтов произвела на современников неизгладимое впечатление и воспринималась как предзнаменование "последнего катаклизма". Именно тогда Мандельштам написал безысходно трагическое стихотворение "Концерт на вокзале":

На звучный пир в элизиум туманный

Торжественно уносится вагон:

Павлиний крик и рокот форте пьяный.

Я опоздал. Мне страшно. Это - сон.

Письмо Чуковского и факт его публикации настолько поразили Цветаеву, что она заключила свое обращение следующими словами:

"Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями - круговая порука ремесла, круговая порука человечности.

*За пять минут до моего отъезда из России (11 мая сего года) ко мне приходит человек: коммунист, шапочно-знакомый, знавший меня только по стихам: "С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего".*

*Жму руку ему и не жму руки Вам.*

Марина Цветаева.<sup>15</sup>

Было бы неверным оставить это берлинское столкновение Цветаевой и Толстого без комментария. Цветаева, только что приехавшая из России и знавшая ситуацию там, разумеется, была права, когда указала, что публикация письма Чуковского могла бы повредить многим членам петроградского Дома Искусств.

И все же, просматривая эмигрантские газеты 1920 - 1923 годов, понимаешь, насколько противоречивый и неоднозначный образ советской республики мог сложиться у читателя в Западной Европе. В Берлине активно работала целая пропагандистская сеть, пытавшаяся представить жизнь при Советах в благоприятном свете. Не случайно, например, замечание Цветаевой: "Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованною землею".

Нельзя исключать, что Толстой в 1922 году действительно возлагал надежды на НЭП и надеялся, что времена военного коммунизма были лишь страшным эпизодом, ушедшим в прошлое. Вместе с тем, и лагерь противников новой России - а в нем немало было монархистов-черносотенцев - не мог не вызывать раздражения писателя. Наконец, нельзя забывать о неоднозначности личности самого Толстого. Трудно не заметить параллели, фамильной черты. Граф Лев Николаевич Толстой ушел из дома, а до этого пахал, занимался крестьянской работой. А граф Алексей Николаевич Толстой уехал из Берлина в республику рабо-

<sup>15</sup> Письмо цитируется по книге М. Разумовской, стр. 359-361.

чих и крестьян. Сказанное, по крайней мере, относится к А. Н. Толстому в 1922 г.

В то же время в своей независимой позе оппозиции в оппозиции, а именно так выглядел просоветский граф - он заходил нередко слишком далеко. Так, по свидетельству Берберовой, Толстой печатал в Берлине на машинке научно-фантастический роман "Аэлита", не скрывая, что он предназначен для "Госиздата". Встретив на улице Ходасевича, он возмутился его поношенным костюмом и предложил ему сшить новый у своего портного на средства газеты "Накануне".

Интуиция не обманула Толстого. Он был чуть ли не единственным из возвращенцев - известных писателей, который пришелся ко двору новому режиму. Видимо, диктатуре пролетариата необходим был собственный граф. Граф стал депутатом Верховного совета. В Детском селе, где он поселился с семьей в конце двадцатых годов, над дверью особняка красовалась табличка: "Гр. Толстой", двойной смысл которой был очевиден. Сокращенное "гр." читалось как гражданин и одновременно намекало на его графство. Эту двойственность подтверждала и старая экономка. На вопрос, дома ли Толстой, она по телефону, в разгар сталинского террора, бесхитростно отвечала: "Их сиятельство в райком ушли".

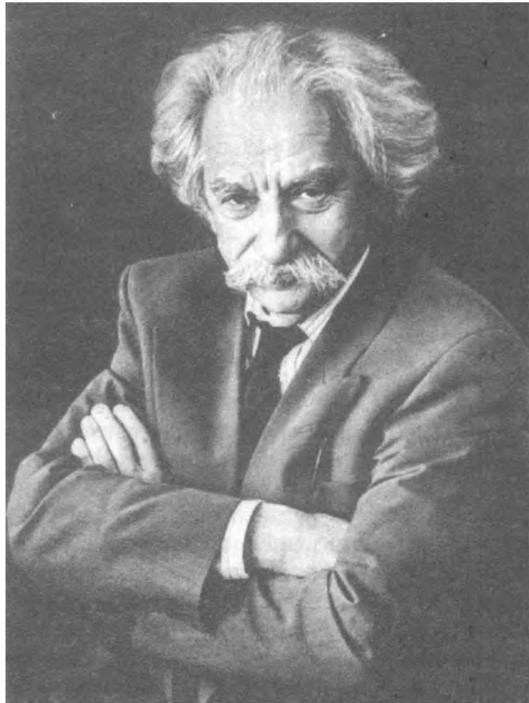
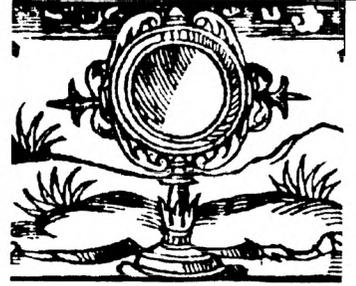
Когда Цветаева вернулась из эмиграции, то в Москве, как известно, ей не нашлось места. "Мы Москву - задарили. А она меня вышвыривает: извергает", - писала она в одном из писем 31 августа 1940 года. Толстой переехал из города Пушкина (бывшего Царского Села) в Москву в 1938 году. Здесь он расположился в роскошном особняке, однако уже в кругу вновь созданной семьи. Но это уже другая, московская история.

Был ли счастлив "Третий Толстой" (так назвал свой очерк о нем Иван Бунин, никогда не узнавший о ходоатайствах Толстого перед самой войной по поводу материального устройства Бунина)<sup>16</sup>, при жизни окруженный легендами и пользующийся устойчивой нелестной репутацией у российской интеллигенции? Скорее всего, нет. Ну а что касается споров о порядочности этого писателя, воздержимся пока от моральных приговоров. Не исключено, что дальнейшие исследования его биографии, изучение ранее неучтенных источников прольют новый свет на ту роль, которую он играл в советской литературной политике 30-х и 40-х годов.

<sup>16</sup> Получив отчаянное письмо от Бунина 2 мая 1941 года, где он сообщал, что «стал совершенно нищ» и погибает с голоду, Толстой 18 июня 1941 года отправил Сталину письмо следующего содержания: «Дорогой Иосиф Виссарионович, я получил открытку от писателя Ивана Алексеевича Бунина... Он пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помощи. Недели позже писатель Телешов также получил от него открытку, где Бунин говорит уже прямо: «Хочу домой». Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример – как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму...». Лит. наследство, т. 84, кн.1, стр. 631.



# Дороги, которыми не суждено пройти...



Юрий Лотман

Юрий Николаевич Тынянов написал немного и жил недолго. Все, что он написал, можно собрать в двести три книги. Историко-литературные, литературно-критические статьи сам он в основном собрал в один том, к этому мы сейчас добавляем не так уж много. И художественные произведения его тоже, пожалуй, вместятся в один хороший однотомник. И тем не менее мы продолжаем, и с каждым годом все больше, обращаться к его наследию. И его наследие, можно сказать словами поэта, "томов премногих тяжелей". Почему?

В книгах, в работах Тынянова для нас сейчас много новых научных идей. Редко гуманитарная книга переживает двадцать – тридцать лет. Срок гуманитарной научной книги, срок ее жизни, не очень долгод. Гуманитарная мысль развивается быстро, веяния меняются и, казалось бы, что двадцать, тридцать, сорок лет мы не обращаемся к тому, что когда-то, в давно уже прошедшую эпоху, волновало и вызывало полемику читателей. Один из недостатков гуманитарной мысли, гуманитарных наук, филологии, в частности, состоит в том, что они, в отличие, скажем, от физики, редко строятся на преемственности. Когда мы говорим об эйнштейновской физике, о том, что она перевернула наши физические представления, мы не говорим тем не менее, что она отбросила ньютоновскую физику, она ее включила в себя, как частный случай. И это общий закон науки.

В гуманитарных науках происходит по сути дела другое. Возникающая новая концепция или новая научная школа очень часто просто отменяют предшествующую, отбрасывают... Это особенность, а может быть, и недостаток развития гуманитарных наук. Но над наследием Тынянова этот закон оказался невластным. Более того, чем дальше мы движемся вперед... А мы сейчас все-таки движемся вперед и очень энергично, гуманитарные науки уже лет двадцать переживают период исключительно интенсивного развития. Конечно, не следует особенно его преувеличивать, да и ра-

доваться особенно не приходится, потому что, чем больше мы идем вперед, тем больше мы обнаруживаем зыбкость наших знаний, обилие нашего незнания. Тем дальше оказывается от нас вот такая достижимость, идеал уже каких-то абсолютных и твердых знаний. Здесь получается как у Гоголя с его формулой сюжета: уже хочешь догнать, хочешь схватить рукой и вдруг помешательство, говорил Гоголь, имея в виду помеху.

Это очень похоже на то, что делается у нас в науке. Но тем не менее движение вперед есть и очень осязаемое. И по ходу этого движения оказывается, что многое из того, что нам казалось прочно достигнутым, завоеванным, интересным, оказалось мишурным и ложным, пустым, картонным, а многое – выдержавшим время и даже имеющим способность развиваться дальше.

И это слово в полной мере относится к Тынянову. Научные идеи можно сопоставить не с булыжниками, которые положишь и они лежат, а с зернами: они должны расти. И тыняновские идеи это зерна, он умер, а зерна растут. И думаю, что сам он сейчас, может быть, немного бы изумился тому, что вырастает из этих зерен. Но все-таки мы сейчас уже видим дерево, и посадил его в значительной мере он.

Тыняновские идеи обладают еще одной особенностью. Когда мы раскрываем очень концентрированные, объемом небольшие, работы Тынянова, мы поражаемся тому, с какими сложными и разнообразными современными представлениями эти работы пересекаются. Тынянов не думал и никогда не слышал, наверное, слова кибернетика, хотя кибернетические идеи уже носились в воздухе (нельзя не вспомнить исключительно глубокие работы Флоренского, других), но целый ряд его представлений не только хорошо объясняется новым подходом, но и стимулирует новый подход. И Тынянова сейчас с интересом читают и как открывателя новых документов, и как пролагателя путей в истории литературы, и как теоретика, раскрывшего глубокие законы языка. А законы языка для нас превращаются в исследования гуманитарных вопросов и не только гуманитарных. Не случайно, каждый раз сейчас возникает, выплывает, как-то становится перед нами проблема более общих закономерностей человеческого сознания... По сути дела, дорог очень много, и тут они идут в разные стороны. Но обаяние работ Тынянова состоит в том, что у него эти проблемы еще не разошлись.

И тут не случайно приходит на память Пушкин. Тынянов исследовал Пушкина, любил его, но есть еще одна особенность. На жизнь Пестеля оказало огромное воздействие то, что он был похож на Наполеона. То, что люди бывают внешне схожи, оказывает очень серьезное воздействие на их са-

мосознание, значит и на их поведение, а через это и на их судьбу. У Тынянова, и это замечали современники, это он сам знал, было сходство с Пушкиным, внешнее и некое сходство в самосознании, в самопостроении личности. У него, конечно, было и некоторое сходство в судьбе.

Я всегда считал, что наша судьба мало зависит от внешних обстоятельств. Мы все говорим, вот, мол, жизнь с нами сделала то да то. Жизнь же с нами сделала только то, что мы ей позволили с нами сделать, и если мы твердо решаем ей что-то не позволять сделать, она этого не делает. Это мое глубокое убеждение, но не стоит сейчас об этом подробно говорить. Обаяние Пушкина состоит, в частности, в том, что, как в зерне собрав будущие пути русской литературы и нашей истории, нашей жизни, он не прошел по этим путям. Эти пути были еще в зерне, они были не только то, что совершилось, было возможно, но еще возможно было и то, что не совершилось, еще было возможно богатство той жизни, которая не прошла и, следовательно, не потеряла многих возможностей. Путь и научные мысли Тынянова тоже были еще непройденной дорогой. Это был тот момент, когда эти идеи были в зерне, они были слиты друг с другом, они имели в себе наш сегодняшний день, но они имели и имеют в себе те пути, ту прелесть, которую юность имеет, когда еще очень много дорог, по которым пройти не будет суждено. Отсюда в работах Тынянова... какая-то молодость есть, молодость мысли.

А ведь молодость есть не только географическая, не только личная, не только физическая, есть еще молодость интеллектуальная. Эта интеллектуальная свежесть не стареет с годами, она не проходит. И в этом чрезвычайно, для меня лично, обаяние работ Тынянова и их стимулирующая роль. Все время к ним обращаешься с вопросом, а какие возможности нам не видны еще, какие дороги мысли есть, по которым мы не пошли. Вернуться снова к перекрестку, как когда-то богатырь, прочесть на камне, что было по этой дороге. Вот как Пушкин хотел сразу по всем дорогам пойти, ему было мало по какой-то одной.

И еще одна вещь, о которой я хотел бы сказать. Обычно противопоставляют Тынянова-ученого и Тынянова-писателя, видят уникальность того, что две эти разные личности слиты в одной. Но я хотел бы отметить, что Тынянов-ученый имеет для нас обаяние искусства. Не Тынянов-ученый плюс обаяние его как писателя, а вот именно ученый. Когда мы читаем научно-исследовательскую литературу, то, как правило, не интересуемся личностью того, кто пишет, или интересуемся, но отдельно, мы ее не чувствуем в их трудах. Нам очень интересно читать об Эйнштейне, о Павлове, о других ученых. Это могут быть замечательные люди, действительно замечательные, но когда мы следим за их научной мыслью, мы отвлекаемся от их личности. От личности Тынянова я лично не отвлекаюсь, даже лицо его как-то все время видно сквозь... Один остроумец конца восемнадцатого века говорил, что он не признает прозы, у которой нет жеста, не признает прозы, у которой нет выражения лица... Проза Тынянова, который принадлежал к формальной школе и много занимался такими вопросами, как словесный жест, имеет выражение лица, она наполнена личностью. Я имею в виду научную прозу. И в этом тоже ее синтетический характер, и в этом тоже что-то мыслится не от прошедшего, а может быть, от будущего нашей науки.

Стенограмма видеозаписи к телевизионной передаче "Юрий Тынянов. Писатель и ученый..." (Москва, ЦТ, 1983) Запись сделана в мае 1982 г. в Резекне (Латвия), где Ю.М. Лотман принимал участие в Первых Тыняновских чтениях. Сюжет был записан на берегу реки, экспромтом, отсюда некоторая сбивчивость речи, впрочем, очевидная только в стенографической расшифровке, но не в естественном исполнении, где слушатели всегда оказывались под воздействием живой мысли и исключительного личного обаяния ученого.

Предоставлена для публикации В. Шубиним.

## Горе от ума

Захарий Плавский

### Филологический рассказ

Кто не знает выражения "горе от ума", восходящего к названию знаменитой комедии А. С. Грибоедова? Это выражение нередко употребляют для характеристики душевного состояния тех, кто, подобно герою пьесы Чацкому, болезненно переживает конфликт с обществом, которое не понимает и не принимает его критических оценок. А вот словосочетание "неуправляемый подтекст" может показаться некоторым из читателей, особенно молодым, недостаточно ясным.

Слово "подтекст" определяется Литературным Энциклопедическим Словарем как "подспудный, неявный смысл, не совпадающий с прямым смыслом текста"<sup>1</sup>. Сочетание же его со словечком "неуправляемый" вошло в обиход в советские времена. Это тогда ретивые цензоры, официальные или добровольные, искали и обнаруживали в произведениях русских и зарубежных, даже классических писателей, нежелательные ассоциации с советской действительностью. Это случалось даже тогда, когда автор и не мог помышлять ни о чем подобном. Произведения, естественно, запрещались на долгие годы, а то и навсегда. Нечто подобное произошло с очерками одного испанского писателя, который жил более полутора столетий тому назад. Его судьбе на разных этапах России я и хочу посвятить сегодняшний рассказ.

#### Об одной удавшейся стратагеме

В 1877 г. на светском рауте в Петербурге уже тяжело больного Николая Алексеевича Некрасова познакомили с молодой переводчицей Марией Валентиновной Ватсон, которая именно в это время готовила к печати свои переводы с испанского.

Некрасов встрепенулся:

- С испанского? Я и сам в некотором роде грешил переводами с испанского...

- Вы имеет в виду стихотворения "Из Ларры"?

- Именно-с, именно их... А вас что-то смущает?

- Видите ли, я как раз перечитываю и перевожу Ларру. Насколько я знаю...

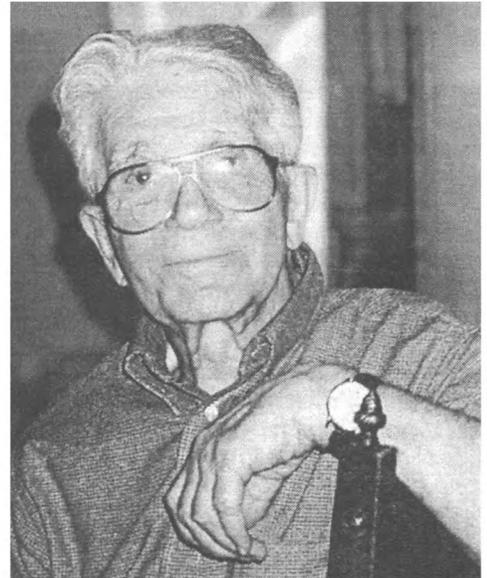
Некрасов усмехнулся и, наклонившись к переводчице, произнес драматическим шепотом:

- Насколько мы знаем, стихов Ларра, кажется, вовсе не писал, а те стихотворения, которые я якобы перевел, тем более. Признаюсь по секрету, что с моей стороны это была одна стратагема и ничего больше.

<sup>1</sup> Литературный Энциклопедический Словарь. М., 1987, с. 284.

# или неуправляемый подтекст

Захарий Исаакович Плавский – профессор, доктор филологических наук, с 1948 по 1994 годы преподавал в Ленинградском (Санкт-Петербургском) университете; в настоящее время живет в Нью-Йорке. Член Международной Ассоциации Сервантистов и Российской Ассоциации Испанистов. З. Плавский за время своей научной деятельности опубликовал свыше 200 печатных работ по истории литературы народов Испании и Латинской Америки, в том числе 13 книг.



- Стратегема? В каком смысле?  
- Ну, если желаете яснее, просто уловка. Оригинал моих "переводов" в сочинениях испанского писателя не существуют вовсе.  
- Одним словом, это была мистификация?  
- Да, конечно, с целью обхода препятствий... В прежние времена в России иные мои стихотворения не прошли бы, если бы не выдал их за перевод с какого-нибудь малоизвестного языка. А имя Ларры такое звучное и поэтическое; легко поверить, что он писал стихи...<sup>2</sup>

Исследователи творчества Некрасова утверждают, что это имя русскому поэту впервые попало на глаза в начале 1840-х гг. Они ссылаются при этом на статью, которую Некрасов опубликовал в 1843 г. в "Литературной газете". Рецензируя сборник стихов некоего Старожила, поэт, в частности, приводит четверостишие из поэмы автора об Испании:

Гонзальва родина и Лары,  
Страны, где был презрен разврат,  
Где волхование, и чары,  
И ересь на костре горят.

До последнего времени комментаторы творчества Некрасова считали, что в этом четверостишии упоминаются имена двух испанцев: полководца XV в. и прозаика XIX в. Например, в авторитетнейшем, академическом издании сочинений и писем Некрасова, вышедшем под грифом Института Русской Литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР, воспроизводится комментарий одного из предшествующих изданий (1950) с незначительными дополнениями: "Фернандо Гонзальва – граф кастильский (1453–1515), испанский полководец; Лара (Мариано Хосе де Ларра, 1809–1837) – испанский писатель-сатирик, критик и публицист".<sup>3</sup> Комментаторы ошибаются. На самом деле здесь речь идет о героях средневековой испанской эпической поэмы Гонсало Бустьосе и одном из его семерых сыновей, инфантов Лары, где "Лара" – название принадлежавшего их роду городка.

Неизвестно, отождествлял ли Некрасов в 1843 г., когда писал свою рецензию, инфанта Лары с сатириком XIX в. Ларрой, как это делают его комментаторы. Но несомненно, что уже при издании своих стихотворений в 1856 г., в том числе одних с подзаголовком "Перевод с испанского. Из Ларры", а других – просто "Из Ларры", имя Мариано Хосе де Ларры

было ему известно и использовал он его не только потому, что оно действительно "звучное и поэтическое". Ведь еще в 1848 г. в некрасовском журнале "Современник" был напечатан перевод статьи французского публициста и критика Шарля де Мазада, обстоятельно характеризовавшей жизненный путь, мировоззрение и творчество испанского сатирика. Перевод был осуществлен и представлен в "Современник" другом Некрасова Василием Петровичем Боткиным, который незадолго до этого вернулся из путешествия по Испании и публиковал в том же "Современнике" свои "Письма об Испании" (1847–1849), один из самых достоверных рассказов на русском языке о заперенейской стране. Правда, ко времени пребывания Боткина в Испании Ларры уже не было в живых, но споры о его личности и творчестве не утихали и в сороковые годы, о чем свидетельствовала и статья Мазада. Не приходится сомневаться, что перевод этой статьи Боткин сопроводил обстоятельными устными комментариями. В испанском писателе Некрасов почувствовал единомышленника, увидел близость убеждений. Именно поэтому он и решил приписать Ларре несколько своих самых сокровенных творений.

Сборник стихотворений 1856 г. поэт составлял тяжело больным и был почти уверен, что это – его последняя книга. Поэту он придал ей как бы итоговый характер. Однако этот сборник стал не только итогом, но и дверью в будущее. После смерти Николая I в 1855 г. появилась надежда на то, что реакцию сменит пора либеральных реформ. Чуткий к переменам общественных настроений, Некрасов включил в книгу стихотворения, которые предвещали "мятежные" шестидесятые. Сборник, например, открывало одно из самых доньше известных произведений Некрасова "Поэт и гражданин". В нем, как и во многих других произведениях, включенных в сборник, господствует лирическое начало, в котором органично слились гражданские и интимные чувства. "То, что гражданское для него становилось личным, а личное сплошь и рядом принимало характер гражданского", один из крупнейших исследователей Некрасова В.Е. Евгеньев-Максимов справедливо считал самой яркой чертой его поэтического таланта.<sup>4</sup>

Эта особенность некрасовского поэтического видения характерна и для интересующих нас стихотворений "из Ларры", вошедших в сборник 1856 г. Первое из них – "Я за то

<sup>2</sup> Разговор Некрасова с М. В. Ватсон пересказан в ее предисловии к переводу очерков Ларры в "Вестнике Европы", 1878 г., № 5.

<sup>3</sup> Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем в пятнадцати томах. Т. XI. Л., "Наука"- Ленинградское отделение, 1989, с. 400. Главный редактор издания Н. Н. Скатов, редакторы тома Ф. Я. Прийма, Т. С. Царькова.

<sup>4</sup> Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Некрасова. Т. II. М. Л., 1950, с. 268.

глубоко презираю себя..." – было по признанию самого поэта написано в 1846 г. "во время гощения у Герцена". Далее он поясняет: "Может быть, навеяно тогдашними разговорами". Члены герценовского кружка в Москве действовали гораздо активнее петербургского окружения Некрасова и к этой активности призывали и поэта. Основной мотив стихотворения – горькое осознание того, что жизнь прожита нелепо, без высокой цели. Поэт осуждает тех, кто подобно лирическому герою, живет, "день за днем бесполезно губя", и "потратил свой век, никого не любя".

Два других стихотворения близки по содержанию и построению: суждения поэта об окружающем мире опираются на впечатления детства, прошедшего "в деревне полудикой". Особую известность приобрело стихотворение "Родина". Один из членов кружка "Современника" назвал это стихотворение "задушевною скорбною исповедью об юношеских летах Некрасова", исповедью, которая "не чернилами, а кровью писалась". Однако "Родина" – не только полное горечи воспоминание о детстве, прошедшем в помещичьей усадьбе, но и гневное обличение крепостничества, всего уклада жизни тогдашней России, на что намекало само название стихотворения. Именно это, быть может, понравилось более всего Белинскому, когда в 1844 г. Некрасов прочел ему набросок начальных строк произведения. "Белинский пришел в восторг, ему понравились задатки отрицания... Он убеждал продолжать", – вспоминал позднее Некрасов. Поэт продолжил работу и завершил стихотворение два года спустя. В многочисленных рукописных копиях, распространявшихся с легкой руки Белинского в России и за рубежом, чаще всего сохранялось название "Родина". Но в печати оно прозвучало бы слишком криво и в сборнике Некрасов заменил его заголовком "Старые хоромы" и снабдил подзаголовком "Из Ларры". Но и в этом варианте Некрасов вынужден был заменить строки, содержавшие наиболее резкое обличение крепостного права, строками из точек, либо более нейтральным текстом. Лишь в 1867 г. это стихотворение было напечатано в России полностью и без цензурных искажений. Более благополучно прошло цензуру стихотворение "В неведомой глуши, в деревне полудикой...", написанное в том же 1846 г. В центре его стоит биография лирического героя, но здесь этот образ гораздо ближе к облику самого автора, иногда почти сливаясь с ним. И в этом стихотворении изображение быта помещичьей усадьбы обретает обличительный общественный смысл, но в отличие от предыдущего произведения герой вырывается из мира разврата, злобы и преступлений благодаря вспыхнувшей в его сердце чистой любви.

Сборник 1856 г. имел у публики огромный успех; "такого не бывало со времен Пушкина", – писал, например, Тургенев Герцену. Не сразу доброжелатели Некрасова заметили странное и почти единодушное молчание прессы. Это ледяное молчание, как вскоре выяснилось, было следствием крайне негативной реакции властей на появление сборника. Во все цензурные комитеты были разосланы грозные распоряжения о безусловном запрете перепечатки сборника или отдельных стихотворений из него. Автором этих предписаний был князь Петр Андреевич Вяземский... Да, да, тот самый друг Пушкина, "любезный Вяземский, поэт и камергер". Тот, кого Николай I всю жизнь ненавидел как фрондера, но кто с годами вполне примирился с правительством, и Александр II назначил его товарищем (заместителем) министра народного просвещения, а год спустя, через два месяца после выхода в свет книги Некрасова, главой цензурного ведомства. В одном из документов, написанных Вяземским, книга Некрасова характеризовалась как "грубый, озлобленный и раздражающий политический стихотворный памфлет на целое коренное устройство общества".<sup>5</sup> Это послание до сих пор хра-

нится в архиве в папке, еще в те времена озаглавленной "О перепечатывании (так! З.П.) стихотворений Некрасова". Не трудно догадаться, какие преграды вставали перед произведениями поэта в последующие годы; даже подзаголовок "Перевод с испанского. Из Ларры" не всегда помогал.

Новое стихотворение "из Ларры", датированное 1856 г., было напечатано лишь 5 лет спустя, в 1861 г. под названием "Тяжелый год – сломил меня недуг..." На это раз, однако, этот подзаголовок понадобился поэту для того, чтобы замаскировать глубоко личный характер стихотворения, повествующего о размолвке с любимой женщиной. В какой-то мере личными мотивами продиктовано и появление подзаголовка в стихотворении "Ликует враг, молчит в недоуменье..." Оно было написано в апреле 1866 г. вскоре после того, как поэт, желая спасти свой журнал, которому угрожало закрытие, проявил малодушие и прочел в Английском клубе в Петербурге стихотворное приветствие М.Н. Муравьеву, прозванному за крайне жестокое подавление польского восстания Вешателем. Чувство стыда и раскаяния в содеянном продиктовали поэту эти горькие строки.

Об испанском писателе Некрасов вспомнил и много позднее, в 1874 г., задумав опубликовать свое стихотворение "Пророк", посвященное еще сидевшему тогда в Вилюйской тюрьме Н.Г. Чернышевскому. Создавая обобщенный образ героя-борца, сознательно жертвующего собой ради служения добру, Некрасов заботился не о верности фактам, а стремился нарисовать идеал общественного деятеля, каким представляли его соратники Чернышевского. Не желая, чтобы царская цензура догадалась о том, кто является героем этого стихотворения, Некрасов долго колеблется, кому из зарубежных писателей приписать авторство. На черновых набросках сохранились надписи "из Байрона", "из Ларры", но в конце концов он объявляет автором французского поэта Огюста Барбье, чей сборник стихов "Героические созвучия" (1843) представляет собой стихотворные портреты великих людей.

Приписывая свои программные стихотворения Ларре, Байрону, Барбье, Некрасов отнюдь не намеревался вводить в заблуждение своих просвещенных читателей. С него было достаточно, что своей "стратагемой" ему иногда удавалось усыпить бдительность служителей царской цензуры. Боюсь, что подобная мистификация не обманула бы цензоров советского времени, обнаруживших "неуправляемый подтекст" и в самих произведениях Ларры.

#### Горе от ума по-испански

Мариано Хосе де Ларра прожил всего неполных 28 лет, десять из которых он посвятил литературной деятельности. Ларра написал роман, несколько пьес, но всем видам литературы он предпочитал публицистику. В газетах и журналах



Марио Хосе де Ларра

<sup>5</sup> Цитирую по книге В. Е. Евгеньева-Максимова, т. II, с. 298.



Н. А. Некрасов

Мадрида регулярно появлялись его литературно-критические статьи, театральные рецензии, очерки нравов и политической жизни страны. Постепенно преобладающей становится политическая сатира. Нередко в острый политический памфлет превращались даже бытописательный очерк или театральная рецензия.

Однажды, например, редактор "Испанского обозрения" попросил Ларру написать о постановке новой пьесы "Нумансия".

- Новой? Да ведь со времен Сервантеса это уже третья пьеса о Нумансии.

- Что поделаешь? – вздохнул редактор. – Тема-то весьма патриотическая...

Действительно, героическое сопротивление испанского горodka Нумансии завоевателям-римлянам во II в. до нашей эры стало символом борьбы испанского народа за свободу. "Нам, испанцам, очень нравится свобода, особенно в пьесах", - усмехнулся Ларра и тут же решил эту фразу включить в рецензию.

Трагедия, как быстро убедился критик, не обладала особыми литературными достоинствами, да и постановка была вполне заурядной. Но сопоставив давние исторические события с политической жизнью Испании 1830-х гг., Ларра создал сатирический памфлет, бичующий многие пороки современной действительности. Короткую заметку он завершил словами, которые сейчас знает каждый образованный испанец: "Занавес, падая, вдруг остановился на полпути... Казалось, что он движется по пути прогресса... Он опускался даже медленнее, чем поднимаются из праха наши отечественные свободы".<sup>6</sup>

Политические очерки Ларры, как правило, написаны "на злобу дня". События, их вдохновившие, давно стали достоянием истории. Однако сатирик мастерски просеивает свои злободневные наблюдения сквозь сито общечеловеческих нравственных ценностей. Вот почему его эссе до сих пор сохраняют интерес, остроту и актуальность. Приведу несколько примеров.

Многие очерки из журнала "Письма простодушного болтуна", издававшегося самолично Ларрой на заре его литературной деятельности, посвящены описанию фантастической страны "Батуэкии". Жители этой страны ничего не пишут и не читают ("О, блаженное сознание бесполезности образования и знаний!" - комментирует это сообщение писатель). К тому же язык дан батуэкам "для того, чтобы молчать... глаза для того, чтобы видеть то, что нам хотят показать, слух для того, чтобы слышать лишь то, что нам желают сказать, а ноги для того, чтобы шагать куда нас ведут". Батуэкия – это, конечно, Испания времен Ларры. Но разве эти слова не звучат сегодня во многих странах столь же современно, как и сто семьдесят лет назад?

Еще пример. В середине 1830-х гг. на политической арене Испании боролись три силы: ретрограды-консерваторы, немногочисленные демократы и буржуазные либералы из партии "Умеренных". В своем очерке 1834 г. Ларра изобра-

жает их в виде трех групп масок, столкнувшихся в карнавальной зале. Старики-консерваторы все время хулеют, лишаясь своих былых сторонников, и непрерывно отступают, ибо головы и ноги у них вывернуты назад. О демократах писатель отзывался с сочувствием, но вместе с тем чуть-чуть иронически: они не идут, а бегут, причем "высокие приседают, а низкие подпрыгивают, - все они жаждут быть равными". Третью, самую многочисленную группу составляют сторонники "золотой середины", то есть "умеренных", стремившихся всех примирить. В этом описании многое напомнит читателю о современных политических партиях и группах.

Зимой 1834 г. "умеренные" пришли к власти, провозгласив своим девизом "разумную свободу". Ларра очень скоро, однако, пришел к выводу, что "разумная свобода" мало чем отличается от "неразумного деспотизма". По-прежнему, утверждает сатирик, Испания делится "на два класса: людей, которых арестуют, и людей, которые арестуют". Другим проявлением бесправия и произвола Ларра объявляет продолжающую свирепствовать цензура. "С тех пор, как мы обладаем разумной свободой печати, едва ли найдется какая-нибудь разумная идея, о которой можно было бы написать что-нибудь разумное" – пишет Ларра.

"Умеренные" отвергают всякие решительные действия, предпочитая им полумеры, преимущество которых, как иронически замечает писатель, заключается в том, что они - "верное средство от праздности". Впрочем и полумеры чаще всего заменяются обещаниями, ибо слова, по их мнению, надежнее дел, которые всегда можно отложить до более "подходящих" времен. А из слов "умеренные" предпочитают слова-пустышки, "универсальный бальзам, исцеляющий от любых недугов" (об этом см. печатаемый в приложении очерк "Пока что"). Картины всеобщего равнодушия к судьбам родины, невежества, карьеризма и циничного политиканства порождали у Ларры все более негодующий пессимизм. Сатирик уже давно пришел к выводу, что "просить свободу у министров – все равно, что ожидать груш с осины". Но и в способности народа постоять за себя он долго сомневался. Только в самые последние годы жизни он замечает признаки растущего возмущения масс и, чтобы способствовать этому процессу, даже выдвигает свою кандидатуру на выборах в кортесы (парламент). 1 августа 1836 г. он был избран, а 12 августа парламент распустили еще до того, как он собрался на первое заседание. Народ безмолвствовал. Для Ларры это стало крахом всех его самых сокровенных чаяний. "Писать в Мадриде – это значит рыдать", - пишет Ларра в очерке "Зимние часы". А в эссе "Ночь поминовения усопших 1836 г." столица Испании предстает как "обширное кладбище, где каждый дом – фамильная усыпальница, каждая улица – склеп, в котором похоронено какое-нибудь событие, и каждое сердце – урна с прахом утраченных иллюзий и желаний".

Свои очерки Ларра чаще всего подписывал псевдонимом "Фигаро", веселого и вездесущего героя трилогии Бомарше. У меня, однако, образ писателя ассоциируется скорее с Чацким из "Горя от ума" и самим Грибоедовым. Известно, что прототипами при создании образа Чацкого послужили философ Чаадаев и поэт Кюхельбекер. Однако несомненно, что Чацкий отчасти и "alter ego" (другой "я") самого Грибоедова. Более того: литературный герой Чацкий – один из тех типов, в которых наиболее полно и разнообразно воплощены черты передового человека своей эпохи. Вот почему у Чацкому, и Ларре вполне подходит пушкинская характеристика Грибоедова как "озлобленного гения", если ее понимать как способность гениально проникать в самую суть происходящего и беспощадно обличать пороки общества.

<sup>6</sup> Все цитаты из очерков Ларры воспроизводятся по изданию: Ларра, Мариано Хосе де. Сатирические очерки. М., 1956.

"Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов", - писал Грибоедов одному из своих друзей. Ларра мог бы подтвердить, что и под знойным небом Испании быть мечтателем безумно трудно. Чацкого один день пребывания в доме Фамусова довел до такого отчаяния, что общество легко поверило слуху о его сумасшествии. Ларру тоже и при жизни и после смерти некоторые считали безумным. Но ни Чацкий, ни Ларра вовсе не лишились рассудка. Образ мыслей и круг их интересов очень близки; такие идеи Чацкого как "служить бы рад, прислуживаться тошно", или "дым Отечества нам сладок и приятен" и многие, многие другие мог бы повторить и испанский писатель. Разочарование и отчаяние обоих порождены верной оценкой безвременья, в котором жил Ларра и был "придуман" Чацкий. И Ларра, и Чацкий пережили истинное горе от ума, которое у них усугублялось крахом личной жизни. Разрыв с горячо любимой женщиной стал последней каплей, переполнившей чашу отчаяния. Только Чацкий в финале пьесы решает навсегда покинуть Москву, а Ларра поставил точку, выстрелив себе в сердце. Это случилось в феврале 1837 г., через три дня после того, как на другом конце Европы погиб Александр Сергеевич Пушкин. Между этими двумя событиями нет видимой связи, но все же...

### Приключения Ларры в стране Советов

В 1898 г. М.В. Ватсон опубликовала отдельной книгой перевод очерков Ларры. В последующие десятилетия испанского писателя в России изрядно позабыли. Новая фаза в освоении русскими читателями его творчества началась в конце 1940-х гг. В это время я был начинающим преподавателем испанской литературы в Ленинградском университете. Собирая материалы для курса лекций, я впервые основательно познакомился с творчеством Ларры и увлекся им, как потом оказалось, на всю жизнь. Об этом увлечении я как-то рассказал моему старшему другу и коллеге Константину Николаевичу Державину. Это был человек прекрасной души, великого таланта и разносторонней образованности. Он был автором более 150 печатных трудов, в том числе великолепных монографий о Вольтере и о французском театре эпохи буржуазной революции XVIII в., первой на русском языке "Истории болгарского театра", серии книг о выдающихся русских актерах и Александринском театре в Петербурге-Петрограде-Ленинграде, перевода нескольких испанских плутовских романов и многого другого. Тем не менее, в 1948 г. его "разжаловали" в университете из профессоров в ассистенты, когда выяснилось, что он не имеет никаких ученых степеней и званий в СССР, хотя в Болгарии был избран членом-корреспондентом национальной Академии Наук.

Мои восторги от знакомства с Ларрой он вполне разделял, но на предложение совместно подготовить к переводу и изданию сборник очерков испанского сатирика реагировал сдержанно.

- Друг мой, известно ли вам, что такое неуправляемый подтекст?

Я честно признался, что до сих пор не встречал этот научный термин.

- Никакой он не научный, - отмахнулся Константин Николаевич. - А просто повод для цензуры запретить что-либо.

Не буду повторять, что он рассказал мне на этот счет; суть его разъяснений читатель уже знает из вводных строк к этому очерку.

- А у Ларры, - закончил Константин Николаевич, - этого "неуправляемого под текста" столько, что ни одно издательство не решится опубликовать его сейчас, в разгар борьбы против так называемого космополитизма и так называемого низкопоклонства перед "иностраниной".

По неопытности в издательских делах я пытался возражать, но мой собеседник напомнил мне о судьбе своей книги о Сервантесе. За год до этого разговора издательство отказалось от публикации замечательной книги Державина на основании разгромной рецензии одного молодого московского испаниста, обвинившего автора во всех модных тогда смертных грехах.

К разговору о Ларре мы возвращались еще не раз. Однажды Константин Николаевич сказал:

- Кажется, я придумал, как сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы...

Он предложил попробовать опубликовать избранные очерки Ларры по-испански в качестве пособия для чтения студентам испанских отделений. Эта "стратагема" поначалу нам удалась сравнительно легко: заручившись договором с московским издательством, мы принялись за работу. И летом 1952 г. отправили в Москву объемистый пакет с испанским текстом отобранных нами очерков, предисловием и примечаниями.

Ответ мы получили незадолго до Нового года. Издательство официально извещало нас о расторжении договора в связи с отрицательным отзывом "внештатного редактора". Этим редактором оказался все тот же московский испанист, который в свое время перекрыл дорогу книге о Сервантесе. На этот раз он обвинил нас во множестве "политических ошибок", например в цитировании высказываний одного "франкистского профессора" (на самом деле ученого весьма либеральных взглядов) и в других не менее значительных прегрешениях. Все эти обвинения были ложными. Все, кроме одного: в конце отзыва он приводил многочисленные цитаты из очерков Ларры, которые содержали очевидный "неуправляемый подтекст". Испанский язык нас не спас. Тут он был прав. Приведу несколько цитат из тех, на которые ссылался наш "внештатный редактор": "Наша родина всегда одинакова, вечно она играет со своим счастьем в кошки-мышки"; "О чем нельзя говорить, о том умолчите"; "В те блаженной памяти годы... у нас происходило как раз то же самое, что в школе у Платона, а именно говорил только учитель, обучая нас безмолвию", и т. д.

Наличие "неуправляемого подтекста" и в этих, и в других цитатах, подобранных нашим обвинителем, несомненно. А доказывать, что это было написано много лет назад и про Испанию, не имело смысла. Мы все-таки послали издательству протест, но не удостоились даже ответа.

К мысли об издании очерков мы вернулись лишь во время хрущевской "оттепели". Было решено не дополнять вышедший за 50 лет до того сборник переводов М.В. Ватсон (ведь переводы, как и люди, стареют), а заказать новые. Летом 1954 г. издательство "Художественная литература" заключило с нами договор, поручив нам определение состава книги, написание предисловия и примечаний. К работе были привлечены многие переводчики, как опытейшие, так и молодые. Два с лишним года пролетели как один день. К концу 1956 г. книга, включавшая около 60 лучших очерков Ларры, вышла из печати. Увы! Константин Николаевич не дожид до этого дня. Он умер 53 лет, так и не успев завершить новый вариант своей книги о Сервантесе. Мы это сделали за него, в 1958 г. она вышла под редакцией и с предисловием профессора А.А. Смирнова и автора этих строк.

Тем временем книга Ларры находила пути к своим русским читателям. Все 90 тысяч экземпляров тиража были распроданы. Об успехе книги у читателей я узнал однажды совершенно случайно. Сидевшие впереди меня в троллейбусе два парня беседовали... о Ларре. Один из них достал знакомую книгу в оранжевом переплете и стал перелистывать ее, открывая страницы с закладками.

- Вот, послушай: "Что могло бы принести с собой русское нашествие? В крайнем случае несколько лет деспотического правления". А вот еще: "Не знаю, кто из пророков сказал, что

великий талант заключается не в том, чтобы знать, о чем нужно говорить, а в том, чтобы знать, о чем следует молчать". Или: "В политике, как и в трагедии, народу труднее всего завоевать свободу"...

Он еще долго листал книгу и читал вслух. Признаюсь, я заслушался и проехал свою остановку.

Приключения Ларры в стране Советов на этом не закончились. Лет через восемь во время московской командировки меня пригласила к себе в кабинет заведующая редакцией романских языков издательства "Высшая школа".

- Я перед вами виновата. Ведь когда-то в моей редакции шла книга Ларры на испанском языке. Тогда я вынуждена была согласиться расторгнуть договор с вами... Давайте теперь возобновим его.

Я, конечно, согласился, забыв, что иногда история повторяется. За время, которое понадобилось для подготовки вновь книги к печати, "оттепель" сменилась брежневским "застоем", явно тяготевшим к прошлому. В 1967 г. книга вышла все-таки, но изрядно похудев по сравнению с русским переводом. "Неуправляемый подтекст" снова стал преступлением. С тех пор очерки Ларры начали самостоятельное путешествие по просторам России. Уже и страны Советов нет, а тексты испанского сатирика по-прежнему созвучны нашим дням. Разве в России сегодня не актуальны следующие строки из "Первого ответа иноземного либерала местному либералу": "У вас, говоришь, нет денег... Ну и что? Ничего. Одной нищей страной больше. Не имея ломаного гроша за душой, вы признали старые долги. Ну и что? Ничего, одним долгом больше. Вам пришлось прибегнуть к займу. Что ж из этого? О, мелочные души! Ничего, одним займом больше."

А я так и не смог расстаться с испанским сатириком. Многие годы я собирал материалы для книги о нем. Мне хотелось показать, что он не одинокий гений, как писали о нем иные, и не талантливый подражатель своим английским и французским предшественникам, как утверждали другие. Я полагал, что в Испании была своя прочная традиция сатирической публицистики, возникшая еще в XVI-XVII вв. Надо только найти промежуточное звено и искать его следует в бурных десятилетиях начала XIX в.

Однако испанская публицистика и, в частности, журналы тех лет очень плохо представлены в русских библиотеках. А о командировке в Испанию или Канаду, где эти журналы сохранились, я и мечтать не мог. С 1949 г. я стал "невыездным" меня не пускали даже на Кубу и в страны "Социалистического лагеря". Пришлось собирать материалы в русских хранилищах. И здесь меня ждали удивительные удачи. В архиве Внешней политики России сохранились, например, листовки времен испанской революции 1820-1823 гг., когда-то сорванные с мадридских стен агентами русского посольства; в московской Библиотеке иностранной литературы я обнаружил памфлеты тех лет, не отмеченные ни в одном каталоге; в ленинградской Публичной библиотеке нашел отдельные номера старинных испанских журналов. Ну, и мир оказался не без добрых людей. Из Британского музея прислали бесценные микрофильмы трех важнейших журналов тех лет, а из мадридской Национальной библиотеки электрокопии нескольких редких книг. Все это легло на мой письменный стол рядом с журнальным и книжным вариантами текста очерков Ларры. На осмыслении всех этих разнообразных источников и формировалась постепенно книга "Мариано Хосе де Ларра и его время", которая появилась на книжных прилавках в 1977 г.; год спустя она была защищена как докторская диссертация, а еще через год какими-то путями достигла Испании, о чем барселонская газета "Вангвардия" сообщала в редакционной заметке под заголовком "Там, где меньше всего ожидали". Напрасно не ожидали, ибо творчество Мариано Хосе де Ларры ныне уже стало достоянием русских читате-

лей, а также предметом исследований учеными России и, значит, частицей ее культуры.

Январь-июнь 2001 г., Нью Йорк

## Приложение

### Пока что

В нашей предыдущей статье, в которой мы защищали полицию, мы вскользь упомянули о том, что бывают на свете хорошие вещи; и, по нашему обыкновению, непровержимо доказали, что одна из них – полиция. Так как мы не можем даже допустить мысли, что кто-нибудь из наших читателей способен усомниться в справедливости приведенных нами доводов, то сегодня займемся тем, что докажем другую истину, еще более неоспоримую, а именно: раз установлено, что существуют слова, похожие на вещи, то, значит, следует признать, что бывают также и хорошие слова.

На первый взгляд может показаться, что все слова хороши, если они служат для разговора. Это, однако, заблуждение и превеликое. Бывают слова дурные, весьма дурные сами по себе, без всяких дополнений. Каждое подобное отдельно взятое слово уже является целым предложением и содержит в себе вполне законченный смысл, хотя обычно лишено всякого здравого смысла. Одно такое слово стоит целого рассуждения, и вдобавок еще само приглашает порассуждать. Услышали вы, например, слово "свобода" – одно это маленькое словечко вызывает представление о крайне длинной и скучной комедии. А когда кто-нибудь слышит слово "печатать" – не мерещатся ли ему за этим словом цензура, преодоление непреодолимого, квадратура круга, великая неразгаданная тайна? Эти слова, вообще говоря, плохие слова. Хороши лишь те, которые сами по себе ничего не означают, как, например.

"благоденствие", "просвещение", "справедливость", "возрождение", "эра", "светоч", "ответственность", "прогресс", "реформа" и т.д. и т.п. Эти слова не имеют точного и определенного смысла; одни понимают их так, другие этак, а третьи и вовсе никак. Они хороши, потому что мягки как воск и принимают любую форму; они-то и дают больше всего пищи для любых разговоров. Нет такой идеи, которой с их помощью нельзя было бы обосновать, нет такого умозаключения, которое невозможно было бы при их посредстве доказать, нет такого народа, который нельзя было бы ими убедить. Именно эти слова и походят на вещи.

Так вот, когда два подобных ничего не значащие слова, бывает, встречаются в пути, они тотчас же сливаются в силу удивительного филологического сродства. От этого в них не прибавляется смысла; напротив, вместе они значат как будто еще меньше, чем порознь: здесь эти хорошие, эти чудные слова имеют обыкновение превращаться в то, что мы в просторечии называем чудными словами.

Такие мысли пришли нам в голову, когда мы начертали на бумаге заголовок этой статьи. О слове "пока" мы пока помолчим. Но никто не станет отрицать, что словечко "что" значит немного, когда стоит особняком. Вот два превосходных слова и пусть они соединятся, как им будет угодно. Слейте словечко "что" и "не", вы получите "нечто". Но ведь всякому известно, что нечто это что-то ускользающее от наблюдения, то есть ничто и ничего не означает. Вставьте в предложение словечко пока и спросите, например: "А пока – что вы думаете предпринять? А пока – что у нас делается?" и придется ответить: "Ничего!.." Значит, оба эти слова – пустышки, и потому – слова хорошие. А соедините словечки "пока" и "что" и вы получите "пока что", то есть сумму и совершенное воплощение всех пустышек на свете.

Мало найдется в наши дни слов столь хороших, столь полезных, столь модных, мало есть среди всех чудных слов таких, которые могли бы с такой легкостью превращаться в чудные слова. Что сулит нам это "пока что", услышанное из ваших уст? Да ведь это меч Александра Македонского, разрубаящий любой гордиев узел; это – универсальный бальзам, исцеляющий от любых недугов. Сколько труда пришлось бы нам взвалить на себя, если бы у нас не было возможности на все отвечать "пока что...".

Как смягчают эти слова любой наш нелюбезный ответ! Вернее сказать, что благодаря им не бывает нелюбезных ответов. И всякий, кому ведом сухой отказ, сумеет по достоинству оценить чудные слова. Они как вода, которую подливают в вино, чтобы лишить его терпкости. Приведем пример. "Нет" значит только "нет".

Но если вместо "нет" вы скажете "пока что нет", то окажется, что, хотя вы сказали то же самое, вы произнесли, тем не менее, нечто весьма значительное. А что вам стоит сказать парой словечек больше?

Раз люди, даже весьма просвещенные, убедились в этой истине, могут ли они не прибегать постоянно к этим словечкам? Пусть на них изо дня в день сыплется град прошений и ходатайств, пусть меняется как угодно Положение о правах; пусть кричат со всех трибун и во всех газетах о свободе печати, - на все это вы получите, в виде ответа, не сухое "нет", а "пока что рано". Требуйте больших гарантий, добивайтесь подлинной неприкосновенности личности, ибо всякая неопределенность в этом отношении нелепа, - вам ответят: "Мы это хорошо видим, и даже с болью душевной; но пока что это было бы преждевременно. Для того, чтобы народом хорошо управляли, чтобы он был счастлив, необходимо распространить просвещение. Для того, чтобы народ обрел свободу, ему следует много познать и стать подлинно просвещенным..."

Вы мне скажете, что правосудие у нас хромает, что каждый судья определяет наказание по собственному смотрению и выносит приговор наобум. Но ведь все это – лишь пока что! Пусть только наступит этот необыкновенный, этот особенный день, который должен оказаться решающим, словом, день, который нам надо уметь хорошенько использовать, ибо в этот день все будет иначе.

- Но кто же, спросите вы, - кто уполномочен определять этот подходящий момент? Кто он, этот проницательный и глубокомысленный мудрец, который определит, когда придет время стать равными и свободными, получить возможность говорить, одним словом, быть счастливыми? Где проходит граница между "подходящим" и "неподходящим"? Кто этот просвещенный человек, который определит - достаточно ли мы уже просветились.

Пока что, дорогой читатель, ответим мы, нам даже не мерещится подобный мудрец. Пока что у нас не хватило духа ответить на все вопросы, да нам пока что и не позволили бы сделать это, если бы нам даже пришла в голову такая идея. Поэтому ограничимся пока что доказательством того, что у нас существуют хорошие вещи, а также слова, похожие на вещи, то есть чудные слова, которые нам выдают за чудные слова. А слова "пока что" – наилучшие среди слов этого рода, и, если вдуматься хорошенько, мы уже сказали достаточно пока что.

Незначительно сокращенный  
перевод З. Плавскина

## "Я женат и счастлив..."

Хроника жизни и  
творчества А. С.  
Пушкина, 1830-31  
годы, женитьба,  
Царское Село.

Надежда Брагинская



От литературного редактора

1 мая 1829 года Пушкин просил руки у Натальи Николаевны Гончаровой и получил неопределенный ответ. Только через год 6 мая 1830 года было объявлено о помолвке. 18 февраля 1831 года поэт обвенчался в Москве с девятнадцатилетней Гончаровой. П. А. Плетнев, один из близких друзей Пушкина поздравил его "с окончанием кочевой жизни". Спустя три месяца Пушкины отправились в Царское село, где собирались провести лето и осень. Поэту казалось, что там, где он когда-то обрел замену семьи в кругу лицейских друзей, там - "в кругу милых воспоминаний" - ему следует начинать свою семейную жизнь. Однако ожидаемого покоя "в единении вдохновительном" не было.

Еще весной в Петербурге появились первые признаки холеры, которая вскоре приняла характер эпидемии. Царское село было отгорожено карантинами, почта работала с перебоями и письма сюда приходили редко. Вскоре Царское Село, по выражению Пушкина, "превратилось в столицу": 17 июля, спасаясь от холеры, в летнюю царскую резиденцию переехал двор и сразу стало беспокойно и шумно. Кроме того, в январе 1831 года началась война России с Польшей. Подавление русскими войсками польского восстания вызвало в Европе волну антирусских настроений, и Пушкин опасался не менее грандиозной европейской войны, чем война двенадцатого года.

Однако грозная обстановка не вызвала уныния, так как Пушкин надеялся еще тогда на то, что он сумеет построить свой долгожданный собственный дом, соответствующий нынешнему его идеалу ("Мой идеал теперь - хозяйка, Мои желанья покой..."), сумеет сделать свою частную жизнь неприкосновенной. Как мы знаем, надежды эти не оправдались.

В то памятное лето в первой семейной квартире под Петербургом на даче вдовы придворного камердинера Якова Китаева Пушкиным были написаны "Клеветникам России", "Бородинская годовщина", "Эхо", "Сказка о царе Салтане". В доме Китаевой у Пушкина бывали в гостях В. Жуковский и Н. Гоголь, который читал здесь свои "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Предлагаемая хроника составлена Надеждой Брагинской в традиции, восходящей к М. А. Цявловскому, автору "Летописи жизни и творчества Пушкина" с 1799 по 1826 годы. Сходный принцип положен также в основу книги С. Абрамович "Пушкин в 1833 году". Хроника тематическая и соотносена с переломным моментом в жизни Пушкина - историей его женитьбы и первых месяцев совместной жизни с Натальей Николаевной в Царском селе, где прошли когда-то лучшие лицейские годы поэта.

Отрывки из писем, мемуаров, очерков собраны Н. Брагинской с целью передать напряженность атмосферы, связанной с этим периодом. В работе Брагинской представлено несколько тем: "Пушкин и Наталья Николаевна", "Пушкин и родители", "Пушкин и Гончаровы", "Пушкин и история", "Пушкин и писатели", "Пушкин и власть".

Мина Полянская

1830 год.

"Генерал, с крайним смущением обращаюсь я к власти совершенно личному обстоятельству... Я женюсь на м-ль Гончаровой... Я получил ее согласие и согласие ее матери: два возражения были мне высказаны при этом: мое имущественное состояние и мое положение относительно правительства. ...Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у Государя... Счастье мое зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность...

...Прошу еще об одной милости: в 1826 году я привез в Москву написанную в ссылке трагедию о Годунове... Государь, соблаговолив прочесть ее, сделал мне несколько замечаний... Но нынешними обстоятельствами я вынужден умолять Его Величество развязать мне руки и позволить мне напечатать трагедию в том виде, как я считаю нужным." (Франц.). Пушкин - Бенкендорфу. 16 апреля. Москва.

"Мои горячо любимые родители, обращаюсь к вам в минуту, которая определит мою судьбу на всю остальную жизнь. Я намерен жениться на молодой девушке, которую люблю уже год, - м-ль Натали Гончаровой. Я получил ее согласие, а также и согласие ее матери. Прошу вашего благословения, не как пустой формальности, но с внутренним убеждением, что это благословение необходимо для моего благополучия..." (Черновое). Пушкин - Н. О. и С. Л. Пушкиным. 6-11 апреля. Москва.

23 апреля создано стихотворение "К вельможе" (Посвящено кн. Н. Юсупову. Н. Б.), в нем строки:

"С восторгом ценишь ты  
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой".

"...Что касается вашего личного положения по отношению к правительству... я нахожу его совершенно соответствующим вашим интересам... Никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за вами... В чем же то недоверие, которое будто бы можно в этом отношении найти в вашем положении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем тем, кому по вашему мнению, должно показать. Что касается трагедии вашей о Годунове, то Его Величество разрешает вам напечатать ее за вашей личной ответственностью." (Франц.). А. Бенкендорф - Пушкину. 28 апреля. Петербург.

"Николай Афанасьевич и Наталья Ивановна Гончаровы имеют честь объявить о помолвке дочери своей Наталии Николаевны с Александром Сергеевичем Пушкиным, сего мая 6 дня 1830 года." Пригласительный билет.

"... Я питаю отвращение к делам и бумагам. Быть камер-юнкером мне уже не по возрасту, да и что стал бы я делать при Дворе? Мне не позволяют этого ни мои средства, ни занятия. Родным моей жены очень мало дела и до нее, и до меня..." (Франц.). Пушкин - Е. Хитрово. 19-24 мая. Москва.

"Сестра сообщает мне любопытную новость - свадьбу Пушкина на Гончаровой... Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему бедному носить рогов..." А. Вульф. "Дневник". 28 июня. Тригорское.

7 июля создано стихотворение "Поэту" ("Поэт! Не дорожи любовью народной"). 8 июля создан сонет "Мадонна".

"Наталья Николаевна сообщала, что свадьба их беспрепятственно была на волоске от ссор жениха с тещей, у которой от сумасшествия мужа и неприятностей семейных характер испортился. Пушкин ей не уступал и когда она говорила ему, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал: "Это дело вашей дочери, - я на ней хочу жениться, а не на вас..." П. Анненков со слов Н. Н. Пушкиной - Ланской. "Записки". Стр. 352.

"...Вот в чем было дело: теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился... Хандра схватила, и черные мысли мной овладели. Неужто я хотел или думал отказаться? Но я видел уж отказ и утешался чем ни попаало... Баратынский говорит, что в женихах счастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим. Доселе он я - а тут он будет мы. Шутка!..." Пушкин - П. Плетневу. 29 сентября. Болдино.

7 сентября. Создано стихотворение "Бесы". Болдино. 8 сентября. Создана "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье").



9 сентября 1830 г.

"...Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать... Жена не то что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает... Сегодня от своей получил я премильное письмо: обещает выйти за меня и без приданого... Зовет меня в Москву - я приеду не прежде месяца... Соседей ни души, ездю верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я наготовлю тебе всякой всячины, и прозы, и стихов." Пушкин - П. Плетневу. 9 сентября. Болдино.



13 сентября 1830 г.

26 сентября создано стихотворение "Ответ анониму". 1 октября - "Царскосельская статуя". 5 октября - "Прощание" ("Последний раз твой образ милый..."). 7 октября - "Паж или пятнадцатый год". 9 октября - "Я здесь, Инезилья". 10 октября: "Отрок", "Рифма", "Румяный критик мой, насмешник толстопузый".<sup>1</sup>

Пушкин о завершении "Евгения Онегина": "1823 год 9 мая Кишнев - 1830 25 сент. Болдино. 7 лет 4 ме<сяца> 17 д<ней> 26 сент. А. П.<ушкин>."

"Въезд в Москву запрещен... Ясное дело, что в этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не бывать. Мы окружены карантинными. Я провожу мое время в том, что марая бумагу и злюсь... Прощайте, повергните меня к стопам вашей матушки; сердечные поклоны вашему семейству. Прощайте, прелестный ангел. Целую кончики ваших крыльев..." (Франц.). Пушкин - Н. Н. Гончаровой. 11 октября. Болдино.

"Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать... Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна и что коли твой смиренный вассал не околет от сарацинского падежа, холерой именуемого... то в замке твоём, "Литературной газете", песни трубадуров не умолкнут круглый год." Пушкин - А. Дельвигу. 4 ноября. Болдино.

1831 год.

"Пушкин был у меня два раза... все так же мил и все тот же жених. Он много написал у себя в деревне." П. Вяземский - П. Плетневу. 12 января. Москва.

"Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву... он, обращаясь ко мне, сказал: "Ну, Войныч, держись: в наши ряды постреливать стали..." П. Нащокин - Н. Коншину. Январь. Москва.

"...Il n'est de bonheur que dans les voies communes" ("Счастье лишь на проторенных дорогах". Франц.). Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся - я поступаю, как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться..." Пушкин - Н. Кривоцову. 10 февраля. Москва.

"Пушкин женился 18 февраля 1831 г." Павел Вяземский. Собр. соч. Стр. 529.

"Филарет таки поставил на своем: их обвенчали не у кн. Сер. Мих. (Домовая церковь кн. С. М. Голицына. Н. Б.), а у старого Вознесенья." А. Булгаков - К. Булгакову. 19 февраля. Москва.

"Во время обряда Пушкин, задев нечаянно за аналой, уронил крест; говорят, при обмене колец одно из них упало на пол... Поэт изменился в лице и тут же шепнул одному из присутствующих: "tous les mauvais augures!" ("Все это плохие знаки". Франц.). "Русская Старина". 1880. Т. 27. Стр. 148.

"Молодые Пушкины... жили со дня свадьбы во втором ярусе большого дома (Хитровой) на Арбате". П. Бартнев. "Русский архив". 1902. 1. 56.

"... Я женат - и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось - лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился". Пушкин - П. Плетневу. 24 февраля. Москва.

"Была я у них в Москве, стоял тогда у Смоленской Божьей матери, каменный двухэтажный дом... Посмотри, говорит, Марья, вот моя жена! Вынесли мне это показать ее работу, шелком, надо быть, мелко-мелко, четвероугольчатое, вот как то окно". Мария Федоровна (дочь Арины Родионовны. Н. Б.),

<sup>1</sup> Представлены стихи только первого болдинского месяца.

крестьянка сельца Захарово. "Москвитянин". 1851. №9-10. Стр. 32.

"...Пушкина беленькая, чистенькая девочка с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой гризетки. Видно, что она неловка еще и неразвязна; а все-таки московщина отражается на ней довольно заметно..." В. Туманский - Г. Туманской. 16 марта. Москва.

"Суматоха и хлопоты этого месяца, который отнюдь не мог бы быть назван у нас медовым, до сих пор мешали мне вам написать" (Франц.). Пушкин - Е. Хитрово. 26 марта. Москва.

"Я был вынужден оставить Москву во избежание всяких дразг, которые могли лишить меня не только покоя"... Пушкин - Наталье Ивановне Гончаровой, (мать Н. Н.). 26 июня. Царское Село.

"Секретно" С. Н. Муханову. Московского полицмейстера I отделения РАПОРТ. Живущий в Пречистенской части отставной чиновник 10-го класса Александр Сергеев Пушкин вчерашнего числа получил из части свидетельство на выезд из Москвы в Санкт-Петербург вместе с женою своею: а как он по предписанию бывшего г. обер-полицмейстера от 7-го сентября за №435 1829 года состоит под секретным надзором, то я долго доставляю представить о сем вашему высокоблагородию. Полицмейстер Миллер. №117. Мая 15 дня 1831 г."

"Приехали мы благополучно... в Демутов трактир и на днях отправляемся в Царское Село, где мой домик еще не меблирован"... Пушкин - П. Нащокину. Около 20 мая. С. Петербург.

20 мая Гоголь "был представлен ему (Пушкину) на вечере у Плетнева" П. Анненков. "Материалы для биографии Пушкина". СПб. 1873. Стр. 360.

25 мая А. С. и Н. Н. Пушкины приезжают из Петербурга в Царское Село и поселяются в доме Китаевой.

26 мая. День рождения А. С. Пушкина. 26 мая. Вознесение Господне - двенадцатый праздник, особенно почитаемый Пушкиным. "Важнейшие события его жизни, по собственному его признанию, все совпали с днем Вознесенья". П. Анненков. "Материалы". Стр. 306-7.

"Вот уже неделя, как я в Царском Селе... Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку без тещи, без экипажа, следственно - без больших расходов и без сплетен..." Пушкин - П. Нащокину. 1 июня. Ц. С.

"...Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей..." Пушкин - П. Вяземскому. 1 июня. Ц. С.

"Летом 1831 г. в Царском Селе многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женою, обыкновенно около озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе, и на плечах свитая по-тогдашнему красная шаль". А. Смирнова-Россет. "Записки". Стр. 201.

"Когда мы жили в Царском Селе, Пушкин каждое утро ходил купаться, после чая ложился у себя в комнате и начинал писать... По утрам я заходила к нему... Пушкин начинал читать... Я делала ему замечания... Жена его ревновала ко мне..." "...Разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него,

ни он в меня?" "Я это хорошо вижу, - говорит, - да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает..." А. Смирнова-Россет. "Автобиография". Стр. 328.

"...Хотя летом у нас бывал придворный обед, довольно хороший, я все же любила обедать у Пушкиных. У них подавали зеленый суп с крутыми яйцами, рубленные большие котлеты со шпинатом или щавелем и на десерт варенье из белого крыжовника". А. Смирнова-Россет. "Автобиография". Стр. 328.

9 июня. Пушкин в Петербурге. Вероятное посещение им гробницы М. Кутузова в Казанском Соборе.

"...был приезжий из провинции, который сказывал, что твои стихи не в моде, а читают нового поэта... - его зовут Евгений Онегин..." П. Нащокин - Пушкину. 9 июня. Москва.

10 июня. Написано стихотворение "Перед гробницею святой..." 13 июня. Написан акварельный портрет Пушкина, в шляпе. Неизвестный художник.

"... очень жаль, друг мой, что нам не удалось соединить наши жизненные пути. Я продолжаю думать, что мы должны были идти рука об руку и из этого получилось бы нечто полезное и для нас, и для других. Пишите мне по-русски; Вы должны говорить только на языке своего призвания..." П. Чаадаев - Пушкину. Конец июня. Москва.

В №133 газеты "Северная пчела" (июнь 1831 г.) выход из печати "Бориса Годунова" представлен как "творение первоклассного поэта, обращающего на себя внимание отечественной и иностранной публики."

"...Здесь холера, т. е. в Петербурге, а Сарское Село оцеплено - так, как при королевских дворах, бывало, за шалости принца секли его пажу. Жду дороговизны, и скупость наследственная и благоприобретенная во мне тревожится. О делах жены моей не имею никаких известий, и дедушка, и теща отмалчиваются, и рады, что Бог послал их Ташеньке муженька такого смиренного..." Пушкин - П. Нащокину. Около 22 июня Ц. С.

18 июня к Пушкину приезжают родители (проездом в Павловск). 22 июня Н. О. Пушкина отметила на даче Китаевой свой день рождения.

"...на Сенной был бунт, собралось православного народу тысяч 6, отперли больницы, кой-кого (сказывают) убили; Государь сам явился на место бунта и усмирил его. Дело обошлось без пушек, дай Бог, чтоб и без кнута... ...в Царском Селе оказалась дороговизна. Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят. Вообрази, что со дня нашего отъезда я выпил одну только бутылку шампанского, да и ту не вдруг..." Пушкин - П. Нащокину. 26 июня. Ц. С.

Июнь. Е. Розен присылает опубликованное в "Северных цветах" стихотворение "26 мая" (24 строки) в честь дня рождения Пушкина:

"Сей день Богам в хвалу и честь мы ставим - Так! Гения сошествие мы славим!"

Июнь - июль. Пушкин посещает Лицей.

"Жену свою Пушкин иногда звал: "Моя косая Мадонна". У нее глаза были несколько вкось. Пушкин восхищался природным здоровым ее смыслом. Она тоже любила его действительно." В. Вяземская по записи Бартенева. "Русский архив". 1900. I. 398.

"...Я переписал мои пять повестей и предисловие, т. е. очинения покойника Белкина, славного малого..." Пушкин - А. Плетневу. 3 июля. Ц. С.

5 июля. В Знаменской церкви Царского Села перед иконой Божией Матери - древней родовой иконой дома Романовых - был отслужен молебен об избавлении города от холеры.

"Мой друг, я буду говорить с вами на языке Европы... продолжим беседы, начатые в свое время в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся..." (Франц.). Пушкин - П. Чаадаеву. 6 июля. Ц. С.

9 июля. Переезд Императорского Двора в Царское Село. 13 июля день казни декабристов. Пушкин признавался А. О. Смирновой, что в этот день он тайно молился о повешенных. Митрополит Анастасий. "Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви". М. 1991. Стр. 47. Около 20 июля. Разговор Пушкина в парке с Николаем I. Высочайше повелено принять поэта на службу в Иностранную коллегию, разрешить работу в архивах для написания Истории Петра Первого.

"... царь взял меня в службу... он дал мне жалованье, открыл мне архивы... Он сказал: "Puisq'il est marie' et qu'il n'est pas riche, il faut faire alle sa marmite..." ("Раз он женат и небогат, надо дать ему средства к жизни...") (Франц.). Пушкин - П. Плетневу. 22 июля. Ц. С.

"Вчера Государь Император отправился в военное поселение... Однако... народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади, и царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом..." А. Пушкин. "Дневники". СС. Т. VIII. Стр. 22.

"... Император и Императрица встретили Натали и Александра: они остановились с ними поговорить, и Императрица сказала Натали, что очень рада с нею познакомиться... Вот она и вынуждена явиться при Дворе, совсем против своей воли". Н. О. Пушкина - О. С. Павлицевой. 25 июля. Павловск.

"Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто. Женка его очень милое творение, и он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше..." В. Жуковский - П. Вяземскому и А. Тургеневу. Конец июля. Ц. С.

2 августа. Завершено стихотворение "Клеветникам России". Автограф помечен: "2 авг. С. Ц. (Село Царское)"

"Литературная газета" что-то замолкла... .. ты, верно, слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси... Плохо, ваше сиятельство. Ковд в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы. Кажется, дело польское кончается; я все еще боюсь: генеральная баталия, как говорил Петр I, дело зело опасное..." Пушкин - П. Вяземскому. 3 августа. Ц. С.

Пушкин поздравляет П. А. Вяземского с пожалованным ему 5 августа званием камергера: "Любезный Вяземский, поэт и камергер..." 14 августа. Ц. С.

"Посылаю тебе с Гоголем сказки моего друга Ив. П. Белкина; отдай их в простую цензуру, да и приступим к издаванию..." Пушкин - П. Плетневу. Около 15 августа. Ц. С.

17 августа. Пушкин и Наталья Николаевна обедают в Павловске у родителей. 24 - 27 августа. Завершена "Сказка о царе Салтане..."

"... У Плетнева я был, отдал ему в исправности ваши посылку и письмо... Прощайте. Да сохранит вас Бог вместе с Надеждою Николаевною..." Н. Гоголь - Пушкину. "Переписка". Стр. 137.

"... У нас все благополучно: бунтов, наводнения и холеры нет... Ваша Надежда Николаевна, то есть моя Наталья Николаевна - благодарит Вас за воспоминание и сердечно кланяется Вам." Пушкин - Н. Гоголю. 25 августа. Ц. С.

26 августа. 19-я годовщина Бородинской битвы. Натальин день. Именины Натальи Николаевны. 27 августа. День рождения Натальи Николаевны (1812 г.)

30 августа. День Кавалерственного Праздника Святого Александра Невского. Возможно (?) именины Пушкина ("А прогос: не именинник ли ты завтра? Поздравляю тебя и целую." П. Плетнев - Пушкину. В Михайловское. 29 августа 1825 г.).

30 августа 1833 г. В. Кюхельбекер записал в дневник: "Что делают мои именинники: О<доевский>, Б<естужев>, П<лещеев> и Пушкин?" (Э. Лебедева).

Начало сентября. Написана статья "Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем."

"... Теща моя не унимается... Дедушка ни гугу. До сих пор ничего не сделано для Натальи Николаевны; мои дела идут помаленьку. Печатаю incognito мои повести, первый экземпляр перешлю тебе." Пушкин - П. Нащокину. 3 сентября. Ц. С.

5 сентября. Благодарственный молебен в дворцовой церкви по случаю взятия Варшавы. По всей вероятности, на нем присутствовали Пушкин с Натальей Николаевной. 5 сентября написано стихотворение "Бородинская годовщина". 5 сентября написано стихотворение В. Жуковского "Русская песня на взятие Варшавы". Поставлена дата под вторым автографом стихотворения "Клеветникам России": "5 сент. 1831 г. Царское Село".

8 сентября 862 г. считается Днем начала Русского Государства.

"Сказка" Ваша ("Сказка о царе Берендее") уже окончена и начата другая ("Спящая царевна")... И Пушкин окончил свою сказку! ... Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии..." Н. Гоголь - В. Жуковскому. 10 сентября. Петербург.

13 сентября Завершена "Сказка о попе и работнике его Балде" (датировка Н. Лернера).



Якуб. Кюхельбекер  
когда-то переписал

сентябрь 1831 г.

"... Будь у нас гласность печати, никогда Ж<уковский> не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича... потому что курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышшь..." П. Вяземский "Дневник". Стр. 153-154.

17 сентября. Именины Надежды Осиповны Пушкиной. "... Я только что прочел ваших два стихотворения ("Клеветникам России", "Бородинская годовщина". Н. Б.). Друг мой,

никогда еще вы не доставляли мне столько удовольствия. Вот вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание..." П. Чаадаев - Пушкину. 18 сентября. Москва.

"... не совестно ли ... сравнивать нынешние события с Бородином? Там мы бились один против 10, а здесь, напротив, 10 против одного. Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии." П. Вяземский. "Дневник". Стр. 151-2.

"Лестно для Пушкина заступить место Карамзина... Пусть употребит талант свой, ум и время на дело полезное, а не на вздорные стишки, как бы ни были они плавны и остры." А. Булгаков - К. Булгакову. 19 сентября. Москва.

"... Между ими царствует бо́льшая дружба и согласие:

Таша обожает своего мужа, который также ее любит: дай Бог, чтоб их блаженство и впредь не нарушалось..." Д. Н. Гончаров (брат Н. И.) - А. Н. Гончарову в Полотняный Завод. 24 сентября. Ц. С.

"Пушкин в своих стихах "Клеветникам России" кажется им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его... За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому... Смешно, когда Пушкин хвастается, что мы "не сожжем Варшавы их." Вестимо, потому что после пришлось бы застроить ее..." П. Вяземский. "Дневник". Стр. 155-6.

"... разве не навсегда Вы в Петербурге обосновались? Савкино может служить приютом лишь на два летних месяца..." (Франц.). П. Осипова - Пушкину. 29 сентября. Тригорское.

Сентябрь - октябрь. Пушкин дорабатывает VIII главу "Евгения Онегина".

5 октября - беловая рукопись "Письма Онегина" ("5 окт. 1831 г.")

"Мне совестно быть неаккуратным, но я совершенно расстроился: женясь, я думал издерживать втрое против прежнего, вышло вдесятеро..." Пушкин - П. Нащокину. 7 октября. Ц. С.

9 октября. Цензурное разрешение на издание "Северных цветов на 1832 год", подготовленных Пушкиным к печати в память А. А. Дельвига.

"Осмеливаюсь беспокоить Ваше высокопревосходительство покорнейшею просьбою о дозволении издать особою книгою стихотворения мои, напечатанные уже в течение трех последних лет..." Пушкин - А. Бенкендорфу. Середина октября. Ц. С.

"... мне не известно, чтобы его Величество разрешили Вам все Ваши сочинения печатать под одною Вашею только ответственностью... а потому Вам надлежит по-прежнему испрашивать всякий раз высочайшее Его Величества соизволение..." А. Бенкендорф - Пушкину. 19 октября. Петербург.

19 октября. Двадцатая годовщина Лицея. 19 октября. Помечен беловой автограф стихотворения "Чем чаще празднует Лицей..." В нем строки:

"... И мнится, очередь за мной,  
Зовет меня мой Дельвиг милый...  
...Туда, в толпу теней родных  
Навек от нас утекший гений."

После 19 октября - переезд из Ц. Села в Петербург.

Октябрь. Вышли в свет "Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П. СПб, 1831, типография Плюшара."

Квартира Пушкина с октября 1831 г. по май 1832 г. была в Галерной улице, дом Брискорн.

"Жена Пушкина появилась в большом свете, где ее приняли очень хорошо; она понравилась всем и своими манерами и своей фигурой, в которой находят что-то трогательное..." М. Сердобин - Б. Вревскому. 17 ноября. Петербург.

"Государь Император всемилостивейше пожаловать соизволил состоящего в ведомости Гос. Коллегии Иностр. Дел коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники." Высочайший Указ от 6 декабря 1831 г.

"Пушкин здесь, но что-то пасмурен и рассеян." М. Погодин - С. Шевыреву. 21 декабря. Москва.

"Однажды на вопрос Баратынского, не помешает ли он ей, если прочтет в ее присутствии Пушкину новые стихотворения, Наталья Николаевна ответила: "Читайте, пожалуйста, я не слушаю." Л. Павлищев. "Воспоминания". Стр. 57.

С первого года женитьбы "...Пушкин узнал нужду, и хотя никто из самых близких не слышал от него ни единой жалобы, беспокойство о существовании омрачало часто его лицо..." Н. Смирнов. "Русский Архив". 1882. Стр. 233.

"Секретно". Чиновник 10 кл. Александр Пушкин 24 числа сего месяца выехал отсюда в С.-Петербург; во время жительства его в Пречистенской части ничего за ним законопротивного не замечено. Полицмейстер Миллер. 26 декабря. Москва."

В хронике использованы:

А. Пушкин "Письма", "Дневники"; В. Вересаев "Пушкин в жизни"; Т. Галкина "Христианская культура: Пушкинская эпоха"; разыскания Н. Б.

# Хроника VII Международного Пушкинского симпозиума в Германии



Пушкин после юбилея 1999 года –  
новые сведения и оценки

Светлана Арро

"Вот уже почти два века мы перемываем Пушкину кости, полагая, что возводим ему памятник, по его же проекту". Так Андрей Битов начинает свою главку в статье "Гулаг как цивилизация", названную автором "Свободу Пушкину!" По словам Соломона Волкова, "Битов создает свое собственное пушкиноведение – полусерьезные, полуиронические комментарии..."

Современная постюбилейная пушкинистика, как продемонстрировал VII Международный Пушкинский симпозиум, возвращает Пушкину эту свободу, избавляя его от идеологических табу, традиционных шаблонов и устоявшихся формул, от мертвящего цемента "патриотических установок". Как одно из дополнительных доказательств этого тезиса хочется назвать появившуюся в 1999 году итоговую, и, увы, посмертную, книгу Е. Эткинда "Божественный глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции". Вюрцбургский симпозиум – органичная вариация темы, это Пушкин, прочитанный и читаемый в Германии и России. Границы, впрочем, здесь несущественны.

Симпозиум организован Пушкинским обществом Германии, о котором в "Зеркале Загадок" уже сообщалось. Добавим к сему, что его бессменный председатель, точнее, в соответствии со строгим уставом Общества каждые два года единогласно переизбираемый, профессор Боннского университета Р.-Д. Кейль, сделавший великолепные переводы на немецкий "Евгения Онегина" и "Медного всадника", удостоен летом этого года титула почетного доктора Российской АН.

В симпозиуме участвовало более 30 докладчиков, в основном, профессоров и преподавателей различных немецких и других европейских университетов, и длился он четыре дня, в атмосфере постоянной доброжелательности и заинтересованности во мнении другого, безукоризненной корректности споров, не отменяющей иной раз горячности в отстаивании своей точки зрения.

Этот праздник русской литературы проходил в потрясающей красоты раме 18 века – Резиденции одного из красивейших городов Германии - Вюрцбурга, построенной немецким архитектором Балтазаром Нойманом, и в почти театральных декорациях – росписях знаменитого итальянского художника Джованни Баттисто Тьеполо. Каждое утро мы специально шли через сад, чтобы увидеть его еще раз, как мираж, меняющий свои контуры и силуэты вдоль каждой стены Резиденции.

Принимающей стороной была кафедра славистики Вюрцбургского университета и ее глава профессор Андреас Эббинггаус (Andreas Ebbinghaus), обращаясь к которому хочется повторить слова благодарности за прекрасно организованные научные бдения и предоставленную возможность общения. Научный уровень симпозиума был по-настоящему высок. Естественно, что какие-то доклады задели больше, вызвали большой отклик и интерес, но с уверенностью могу констатировать: все доклады были интересны, новы, свежи и ярки. Чего стоит (особенно для языковых неофитов) великолепный немецкий, легко переходящий в блестящий русский в пушкинских цитатах!

Привожу программу симпозиума с краткими, вынужденно избирательными, комментариями, и, да простят меня не упомянутые участники, столь же вынужденными, по недостатку места, пропусками.

**ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.** В докладе "К ранней лирике Пушкина" Р.-Д. Клюге (Rolf-Dieter Kluge), Тюбинген, звучала новая трактовка античности у Пушкина. Другой исследователь из Тюбингенского университета Д. Верн. (Dietrich Wörn) говорил о непреходящей актуальности пушкинского осмысления истории.

Кейс Верхейл (Kees Verheul), Амстердам, Рим, специалист по русскому серебряному веку, писатель, эссеист, славист, которого мне посчастливилось слушать еще в Ленинграде на первой русской конференции, посвященной столетию Анны Ахматовой, анализировал стихотворение "Для берегов отчизны дальней...", выстраивая концепцию предназначения и возмездия как основного мотива поэтического жизнеосмысления у Пушкина.

К. Харер (Klaus Harer), Марбург, выдвинул новую точку зрения на "Моцарта и Сальери" и проблему творческих взаимоотношений.

В. Кошни (Witold Kosny), Росток, в докладе о поэтической дружбе Пушкина и Мицкевича переосмыслил факт этой "дружбы" как неправомерно канонизированный.

Михаил Безродный, Россия, Мюнхен, США, был доказателем и остроумцем, говоря о сакрализации Пушкина в XX столетии как черте русского национального характера, сотворяющего богов и кумиров.

**ВТОРОЙ ДЕНЬ** начался с двух русских докладов, прочитанных по-русски. Ирина Юрьева, Москва, Пушкинская ко-



миссия Фонда культуры, автор книги "Пушкин и христианство", продолжила свою основную тему "пушкинскими цитатами библейских и литургических текстов". Литургические тексты, изъятые из обращения вскоре после революции, были закрытой сферой для русских исследователей, поэтому обычно все христианские пушкинские цитаты воспринимались только метафорически, как средства "высокого штиля." Вокруг этих понятий и развернулась дискуссия.

Второй русский доклад "Немецкие компоненты в пушкинских произведениях" сделал известный российский пушкинист, я бы сказала, новой формации, автор нескольких книг-исследований, появившихся в последнее десятилетие, Леонид Аринштейн, Москва – Петербург, Фонд Культуры. В нем прозвучал ряд новых и неожиданных тезисов, например, о влиянии немецкого фольклора на творчество Пушкина, проявившемся, в частности, в "Руслане и Людмиле" как сюжетный вариант поисков "чаши Грааля". Современная русская пушкинистика наконец перестает бояться переключек мировых бродячих сюжетов, сбрасывая путы идеологии и включаясь в естественный ход общего литературного процесса.

Как бы локальную тему "Пушкин и Одесса" именно в этом синтезирующем ключе пушкинской цитатой представил Э. Ведель (Erwin Wedel), Регенсбург: "Там веет воздух Европы..." О жизнестойкости, долговременности пушкинских образов и тем свидетельствовали доклады Й. У. Петерса (Jochen Ulrich Peters), Цюрих: "Евгений Онегин" и дискурс постмодерна", и особенно актуально сегодня звучащий и при этом не выходящий за рамки литературы и философии доклад Р. -Д. Кейля (Rolf-Dietrich Keil), Бонн, "Пушкин в контексте современного ориентализма".

Некоторые исследования базировались на биографических моментах поэзии, казалось бы, более чем изученных, но по-прежнему оставляющих лакуны и, следовательно, возможности толкований. Доклад Мири Леке (Mirja Lecke), Мюнстер, "Пушкин и империя – "Путешествие в Арзрум" представил это произведение как психологическое замещение

неосуществимого желания отъезда, как репетицию заграницы. К уже звучавшей теме "Пушкин и Мицкевич" обратился Альфред Шпрёде (Alfred Sproede), Мюнстер, рассмотрев ее с точки зрения оценки литературного процесса: "Пушкин, Мицкевич и "конец художественного периода."

О более позднем литературном периоде – 1830-х годах – сообщила работа Вольфганга Кисселя (Wolfgang Kissel), Бремен, "Поэзия и критика цивилизации – пушкинская картина современности после 1830 года".

Столь же насыщен был и ТРЕТИЙ ДЕНЬ, представивший доклады более глобальные. Тематически, хотя и не строго, это был день философии Пушкина. Перечисляем некоторые из них.

Роман Данилевский, С.-Петербург, Пушкинский Дом: "Пушкин и Гете в старом и новом представлении – сравнение".

Андреас Эббинггаус, Вюрцбург: "Формы металитературности в пушкинских повестях".

В. Шмид (Wolf Schmid), Гамбург: "Пушкинская философия "может быть"."

Последние две работы вызвали особо оживленные отклики свежей постановкой проблемы "своего" и "чужого", а также философской трактовкой русского "авось". Многолетний ученый секретарь Пушкинского Дома Сергей Фомищев, Петербург, сделал заключительное сообщение дня "К балансу 200-летнего юбилея Пушкина 1999 года в России", статистически точно анализирующее отношение к Пушкину разных слоев населения и все же оптимистически прогнозирующее судьбу поэта и поэзии вообще в посткоммунистической России, где постоянно возникают новые барьеры для естественного бытования литературы.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ. В последний день симпозиума звучало "веселое имя Пушкин". Темы и названия докладов ему вполне соответствовали. Аудитория откликнулась вежливым профессорским смехом. Особенно забавен был рассказ Анжелы Хубер (Angela Huber), Потсдам, о популярном в последние годы бестселлере Инго Шульца "33 впечатления счастья" (Ingo Schulz "33 Augenblicke des Glücks", Berlin 1995) как парафраза "Станционного смотрителя", в котором герой становится заправщиком бензоколонки, а его дочь умыкает проезжий гусар-коммерсант. Один из докладов этого дня иронически назван в чисто немецких традициях отношения к великим юбилярам "Завтрак с Пушкиным", суммируя фельдетонно-панибратское "А что брат Пушкин" или "А платить кто будет – Пушкин?", предоставляя полную возможность подстановки и другого имени, к примеру, конечно, Гете. Славословия отсутствовали изначально, и не потому, что миновали. Пушкин выпущен на свободу. Гуляй, среди старых и новых оберутов, маньеристов, модных беллетристов, ученых знатоков и чудаков, среди миннезингеров старого Вюрцбурга.

Р. S. Когда мы, литературный редактор "Зеркала Загадок" Мина Полянская и автор этих строк, перед началом симпозиума искали нужный нам зал, во дворе Резиденции мы увидели графический пушкинский профиль на знакомом автопортрете. Так по этому повторяющемуся на афишах автопортрету мы и дошли, поднимаясь по ренессансной лестнице, до зеркального Тосканского зала заседаний, сразу ставшего в моем воображении пушкинским. В этом изящном итальянском зале, с превосходным французским садом за окнами, в одном из лучших немецких дворцов ученые разных стран и, естественно, разных национальностей, говорили о русском поэте. И, конечно, не только о нем. О мировой литературе, о человеческой душе, о том, что, оставляя человека в рамках ежечеловечности, поднимает его над ней.

**Борис Шапиро**



Рисунок Каролины Ивановой

Что знает буква о значеньи слова,  
а человек о назначеньи жизни?  
Кровь при рожденьи, ковш на тризне,  
что ведаёт ловец о цели лова?

А слово что о мозговом химизме,  
покров случайности, загадка *ovo*?  
И что случайность о судьбе покрова,  
что ведаёт свет радуги о призме?

Зеркальной сутью славится вода,  
как нет и да, всегда и никогда, –  
не всемогуща длань и не всезряще око.

Что значит знание, что есть простота?  
Зеркальную испить росу с листа  
Единого Его, всеодинокое?

1979

Январь, Ерусалим. Цветут гвоздики,  
тимьян, тамариск, апельсин, алоэ.  
Сандаловое дерево в цвету.  
Земля благоухает, но в покое  
голубоватый воздух на весу.

Ещё не соткан нитями дождей  
ковёр эдемский на пустыне,  
и мир не заключён в Хевроне  
и в Вифлееме, где из-под скалы  
белёсая вода сочится,  
как молоко из земляной груди.

Но нету насекомых.  
Воздух пуст.

Пока ещё не вспыхнуло дыханье,  
не выплеснулась радость, и журчанье  
живительной воды не началось.  
Пустыня ждёт, когда ж найдутся две  
и лягут в редкую ещё траву.

03.01.97  
Jerusalem

**Вадим Фадин**

Вадим Фадин родился в 1936 году в Москве, в московской периодике печатается с 1963 года. Он автор поэтических сборников «Пути деревьев» и «Черта», а также романа «Семеро нищих под одним одеялом». Член международного ПЕН-клуба. Живёт в Берлине.

Четвертая волна

Когда в прошедшем не видать ни зги,  
работа – на воде считать круги,  
пусть за спиной хихикают враги,  
похоже, не читавшие Прутоква,  
глядеть, как развивается волна –  
одна, другая; счёт ведётся на  
такие кольца, что ничья жена  
не мерила. И в пруд летит подкова,

на счастье. Мы по-прежнему верны  
приметам с ароматом старины:  
вслед за четвертым выходом волны  
девятому не удивимся валу.  
Теперь видны и старые следы,  
в девятом круге – не было б беды.  
История не любит чехарды:  
В ней считаны и волны, и провалы.

В конце пути горит звезда:  
односторонняя езда  
по незнакомому туннелю  
один навязывает взгляд  
на всех таких же, что подряд  
уже которую неделю  
на свет звезды безвольно мчат.

Напрасно припадать к окну:  
мир едет в сторону – одну.  
О прочем быть не может речи.  
Но вот и финиш. Выдох. Цель.  
Проходит страстной гонки хмель,  
и видишь вдруг, что и навстречу  
летит толпа – в другой туннель.

**Эрнст Руммель**

Перчатка  
(баллада)

Рыцарь Ганс от ран без сил  
В Б. скакал к невесте,  
Вороного торопил  
И перчатку обронил  
В нехорошем месте.

Басурман побил он рать,  
А избегнул гроба.  
Торопила Ганса страсть,  
Кабы чуял он напасть,  
Так глядел бы в оба.

Думал Ганс, что пировать  
Станет с милой вместе.  
Только свадьбе не бывать,  
Вещи нечего терять  
В нехорошем месте.

Бес из лесу тут как тут -  
Хочет порезвиться:  
Молодой любви капут  
Хвать перчатку - старый плут  
Да спешит к девице.

Дева млеет под окном,  
Проглядела очи,  
Все мечтает об одном,  
Перси ходят ходуном  
Утра, дни и ночи.

Чу, неужто ли стучат?  
Сердце замирает.  
Свечки тусклые чадят,  
Псы дозорные рычат,  
Дева отпирает.

Позабудь о молодце,  
Бедная Прасковья -  
Лишь перчатка на крыльце  
С монограммой Гэ фон Цэ  
Алая от крови...

Злую долюшку коря,  
От сердечной муки  
Дева, милого зовя,  
Грешным делом на себя  
Наложила руки.

Рыцарь Ганс, едва дыша,  
Прискакал к невесте.  
Поспешал бы не спеша!  
Девы бедная душа  
В нехорошем месте.

Тут и Гансу был конец -  
Вся в крови кольчуга -  
И огнем горел венец  
Двух перчаток, двух сердец,  
Что нашли друг друга.

8 января 2000

“Не приведи, Господь,  
любя, не ждать ответа!”  
Анна Гедымин

Вот опять рифмую: бузина и чудо.  
Приближается конец кайнозоя.  
Ни хлада не будет, ни зноя,  
ни блага, ни худа.

Ни затяжка, ни рюмка, ни дети  
не отменят чура.  
Апокалипсис, архитектура,  
себя не заметит.

Не рядом, не возле  
полюхнет надежда, полюхнет зарница.  
Тонка граница  
меж добром и пользой.

Полыхнуть зарнице, полыхнуть надежде  
и сгореть бездымно.  
И настанет время, когда все взаимно,  
когда все взаимно.

28.11.96

Герониму Файбусовичу

Рифмую слова:  
бузина и чудо.  
Цветёт голова,  
а дышится худо.

Ту ли жизнь живём,  
а не ту?  
Тем ли мы жнивём  
за черту?

Но с тобой светло  
и даже сытно.  
При тебе конца  
и не видно.

Апрель 1996

**Борис Шапиро**  
Борис Шапиро родился в Москве в 1944 году, пишет стихи и прозу на русском и немецком языках. В настоящее время у Шапиро более 60 литературных публикаций, он автор семи книг и награжден четырьмя литературными премиями. Шапиро – вице-президент центра «Писатели в изгнании в немецкоязычных и скандинавских странах» Международного ПЕН-клуба. Живет в Берлине.

Дождь движется из облака в разлуку,  
синица из небесной сини в руку  
с разлёту прыщёт, а мотыль в науку  
на радость энтомологу летит.

Поэт, однако же, иной привержен страсти  
–  
познание бесполезное обречь и  
выпустить творение из пясти,  
и радости его не омрачить.

13.09.2001

Ленивые слуги внимают волнующим слухам  
о скорой свободе, которую дарят им, что ли.  
Потеря хозяина, кажется, на руку слугам,  
пускай и не знающим, что же им делать на воле  
помимо раздела богатства на львиные доли.

Известно, что духом воспрянут свободные люди,  
и если верны ходовые сейчас разговоры,  
им завтрашний день поднесет на фарфоровом блюде –  
недаром являлся назойливый призрак фарфора.  
И только смущает опасность корыстного спора –

иное пока не играет особенной роли;  
задача одна – рассчитаться вернее друг с другом:  
былое хозяйство поделят на жалкие доли  
согласно известным, не признанным раньше, заслугам.  
А большего вовсе не надобно нынешним слугам.

Ингерманландка

Соне  
Гляжу вослед листам влекомым  
Струями ветра, током вод,  
Людам, скотам и насекомым,  
Гонимым вброд из рода в род.

Орел механики кохтистый  
Колелет мысль, кровь, эфир  
И, взор вперяя серебристый,  
Вращает сублунарный мир.

Слежу и кровью цепенею  
За вереницею спинов,  
Декартов, лейбницев, линнеев...  
Влачащих тяготенья воз.

Орла механики полёты  
Узрел, но тщетно обуздать  
Алкал дер гроссе дихтер Гёте,  
Но славу Фаусту стяжать.

Судьба, увы, не подарила -  
Разверзнув страшные крыла,  
Сей луч надежды поглотило  
Горнило алчного орла.

Но все же мню я, что не значит  
Разгрома фаустов конец,  
Хоть сам гоним, ищущи удачи,  
Как невесомый пух древес.

Ингерманландии печальной,  
Холодных чащ и дебрей дщерь  
Презря утех ручей хрустальной  
В заветную стучится дверь.

И вспоминая край минувший  
В пустыне чахлой и скупой,  
Уже не жаждет почвы лучшей,  
Но ищет участи иной,

Незванные мысли мешают забыть в концерте,  
подавшись гипнозу густых вертикалей органа;  
за частыми трубами, кажется, жметса охрана.  
Когда содрогается храм, вспоминаю тирана,  
желая о мире беседовать с ним и о смерти.

Я слышу, как с треском печати срываются с книги,  
а музыка  
спящих сзывает на суд  
без разбора,  
и что-то мне скажет тиран? – я готовился к спору,  
а он непривычно бессилен, с замашками вора,  
лишенного рук, – и задумал интриги!

Разрушится храм, коль не стихнут органные трубы –  
торжественный Бах унимает их ноткой гобоя.  
И все-таки ангел над кафедрой медлит с трубой,  
а чернь ожидает сигнала к ночному разбою –  
тиран направляется в суд, наступая на трупы.

Валим Фадин

Эрнст Руммель

Бьёт механическая птица  
Ужасными крылами зря,  
Узря последнюю страницу  
Стальных времен календаря.

С ингерманландкой неустанной  
Грядёт век новый, златотканый.  
Звездам число есть, бездне дно!  
Вертись, вертись веретено!

7 ноября 2000



**Виланд Борхардт**

Родился в 1956 г. в Люденшейде, вырос в лесничестве под Бонном, закончил Боннский университет по специальности русский и французский язык. Был стипендиантом Реймского университета (Франция, 1977/78) и Института русского языка им. Пушкина (Москва, 1982). Преподаватель, в 1987-88 гг. был ассистентом по специальности немецкий язык в южной Франции (Кастельзарразен), в 1991-92 гг. преподавал русский и французский языки в Англии (The Campion School, Hortschurch, Essex). Много лет занимается поэтическим переводом.

**Schweigen**

Für Marina Zwetajewa

Steigen, verstiegen zu Dir,  
Wir scheinen, erscheinen nicht  
ohne Dein Tätigkeitswort, vier  
Wände, Satzzeichen, Schatten bricht.

28.10. 1996, Brühl

Марина Цветаева

Я – страница твоему перу.  
Всё приму. Я белая страница.  
Я – хранитель твоему добру:  
Возвращу и возвращу сторицей.

Я – деревня, чёрная земля.  
Ты мне – луч и дождевая влага.  
Ты – Господь и Господин, а я –  
Чернозём – и белая бумага!

10 июля 1918

На брэнность бедную мою  
Взираешь, слов не расточая.  
Ты – каменный, а я пою,  
Ты – памятник, а я летаю.

Я знаю, что нежнейший май  
Пред оком Вечности – ничтожен.  
Но птица я – и не пеняй,  
Что лёгкий мне закон положен.

16 мая 1920

**Радость**

Марине Цветаевой

Как люблю я вас!  
Ты – мне рана!  
Где же ограда для нас?  
Пусть... пустяки! Нам пока ещё рано, рано!

17.11.1996, morgens und 30.10.2001 (Endfassung)

Marina Zwetajewa

Ich – die leere, weiße Seite Dir.  
Alles nehm' ich! Deine Schrift – einmalig!  
Ich – Beschützer Deiner Weite hier:  
Deine Güte wächst in mir vielfältig.

Ich – ein Dorf und schwarze Erde schier.  
Du – mein Licht – ja, regennaßer Wogen,  
Du – mein Herr und Meister, Lehrer mir:  
Schwarze Erde – leerer, weißer Bogen.

WB, 26.9.1996, Brühl

Auf meine arme Endlichkeit  
Dein Blick sich senkt: kein Wort verlierend.  
Du: steinern, ich – zum Lied bereit,  
Du: Denkmal, ich – zum Himmel fliege.

Ich weiß, der allen zarte Mai –  
Ein Nichts vor Ewigkeiten allen.  
Ein Vogel ich, nicht schimpf', verzeih',  
So leicht die Vorschrift mir gefallen.

WB, 13.6. – 14.6. 1996, Dresden  
und 14.10. 2001 nach VII. Internationalem  
Puschkin-Symposium in Würzburg  
Wieland Borchartd

**Леонид Бердичевский**

Вольные переводы из Поля Валери

**Г р а н а т**

От спелости трещит его кора  
И открывается витраж граната.  
Янтарными кристаллами богата  
Архитектоника всего нутра.

Под лаской солнечной, плоды равнин,  
Своей, невольно, подчиняют власти,  
Так хочется скорее к ним припасть и  
Залиться соком до самих глубин.

И мнится, что сбываются мечты,  
В которые не очень верил ты.  
Но вот – великодушие граната,

Взбодрило состояние души,  
Теперь уже хоть пой, или пляши –  
Всё покровительством его объято.

**Ш а г и**

Как шёпот звук твоих шагов.  
Они стремительны и точны.  
И, тишину едва вспоров,  
Дорогу видят даже ночью.

В движеньях их большой размах,  
И силуэтом лёгкой тени,  
Они, ночной не зная страх,  
Скользят по комнатной арене.

Явись ко мне, тебя прошу,  
Прекрасным трепетом волнуя.  
Я с удовольствием вкушу  
Прикосновение поцелуя.

Я жду твоих шагов всегда.  
Ошеломлён я их шуршаньем.  
Моя в них вечная нужда –  
Глубокой ночью, ясной ранью.

\*\*\*

Прибавил влаги в океан,  
Пролил из штофа алкоголя.  
Чтоб океан стал в меру пьян  
И возбуждён в своей юдоли.

На это кто благословил?,  
Тревожный голос ниоткуда.  
Тот, кто в мой штоф нервозно влил,  
С прицелом, огненное чудо...

И скорости своей верна,  
Вмиг захмелевшая волна,  
Судьбе противиться не смея,

Накинув кружевной наряд,  
Вращаясь, словно акробат,  
О берег бьёт, уже трезвея.

Миша Полянская

# Последняя работа Ефима Эткинда



## "Dos lied vunem ojsgehargetn jidischn volk" Ицхака Каценельсона в переводе Эткинда

В январе 1944 года Ицхак Каценельсон, находясь в нацистском концлагере в маленьком французском городке Витель, закончил свою эпическую поэму "Сказание об истребленном еврейском народе", одно из самых замечательных поэтических произведений, когда-либо написанных на идише. Работу над ней поэт начал еще находясь в Варшавском гетто, уже там первые песни "Сказания..." были прочитаны друзьями Каценельсона, сумевшими переправить его в "привилегированный лагерь" в Вителе (лагерь был создан для английских, голландских, американских и др. граждан, которые подлежали обмену на немецких военнопленных), взяв с него обещание дописать и сохранить поэму.

Однако даже в "привилегированном" концлагере сохранить поэму оказалось нелегкой задачей. Закончив работу над последней песней, Каценельсон тайно переписал текст поэмы бисерными буквами на папиросной бумаге и вшил копию в кожаную ручку чемодана. Эта рукопись впоследствии так и была названа – "чемоданный" вариант. Первоначальный же вариант удалось спрятать в трех бутылках и закопать под деревом на территории лагеря.

Поэту не суждено было выйти на свободу. 18 апреля 1944 года он был депортирован в Освенцим, где вместе с сыном погиб два дня спустя в газовой камере. Что же касается рукописей, то их удалось спасти. Чемодан со вшитым "Сказанием..." был передан Рут Адлер, девушке, которую обменяли на немецких военнопленных. Вместе с ней "чемоданный вариант" оказался в Палестине. А в августе 1944 сразу же после ухода немцев обнаружилась и рукопись в бутылках, которая впоследствии попала в Париж к бывшему лагерному узнику Натану Экку, находившемуся в Вителе вместе с Каценельсоном и чудом спасшемуся во время депортации в Освенцим.

Вторая жизнь спасенной рукописи - это ее трудный путь к читателю. Впервые поэма Каценельсона "Сказание об истребленном еврейском народе" была в оригинале опубликована в Париже в 1945 году по инициативе Натана Экка.

Именно это первое издание, подготовленное Экком, легло в основу русского перевода Ефима Эткинда, последней работы этого выдающегося ученого-филолога, автора более 500 научных сочинений по вопросам теории художественного перевода, истории русской и западноевропейских литератур, стиховедения и стилистики, а также создателя многочисленных переводов немецкой и французской поэзии. Переводы Эткинда из двадцати пяти немецких поэтов за пять веков собраны в антологии "Маленькая свобода" (см. "Зеркало Загадок", 1999, № 8).

Эткинд читал поэму Каценельсона в латинской транслитерации, выполненной Арно Лустигером для поэта-песенника Вольфа Бирмана, автора немецкого перевода поэмы, опубликованного в 1994 году.

Характерное сближение: за перевод Каценельсона взялись поэты с политическо-биографической параллелью. Оба были однажды лишены гражданства и выдворены из страны, Бирман из ГДР, Эткинд из СССР.

Напомним, что до апреля 1974 года, Эткинд был профессором Педагогического института им. А. И. Герцена, откуда был уволен по сфабрикованному КГБ "делу". В 1989 году совет РГПУ им. А. И. Герцена отменил решение 1974 года как необоснованное, Эткинд был восстановлен в ученом звании профессора, в том же году цензурное управление Главлита постановило вернуть в библиотеки запрещенные его книги "Поэзия и перевод", "Разговор о стихах" и др.

В предисловии к русскому изданию поэмы Каценельсона Эткинд пишет: "За более чем полвека об истреблении евреев, об Освенциме и Трешлинке написаны тома воспоминаний и исследований, об этом снят документальный фильм Жака Ланцмана "Шоа", создано стихотворение Пауля Целана "Фуга смерти". Называю только важнейшие документы и свидетельства проклятой эпохи, сатанинских лет гитлеризма, когда германская нация была сведена с ума несколькими фанатиками-демагогами и превратилась в многомиллионную банду садистов, вандалов, убийц". Все то, о чем пишет Каценельсон в своем "Сказании...", он пережил сам.

"В поэме Ицхака Каценельсона, - пишет Эткинд, - безусловность и непосредственность дневника сосуществуют с эмоциональной неотразимостью искусства... Мы узнаем о гибели семьи, - поэт не щадит ни себя ни нас. Каценельсон рассказывает о "юденратах" и о председателе правления общины, покончившим с собой, о невообразимой деятельности еврейских "полицаяв", о восстании в Варшавском гетто и некоторых его руководителях и героях".

Эткинд говорит о том, что стремился по возможности воспроизвести особенности еврейского подлинника, однако, следуя русской классической традиции, придал метрико-ритмической структуре поэмы "большую регулярность", ориентируясь на перевод Н. Заболоцкого "Слова о полку Игореве". Ориентировка, по всей видимости, не случайная. В то время как сам Эткинд видит в "Сказании" продолжение Дантовской традиции, коннотационные связи со "Словом" уже в первых строках сказания трудно не заметить: "Пой вопреки всему, наперекор природе. Ударь по струнам, пой, сердцами овладей!"

Эткинд подчеркивает сочетание дневниково-непосредственной документальности и высокой художественности поэмы, в основу которой положена строжайшая композиционная логика. Поэма состоит из пятнадцати песен, каждая песня посвящена отдельной теме и обладает сюжетной целостностью. Это поистине эпическое произведение, сочетающее лирические элементы с библейской патетикой и фольклорной разговорностью, может быть, единственное в своем роде в двадцатом веке. Тем значительнее представляется заслуга переводчика, сумевшего передать стилиевые особенности и дух оригинального произведения.



# "Эхо дантовских терцин"

Данте Алигьери, Божественная комедия,  
перевод В. Г. Маранцмана,  
Санкт-Петербург, 1999

Мина Полянская



В. Маранцман

М. Полянская

Ясная Поляна, 1967 г.

В 1817 году в журнале "Сын отечества" был опубликован отрывок из "Уголино (из Данте)" в переводе Павла Катенина. По сути дела, это была первая попытка перевода "Божественной комедии" на русский язык. Всего Катенин перевел три песни "Комедии". Этот неполный перевод оказался по определению многих исследователей непревзойденным.

Владимир Маранцман, автор нового перевода дантовского "Ада", вышедшего в Петербурге в 1999 году, придерживается такого же мнения. Перевод Маранцмана можно считать событием уже потому, что после Михаила Лозинского (кроме А. Илюшина) в течение 55 лет русские поэты *не решились* переводить Данте.

Между тем, во второй половине 19-го века Данте на редкость естественно вошел в русскую культуру и оказался, как сказал бы Блок, "странно живым". В 1855 году увидел свет дантовский "Ад" в переводе Д. Мина, который В. Брюсов назвал подвигом, так как Мин отдал работе над ним десять лет жизни.

Сам Брюсов, считавший перевод Мина недостаточно соответствующим подлиннику, перевел первую и фрагменты третьей и пятой песни и неоднократно писал о том, что разрыв времен чрезвычайно осложняет его работу поэта-переводчика. Маранцман во вступительной статье к своей интерпретации поэмы вторит Брюсову: "Как мы видим, стиль времени и культура переводчика влияют на прозаический текст, лишая "Комедию" Данте поэтических интонаций и образов".

При буквальной точности, поясняет Маранцман, текст перевода может оказаться мертвым слепком оригинала, подобно восстановленному античному храму, потерявшему "многозначность подлинника, заметную в развалинах". Маранцман, переведивший "Ад" также как и Мин в течение десяти лет, разумеется, основательно изучил историю освоения Данте в России и, отдав предпочтение переводу Катенина, отметил бережное, даже трепетное отношение литераторов к слову в пушкинское время: "...Пушкинская эпоха побуждает оценивать каждое слово не как служебную, а как самостоятельную единицу поэтической речи".

Об альтернативах перевода первых строк "Комедии", повествующих о смятении человека, находящегося на распутье, испытавшего жизненный кризис и утратившего надежду на спасение Маранцман пишет: "Даже М. А. Лозинский, опиравшийся на Катенина и почти дословно повторивший первую строку поэмы, во многих отношениях оказывается дальше от Данте, чем Катенин. (Начало поэмы у Катенина звучит так: "Путь жизненный пройду до половины..." Это точнее перифразы Лозинского: "Земную жизнь пройду до половины..."")"

Эти известные терцины именно в переводе М. Лозинского остались в читательском сознании стихами, сросшимися с подлинником:

Земную жизнь дойдя до половины,  
Я очутился в сумрачном лесу,  
Утратив правый путь во тьме долины,

Каков он был, о, как произнесу,  
Тот дикий лес, дремучий и грозный,  
Чей давний ужас в памяти несус!

Приведем и перевод Маранцмана:

В середине нашей жизненной дороги  
попал я в мрачный незнакомый лес,  
где путь терялся в темной логге.

Как рассказать, чтоб он в словах воскрес?  
Тот лес был диким, мощным и суровым.  
Страх в памяти доселе не исчез.

Маранцман не только поэт-переводчик, но и литературовед по профессии. Сегодня он профессор Петербургского педагогического университета им. А. И. Герцена, член корреспондент Российской Академии наук. Мне довелось учиться у него, когда он был еще молодым доцентом филологического факультета. Он, ученый-романтик, работавший рядом с такими выдающимися учеными как Н. Берковский и Е. Эткинд, которых он считал своими учителями, желал невозможного: например, чтобы литературой занимались исключительно таланты, чтобы на филологическом факультете учились только студенты, имеющие литературное призвание.

Выбор Маранцманом-переводчиком итальянской литературы не случаен. Он владеет итальянским, поскольку происходит из семьи итальянских евреев провинции Барри, бежавших в Россию во время восстания Гаррибальди и сохранивших из поколения в поколение итальянский язык.

А в 1967 году Маранцман неожиданно получил разрешение посетить в Италии оставшихся там родственников. Вернувшись из путешествия, он предложил нам, студентам, провести семинары – свои устные рассказы об Италии. В течение нескольких месяцев Маранцман знакомил нас с шедеврами итальянской архитектуры, живописи, музыки и литературы. Говорили еще, что он писал стихи, но у меня появилась возможность познакомиться с ними только сравнительно недавно.

Поэтическим переводом Маранцман увлекался уже в шестидесятых годах. Характерно, что в 1965 году на защите докторской диссертации Е. Эткинда "Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики" Маранцман был назначен его оппонентом. О методах и принципах работы Маранцмана как поэта-переводчика, а также о его оценке переводов предшественников-проводников – "эха дантовских терцин" – читатель сможет узнать из его собственного комментария к книге. На подаренном мне Маранцманом экземпляре дарственная надпись: "с верой, что даже дороги ада ведут к звездам". Хотелось бы в ответ пожелать Владимиру Маранцману, поэту, прошедшему вслед за Данте все круги его "Ада", и в дальнейшем такого же мужества и творческих сил при переводе "Чистилища" и "Рая".

# Фабрика еврейства

Александр Мелихов



недружественные суждения моих собеседников она написала лично мне, зато причины, порождающие обиды русского населения, не вызвали у нее ни малейшего интереса ("пусть ненавидят — лишь бы боялись"). Я еще раз убедился, что национальный подъем несовместим с критичностью по отношению к этнообразующим фантомам и, следовательно, с вниманием к чувствам чужаков. Пламенные казахские патриоты относились к чувствам русских примерно так же, как пламенные русские патриоты к чувствам евреев: обиды чувствовали исключительно свои.

Что и плоды порождало сходные. Со сходными обидами множество образованных евреев (а среди них лишь меньшинство ехало только за колбасой) и оставили Россию.

Спешу оговориться: разумеется, русско-казахские отношения далеко не тождественны русско-еврейским, история их во всем разная. Не исключая, однако, и кое-какого сходства. Казахам путь в советскую, а особенно местную элиту, был более чем не заказан — порочность таких карьер казахские патриоты видели только в том, что, поднимаясь по социальной лестнице, образованные казахи отрывались от своего народа. У евреев тоже были годы (двадцатые), когда их попадание в элиту едва ли не поощрялось или уж, по крайней мере, не тормозилось — последствия мы отчасти расхлебываем и по сию пору: перечни еврейских имен и расшифрованных псевдонимов среди довоенных партийных шишек составляют самые мощные батареи среди артиллерии российских антисемитов.

Но вот что даже в глазах русских патриотов, я думаю, можно отнести к достоинствам тогдашних партийно-государственных евреев — они, мне кажется, были патриотичны по отношению к советскому государству, как это и подобает властной элите. Патриотичны в извращенной, советской форме, но — патриотичны. Они стремились увеличить могущество и влияние РСФСР от Лондона до Ганга. Да — без России, без Латвии, но уж это-то было заведомой утопией. Доминирование русских в "едином человечьем общежитии" Советского Союза через какое-то время все равно бы наступило само собой и без репрессий конца тридцатых. Только при этом еврейская прослойка, которая сохранилась бы в государственной элите, сохранила бы и ответственность за страну — по крайней мере, в той же степени, что немецкая прослойка русского дворянства. Судя по художественной литературе, служебные успехи и относительная, быть может, более воображаемая, сплоченность немцев тоже раздражали русское общество, но отнюдь не до ненависти (о погромах я уже не говорю).

Свои либерально-оппозиционные свойства евреи, возможно, снова обрели только тогда, когда были вновь все-речь и надолго оттеснены от государственной власти в чисто технические и чисто культурные сферы (в среднем и там встречая повышенное количество препон к социальному росту). Однако, как показало время, в своем стремлении к

Несколько лет назад по заказу журнала "Дружба народов" я написал статью о положении русских в Северном Казахстане. Написал по-простому — разговаривал с людьми (так получилось, что в основном с образованными) да заносил в книжку.

И решительно все были обижены (причем не обязательно за себя лично), что русских отодвигают от всех руководящих должностей на чисто технические. Попутно я поинтересовался у одного умного доцента, как у них обстоят дела с еврейским вопросом, и услышал: "Да мы все здесь понемногу превращаемся в евреев — как их изображают антисемиты. Прав хотим — обязанностей не хотим. Участия во власти хотим, а в армии служить не хотим, перед телевизором только посмеиваемся: ну-ну, посмотрим, как вы будете гармонично развиваться до две тысячи тридцатого года... В выступлениях руководителей только речевые ошибки выискиваем, все национальные достижения для нас только повод для презрения: всю, мол, казахскую музыку сочинил еврей Брусиловский, Джамбула создали русские переводчики, в архитектуре ничего, кроме юрты, не выдумали... Новые святыни разбираем по косточкам, а этого никакие святыни не выдержат. Их День Независимости для нас что-то вроде пьяной драки: ну, пошвыряли студенты-недоучки ледышками в милицию... Причем из-за чего — у нового начальника не тот был, видите ли, разрез глаз! Ну, и так во всем".

Наблюдение показалось мне любопытным: внутреннее ощущение принадлежности к элите интеллектуальной при физической невозможности войти в элиту властную — это, оказывается, способно превратить в "евреев" исконно русских и притом сформировавшихся людей. Если же в подобную фабрику запустить юные души...

Я еще был настолько глуп (впрочем, в мои годы уже не уменьют), что даже слегка надеялся своим очерком принести маленькую пользу казахской интеллектуальной элите — к чему им, вроде бы, плодить недоброжелателей среди весьма заметной части образованного слоя своего общества? Отповедь в той же "Дружке" мне дала г-жа Нурпеисова. Все

либеральной перестройке Советского Союза и они более руководствовались абстрактными идеалами, то есть коллективными фантомами, а не расчетливостью: предвидеть, что в материальном отношении их (нас) подавляющее большинство больше потеряет, чем приобретет, было не так уж трудно. Тем не менее, подобная наивность, готовность ставить прекрасные фантомы выше корыстных расчетов бывает присуща лишь аристократической части общества: плебс-то заботится исключительно о собственной шкуре.

И очутившись на рубеже девяностых в Израиле — кто из-за обновленных "Памятью" обид, кто из-за голода, кто из-за паники, а кто и за компанию, — большая доля российских евреев утратила очень важную возможность — возможность ощущать себя аристократической частью общества. Пусть стесняемой, отвергаемой и все же аристократической. Как, скажем, оскудевшее дворянство к концу позапрошлого века. В Советском Союзе уже одним тем, что ставила евреям (включая полукровок) препоны, власть демонстрировала, что считает их серьезными соперниками. И влияние их (наше) на умы через сдерживаемое и все равно ощутимое участие в прессе, в литературе, в искусстве, в науке, в преподавании, даже и через авторитетное присутствие в дружеских кружках было тем более существенным, что сильно преувеличивалось антисемитами. Нет, я не согласен с тем, что русские прямо-таки "приняли" еврейский взгляд на свою историю и на выходы из нее, как считает Солженицын ("Двести лет вместе"), но оснований ощущать свою принадлежность к духовной элите советского общества у евреев, несомненно, было достаточно. В Израиле ситуация переменилась. Правительство выделяет средства на адаптацию "русской алии", но сколько-нибудь серьезной, способной реально влиять на умы духовной силы в ней, похоже, не видит. Более того, кое-кто даже не может скрыть, что видит в ней прежде всего "контингент" воров, проституток и наркоманов. И знаменитостей из русских евреев, в отличие от России, на общеизраильском небосклоне до последнего времени сияло не так уж много. Поэтому теперь уже и в Израиле для "русских евреев" в какой-то мере возникает прежняя ситуация — внутреннее чувство принадлежности к элите при практической (почти) невозможности попасть в нее: многие "русские евреи" становятся "евреями" уже и в еврейском государстве. И новую обиду, упавшую на старые дрожжи, далеко не каждый (хотя есть и такие) отваживается направить по адресу новой родины, из которой уже некуда даже улететь мечтой к какому-то еще более "подлинному" отечеству. Гораздо легче весь букет обид сосредоточить на первопричине всех бед — на той стране, которая когда-то не допустила их занять в ней заслуженное место, — обиду на новую родину упрятав под экзальтированное всепрятие.

У меня, естественно, нет точных данных, но, судя по личным впечатлениям, доля "непризнанных аристократов" среди евреев, оставшихся в России отнюдь не превосходит процента "аристократов", не признанных Израилем. И если бы российское правительство пожелало несколько увеличить их расположение к России (уменьшить их нерасположение), ему следовало бы прежде всего показать еврейским выходцам из России, что оно по-прежнему считает их частью русской духовной аристократии. С этой целью можно было бы что-то сделать для распространения и переиздания в России наиболее интересных произведений прозы, поэзии, публицистики "русского Израиля", можно было бы регулярно "освещать" по телевидению яркие события его культурной и общественной жизни, — во многом можно, я думаю, просто воспользоваться советским опытом производства "друзей Советского Союза за рубежом", переименовав лишь критерий идеологической близости на критерий эстетического и интеллектуального качества.

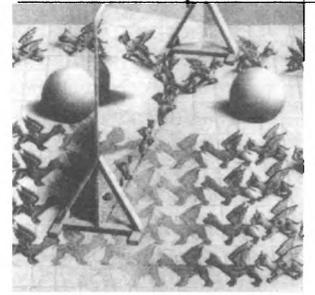
Быть может, никакое иное капиталовложение не будет стоить так дешево, а цениться так дорого.



Размышления о полетах в космосе, коммунизме и прочих земных мечтах в популярных сюжетах прошлого столетия.

# Взвездолеты фантазии

Маттиас Шварту



Мечта летать

"После 11-го сентября все стало по-другому." После первоначального шока, который вызвали во всем мире террористические акции в Нью-Йорке, эта так часто звучащая фраза постепенно превращается в политическую программу, программу радикального передела геополитических сфер влияния мировых держав.

В то время как политические приоритеты на карте мира стремительно смещаются, культурная индустрия спешно настраивается на новое положение вещей. Ведь притягательная сила популярных продуктов культуры как раз и состоит в том, что они, реагируя на глобальные или локальные сдвиги, тематизируют мечты, надежды и страхи, волнующие общество.

Так, перед рождением 2001 года самым популярным "культпродуктом" стали миры "фэнтэзи" Гарри Поттера или Властелина Колец: как и в "реальности" теле-радиогазетных новостей, *Зло* плело здесь свои дьявольские сети, но *Добро*, вооруженное волшебством и бесстрашием, все же одерживало победу. Следующее, становящееся все более популярным творение культурной индустрии – это биотехнология. В отличие от "фэнтэзи" она предлагает не альтернативный выдуманный мир, а обещает, опираясь на авторитет науки, с помощью генетических манипуляций создать нового человека, лучше приспособленного к несовершенству этого мира, чем ныне существующая модель.

Другие же средства социализации после 11-го сентября 2001 года стремительно упали в цене. Одно из них – это полеты. То, что когда-то олицетворяло собой величайший триумф техники и стремление человека к прогрессу, сегодня вызывает тревогу и страх, ассоциируется с катастрофами последнего времени. Еще в начале прошлого века полет считался осуществлением заветной мечты человечества – с помощью техники преодолеть силу тяжести и подняться в небо. Сегодня, однако, самолет из посланника неба превратился в посланника страха.

Между тем, самолеты применялись для воздушных бомбардировок на протяжении всего двадцатого столетия и являлись страшным оружием разрушения. Это не нанесло однако ущерба символике мирного воздухоплавания. Самолет объединил весь мир, превратил дальние путешествия в стремительные приключения, доступные и "маленькому человеку", летящему чартерным рейсом на солнечный юг. Это восприятие изменилось лишь в последнее время, когда участились авиакатастрофы и возникло множество нерасследованных аварий, причиной которых были, возможно, диверсии и террористические акты. Летом 2000 года взорвался считавшийся когда-то "чудом техники" сверхзвуковой самолет "Конкорд", у которого "всего-навсего" лопнула **шпана**. А одиннадцатого сентября выяснилось, что обыкновенный нож может привести к крушению гражданский самолет, и служить таким образом оружием массового уничтожения, способным полностью разрушить Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

Космические полеты также приносили в последнее десятилетие одно разочарование за другим. После того, как миссия орбитальной станции "Мир" превратилась в надол-

евший "сериял" следующих одна за другой и едва предотвращенных катастроф, ее "контролируемый" сход с орбиты в начале 2001-го года был воспринят с облегчением. Но и с преемником "Мира", интернациональной орбитальной станцией ISS дело обстоит немногим лучше. Характерно, что участникам космического проекта не удалось даже договориться о каком-нибудь запоминающемся названии станции – очевидный симптом семантического дефицита космонавтики. Сегодня ISS сдают напрокат мультимиллионерам или раздумывают о том, как бы приспособить ее для выполнения таких "земных" задач, как регулирование пробок на крупных автомагистралях. "Марсообланы" НАСА бесследно канули в атмосферу "красной планеты". Американский бюджет следующих полетов на Марс был радикально сокращен в пользу "земных" военных целей.

Похоже, что мечта о полетах на какое-то время потеряла свое очарование. Изначально это была надежда на пути научно-технического прогресса расширить сферу воздействия человека на окружающий мир – то есть не что иное, как прямой вызов судьбе, предначертанной роду человеческого небесами. А ведь небеса – это и обиталище олимпийских богов, и тронный зал библейского бога. Знаменитый миф об Икаре и Дедале – одно из ранних выражений богоборческой конкуренции. Этот миф очерчивает земные потенции и небесные грани "второй природы" – техники и ее творца – человека.

В то же время, именно опасные технические эксперименты, подобные тем, о которых повествует миф, окрыляли и мистическую и религиозную фантазию. Это касается и современной астрономии, развивавшейся в неразрывном альянсе с астрологией: "переворот" Коперника и развенчание небесного шатра как места обитания богов дали очередной толчок фантазиям популярной культуры раннего нового времени о символических и судьбоносных небесных телах – на смену религиозной вере заступил "научный" гороскоп. Средневековая церковь, постулирующая раз и навсегда заведенный божественный миропорядок, приобрела опасных конкурентов: в Европе появилось множество альтернативных моделей мира – научных, философских и религиозных миров – которые все больше уходили из под влияния официальной церкви.

Летчики революции

Мечта о покорении небес всегда была не только богоборческим порывом, но одновременно суррогатом провалившихся реформ и зашедшей в тупик социальной эмансипации. Ответственность за земные несовершенства возлагалась на сверхъестественные силы, а полет в небеса, казалось, должен был исправить подлунный мир. Связь несбыточных мечтаний с символикой полетов так глубоко укоренилась в подсознании человеческой цивилизации, что Зигмунд Фрейд даже сны о полетах толковал как сексуальные видения. Также не было случайностью, что в России, где монархический режим с присущим ему консерватизмом всячески сопротивлялся политическим и экономическим реформам, никто иной, как Николай Федоров (1828 – 1903) занялся обоснованием "Философии русского космизма".

Концепция русского космизма была связана с надеждой на радикальное улучшение человека и окончательное преодоление его "естественных" границ. Люди должны были стать братьями, мертвые – воскреснуть, дихотомия времени и пространства также должна была быть преодолена. Самой Земле суждено было по плану Федорова превратиться в космический корабль, несущийся в пространстве, дабы покорить и заселить далекие планеты. Также и русский писатель и физик Константин Циолковский (1857 – 1935) воспарял над земной юдолюю в мечтаниях о ракетных двигателях и межпланетных блужданиях и возмужаниях рода человеческого, исходя при этом из простой посылки: "Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели".

После октябрьской революции 1917 года и внедрения "научного взгляда на мир" мечта о покорении небес в России нашла отражение во множестве научно-популярных и литературных произведений. С наступлением новой политической эпохи пришла надежда, что теперь произойдет и соответствующая техническая революция.

Именно тогда самолет стал олицетворением современности. Массовая культура времен Сталина широко использовала этот символ технического прогресса и создала продукт огромной суггестивной мощи – миф о летчиках. Летчики были неоспоримыми героями 30-х годов – сыновья богов равного Сталина, устанавливающие все новые и новые рекорды. Хотя насильственная индустриализация развивающейся страны не принесла видимых результатов для отдельных людей на земле, в небесах мечты новая эра казалась достижимой. В популярных фильмах и романах того времени герои-летчики, одетые в белое, подобно ангелам, спускались на землю дабы насладиться плодами социалистического строительства. Не случайно история о подвигах героя-летчика Алексея Мересьева, написанная Борисом Полевым, называлась "Повесть о настоящем человеке". "Настоящими людьми" были люди, совершающие сверхчеловеческие, граничащие с фантастическими подвиги.

Таким образом, массовая культура сталинского времени функционировала как и любая другая массовая культура: миф о летчиках давал людям материал для их мечтаний и стремлений. Одновременно с этим "Летчики" вступали в единоборство с "Богом". Этот миф являлся в каком-то смысле суррогатом веры, замещающим отнесенную на задворки общества церковь. Мотив конкуренции с верой звучит еще четверть века спустя в разговоре, который советский космонавт-3 Андриян Николаев вел перед полетом в космос в 1962 году со своей матерью. Он сказал ей, что полетит очень высоко.

– Лети, кто тебе мешает, – спокойно заметила мать.

Сын шуточно ответил:

– Полететь можно, но только что мне скажет боженька?

Вдруг обидится, начнет скандалить. Ведь я вторгнусь в его владения.

Андриян знал, что раньше мать ходила в церковь, молилась богу.

Она посмотрела на сына и спокойно ответила:

– Что вам боженька... Боженька вам не указ. Вы, летчики, все небо облазили. Хозяева в небе-то... Сами как боги.

Во времена Хрущева на место "летчиков" заступили "космонавты". Эти "сыновья неба" пропагандировали собой не строительство социализма, а уже следующий этап развития: коммунизм. Полет в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, менее чем через четыре года после запуска первого спутника, положил начало этому новому этапу. Гагарин, этот "Колумб космонавтики", "покорил" для Советского Союза космические небеса – победа, символизирующая преобразование поднебесного мира. Точно так же, как культ Сталина и истории о героях в 30-х годах заполняли религиоз-

## Sternenschiffe der Fantasi

Überlegungen zum Fliegen und anderen Wunschträumen aus dem vergangen 20. Jahrhundert (Auszüge)

Von Matthias Schwa

(...) Mit dem 11. September hat der Traum vom Fliegen rapide an Popularität verloren. Was einst als der größte Triumph der Technik und des menschlichen Strebens nach Fortschritt galt, löst heute Unsicherheit und Angst aus. Anfan des letzten Jahrhunderts galt es noch als die Erfüllung eines uralten Wunschtraums des Menschen, mit Hilfe eines Flugzeugs die Schwerkraft überwinden zu können und in den Himmel aufzusteigen. Heute hat sich das Flugzeug vom Himmelsboten zum Hiobsboten gewandelt.

Zwar funktionierte das Flugzeug als Bomber im Krieg schon das ganze 20. Jahrhundert lang als eine grausame Zerstörungswaffe, was aber in der zivilen Luftfahrt der Attraktivität des Fliegens keinen Abbruch tat. Das Flugzeug vereinte die Welt, verkürzte Reisen zu den fernsten Winkeln der Erde zu einem Abenteuer und machte als Charterflug auch für den kleinen Mann einen Pauschalurlaub im sonnigen Süden bezahlbar. Erst in letzter Zeit änderte sich das Bild als sich die Flugzeugabstürze häuften und es immer wieder ungeklärte Fälle gab die den Verdacht auf Attentate und Anschläge nahe legten. Im Sommer 2000 explodierte dann das einstige „Wunder der Technik“, das Überschallflugzeug Concorde, aufgrund einer banalen Reifenpanne. Und am 11. September stellte sich heraus, dass man mit einem profanen Messer nicht nur ein ziviles Flugzeug zum Absturz bringen, sondern es als Waffe benutzen kann, um das Welthandelszentrum in New York vollständig zu vernichten.

Auch die Flüge in den Weltraum hatten im Laufe des letzten Jahrzehnts vornehmlich Enttäuschungen zu bieten. Nachdem die Mission der MIR sich zu einer nicht enden wollenden Geschichte von eben noch verhinderten Katastrophen entwickelt hatte, war deren geregelter Absturz Anfang 2001 fast eine Erleichterung. Doch um deren Nachfolger, die Internationale Raumstation ISS, steht es nicht besser. Man konnte sich noch nicht einmal auf einen einprägsamen Namen einigen. Heute vermietet man sie an Multimillionäre oder überlegt, sie für so profane Aufgaben wie die Regelung von Verkehrsstaus auf dicht befahrenen Straßen zu benutzen. Die Mars-Mobile der NASA versanken spurlos in der Atmosphäre des roten Planeten. Aufgrund der „irdischen“ Verteidigungsaufgaben ist das amerikanische Budget für folgende Marsmissionen 2001 radikal gekürzt worden. (...) Es scheint, als ob der Traum vom Fliegen vorläufig entzaubert worden sei. (...) Er war schon immer auch ein Ersatz für gescheiterte Reformen und Emanzipationsbewegungen auf Erden. Überirdische Mächte wurden für das irdische Scheitern verantwortlich gemacht und ein Flug in den Himmel versprochen, auch auf das hiesige Leben positiven Einfluss nehmen zu können. (...)

Nach der Oktoberrevolution 1917 und der Durchsetzung einer „wissenschaftlichen Weltanschauung“ nahm der Traum vom Fliegen in Russland in einer Vielzahl an populärwissenschaftlichen und literarischen Werken Gestalt an. Mit dem Anbruch einer neuen politischen Epoche hoffte man, dass nun auch eine entsprechende technische Revolution folgen werde. Das Flugzeug wurde zum Inbegriff der Modernität. Die Populärkultur der Stalinzeit benutzte dieses Sinnbild technischen Fortschritts und schuf einen regelrechten Fliegermythos. Die „Ljotschiki (Flieger)“ waren die unbestrittenen Helden der 30er Jahre, als Söhne des gottesgleichen

nenй вакуум по большей части крестьянского общества, космические корабли Хрущева стали в 60-х годах символом веры новой технической интеллигенции.

Таким образом, по восторженному отношению к космосу в Советском Союзе тех лет можно отчетливо проследить, как мечта летать, олицетворяя собой мечту о лучшей жизни, была центральным моментом веры в прогресс. Наиболее многогранно эту мечту развивала массовая культура. Этот процесс начался в 1956 году, когда с полетом спутника впервые открылся взгляд на иные миры, и звездное небо возвестило приход новой эпохи.

Stalin stellten sie immer wieder neue Flugrekorde auf. Wenn die gewaltsame Industrialisierung des Entwicklungslandes für den Einzelnen noch keine ansehnlichen Erträge auf Erden brachte, im Himmel schienen die Träume der Neuen Zeit erreichbar. In den populären Filmen und Romanen jener Jahre traten die Fliegerhelden weiß gekleidet wie Engel auf und konnten die Errungenschaften des sozialistischen Aufbaus genießen. Nicht zufällig hieß die Geschichte über die Taten des Fliegerhelden Aleksej Mersejew im Zweiten Weltkrieg von Boris Polewoj «Geschichte vom echten Menschen» (dt. „Der wahre Mensch“). „Echte Menschen“ waren diejenigen, die übermenschliche, ans Phantastische grenzende Leistungen vollbrachten.

So funktionierte die Populärkultur der Stalinzeit wie jegliche Populärkultur: Der Fliegermythos bot den Menschen Material für ihre Träume und Sehnsüchte. Gleichzeitig wurden auch hier die „Ljotschiki“ in Konkurrenz zu Gott gesetzt, sie funktionierten gewissermaßen als Glaubensersatz für die an den gesellschaftlichen Rand gedrängte Kirche. (...)

In der Chruschtschowzeit traten an die Stelle der „Flieger“ die „Kosmonauten“, die als Himmelssöhne nicht mehr den Aufbau des Sozialismus propagierten, sondern schon die nächste Entwicklungsetappe: Den Aufbau des Kommunismus. Der Flug Juri Gagarins am 12. April 1961, keine vier Jahre nach dem ersten Sputnikflug, hatte diese neue Etappe eingeleitet. Als »Kolumbus der Kosmonautik« hatte er für die Sowjetunion erstmals den himmlischen Kosmos „erobert“, der auch die irdische Welt verändern sollte. Genauso, wie der Stalinkult und die Heldengeschichten der 30er das religiöse Bedürfnis der vorwiegend ländlich geprägten Gesellschaft bedienten, funktionierten die Sternenschiffe der Kosmonauten in den 60ern als zentraler Glaubensinhalt für die neue technische Intelligenz.

So lässt sich anhand der sowjetischen Kosmosbegeisterung jener Jahre exemplarisch darstellen, wie der Traum vom Fliegen als Traum von einer besseren Welt ein zentrales Moment für den Fortschrittsglauben der Moderne gewesen ist. Und auch hier war es die Populärkultur, in der sich dieser Traum am vielschichtigsten entwickelte. Ihren Anfang nahm diese Entwicklung 1956, als sich erstmals der Ausblick auf andere Welten eröffnete und der Sternenhimmel neue Zeiten versprach. (...)

Als am 4. Oktober 1957 der erste künstliche Trabant der Erde in den Weltraum geschossen wurde, bedeutete das einen entscheidenden Erfolg für die Sowjetunion im friedlichen Systemwettbewerb. 1 400 Mal umkreiste die 84 Kilogramm schwere Silberkugel von 58 Zentimetern Durchmesser die Erde und signalisierte mit ihren per Radiogerät hörbaren monotonen Piepstönen, dass die Sowjetunion von nun an in der Lage sei, mit ihren Langstreckenraketen auch die USA zu erreichen. Sie war endgültig zur zweiten Weltmacht aufgestiegen. Was im Westen für den »Sputnik-Schock« sorgte, bot in der Sowjetunion mit einem Mal den Ausblick in eine Welt, die nicht in die Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit des sozialistischen Aufbaus eingebunden war. So waren von nun an die sowjetischen Flügel ins All ein andauerndes Thema in der Presse. (...)

Doch es waren nicht solche tatsächlichen Erfolge, die das Besondere der kosmischen Ära ausmachten, sondern es war die Faszination vom Himmel und von den Sternen, die in der sowjetischen Populärkultur zum Ausdruck kam: „Der Start der weltweit ersten künstlichen Trabanten (Sputnik) der Erde durch die UdSSR hat eine neue Ära eingeläutet – der menschliche Genius hat den geheimnisvollen Schleier des Weltalls gelüftet und den Weg in den Kosmos gebahnt.“ Es war dieser geheimnisvolle Schleier, der die Fantasien beflügelte und den der Flug Juri Gagarins erstmals in erreichbare Nähe zu bringen schien. (...)

### Восход солнца: 1956 год

Если спросить кого-нибудь на Западе, что он может сказать о Советском Союзе 1956-го года, в первую очередь будут названы закрытый доклад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС и подавление восстания в Венгрии. В советской прессе того времени однако же нельзя найти ничего (или весьма немного) по поводу этих двух событий. Здесь 1956-й год предвещал вступление общества в доселе неизвестный мир: началась культурно-политическая "оттепель".

Эти перемены наметились уже давно. С момента, когда в 1953 году Советский Союз впервые успешно провел испытания водородной бомбы, победа какой-либо из сторон в слу-

чае войны с США стала практически невозможна. Поэтому через три года после смерти Сталина, на XX съезде партии Хрущев сменил все еще являвшийся догмой ленинский тезис о неизбежности войны, пока существует империализм, на теорию мирного сосуществования: "Мы стоим за мирное сосуществование, за мирное соревнование между двумя системами – социалистической и капиталистической. И мы уверены, что наша система победит, как уверены в восходе солнца, как уверены в том, что оно завтра взойдет и будет освещать нашу планету."

Эта уверенность в победе основывалась, прежде всего, на шагах вперед на пути научно-технического прогресса, сделанных Советским Союзом в последние годы. Соединенные Штаты уже не опережали СССР в ядерной технологии, кибернетике и ракетной технике. В Советском Союзе были постепенно преодолены тяжелые последствия Второй мировой войны. Благодаря хрущевской жилищной политике миллионы людей получили отдельные квартиры, повысился жизненный уровень, широко распространилось телевидение.

Но соревнование антагонистических систем не только стимулировало удовлетворение повседневных потребностей, оно открывало новые перспективы. После многих лет изоляции журнальные и газетные статьи и репортажи, западные "прогрессивные" писатели и художники знакомили советских людей с культурными, техническими и индустриальными достижениями стран Западной Европы и Северной Америки. Впервые в Москве были выставлены работы Пикассо. В кинотеатрах бешеным успехом пользовались американские развлекательные киноленты и фильмы итальянского неореализма.

В то же время, начавшийся процесс деколонизации Африки и Азии открыл еще одно поле для борьбы интересов. Поддержка Египта во время Суэцкого кризиса в 1956 году принесла СССР грандиозный успех на Ближнем Востоке, Советский Союз приобрел большое влияние на стремящиеся к независимости африканские страны. Таким образом в поле зрения советской общественности попали преступления западных колонизаторов, в центре внимания оказались страны, о которых раньше никто и не слышал. Кульминацией этого процесса был с размахом инсценированный 6-й международный фестиваль молодежи и студентов в Москве, проходивший с участием представителей всех континентов под знаком освободительного движения Африки.

Таким образом, в 1956 году берет начало множество путей развития, которые способствовали расшатыванию авторитетов советского общества. Уже до 1956 года в некоторых научно-популярных журналах проскальзывали статьи о возможности полета человека в космос. Но лишь когда СССР и США в рамках международного геофизического года должны были запустить первый искусственный спутник для исследования солнечной активности в земной атмосфере, политики осознали, с какими пропагандистскими возможностями связаны полеты в космос.

### Полет спутника: 1957 год

Запуск искусственного спутника Земли на орбиту 4 октября 1957 года означал решающий успех СССР в мирном соревновании двух систем. Восьмидесятичетырехкилограммовый серебряный шар диаметром 58 см 1400 раз облетел вокруг Земли, сигнализируя о том, что теперь Советский Союз в состоянии достичь также и Соединенные Штаты Америки своими ракетами дальнего радиуса. СССР окончательно превратился во вторую мировую державу.

То, что на Западе вызвало "спутниковый шок", дало Советскому Союзу возможность заглянуть в мир, напрямую не связанный с целями социалистического строительства. Этого момента полеты в космос стали постоянной темой в прес-

се. В ноябре 1957 года в космос полетел "первый межпланетный пассажир" – собака лайка. После того, как она в течение недели "исследовала" жизнь в невесомости, ее усыпили в капсуле ракеты. В сентябре 1959-го первый летательный аппарат достиг поверхности Луны, доставив туда советский вымпел. А месяц спустя "Автоматическая интергалактическая станция" впервые сфотографировала обратную сторону Луны, на карте которой, опубликованной в 1960 году, появились названия лунных



кратеров "Ломоносов", "Циолковский" и "Жюль Верн", и так называемых лунных морей "Москва", "Плодородие" и "Мечта".

Впрочем, не эти реальные успехи были тем особенным, что отличало космическую эру, а восторг перед небом и звездами, нашедший свое выражение в массовой культуре: "Запуск в СССР первых в мире искусственных спутников Земли ознаменовал собой новую эру – человеческий гений приоткрыл тайную завесу Вселенной и проложил дорогу в космос." Это была та тайная завеса, которая издавна окрыляла фантастические замыслы человечества. Полет Юрия Гагарина впервые, как казалось, приблизил ее на достижимое расстояние.

#### Попытки к бегству

Один из таких фантастических замыслов был направлен на освоение космоса. Заселение других планет стало постоянной темой публицистики еще до полета Гагарина. К примеру, ученый Юрий Хлебцевич в конце 1958 года представил

трехступенчатый план, как за десять лет можно сделать Луну седьмым континентом. А три года спустя журналист Владимир Львов разработал план освоения космоса на следующие 150 лет. Соответственно этой 150-летке в 1970-1980 гг. предполагались высадка человека на Луну и строительство там первых постоянно обитаемых станций, в 1990-2000 – первые поселения и в 2090-2100 гг. – полное заселение и превращение Луны в цветущий седьмой континент. Также и на Марсе в XXI веке должна была быть реконструирована атмосфера, так что к 2090-му году первые сотни тысяч людей могли бы туда переселиться.

Не случайно именно научная фантастика завоевала в те годы огромную популярность, после того, как в сталинское время она лишь перевыполняла пятилетние планы и облакала индустриальные проекты-гиганты в "реалистическую" форму. Теперь она, напротив, воплощала в реалистические формы мечты о лучшем из миров будущего в космосе. Как в научной фантастике, так и в популярной публицистике возникало множество вариантов будущего. Впрочем, большинство фантастов и публицистов пророчили безгосударственное, управляемое советами общество, в котором каждый человек мог жить, исходя из своих потребностей и способностей.

В подобных построениях не последнюю роль играл вопрос, существуют ли другие разумные цивилизации и формы жизни во вселенной. Так, идея о переселении на Марс была отнюдь не бесспорной, так как было неизвестно, "вакантна" ли эта планета, или уже населена неведомыми существами. Так называемые "марсианские каналы", открытые еще в 1887 году, давали благодатную почву фантазиям. Поскольку эти заметные в телескоп образования имели различные геометрические формы, возникали теории об их искусственном происхождении.

Так, в 1960-м основатель советской астробиологии Гавриил Тихов предполагал, что марсианские каналы могут быть частью гигантской сельскохозяйственной системы. Московский астроном Феликс Зигель в 1961 году предложил, исходя из охватывающей всю планету единой структуры этих каналов, гипотезу о том, что на Марсе не существует национальных границ, и марсиане живут единой дружной семьей, не знающей частных интересов. Другие придерживались мнения, что на Марсе существовала развитая цивилизация, которая погибла в результате непредвиденной катастрофы или пришла в упадок. Лишь когда в середине 60-х годов американские зонды произвели фотосъемку Марса с близкого расстояния, выяснилось, что эти каналы не что иное, как оптический обман.

Если рассматривать все эти фантастические спекуляции на тему освоения космоса с позиции сегодняшнего дня, становится ясно, что все они стоят в ряду литературных утопий, появляющихся вновь и вновь с момента написания Томасом Мором в 1516 году его знаменитой "Утопии". Как утопии, они были, впрочем, не только научно-популярными и научно-фантастическими попытками найти или изобрести альтернативы собственному земному обществу, но всегда и "попытками к бегству" из собственной цивилизации. Поэтому не случайно одна из ранних повестей знаменитых фантастов Аркадия и Бориса Стругацких так и называется – "Попытка к бегству" (1962 г.). Речь в ней идет о загадочном старике, который одновременно историк и советский танкист в немецком плену. Удивительным образом ему удается попасть в будущее. Зовут его то Саул, то Савел; вместе с двумя героями-подростками он пытается бежать на неизвестную планету, но попадает там в эпоху жесточайшего феодализма. И хотя попытка к бегству заканчивается неудачей, она подменяет травматический опыт бесчеловечной войны и сталинского ГУЛАГа на увлекательное приключение. Так фантастика позволяет изгнать подлунные страхи в космическую даль – пространственную и временную.

## Кибернетика человеческой души

В ходе дискуссий на тему, есть ли разум на Марсе или где-либо еще во Вселенной, возникал еще один существенный вопрос. Как произойдет встреча инопланетян с человечеством? Характерно: в том, что она будет мирной, сомнений не возникало. Если бы в 1960 году в Советский Союз и в самом деле прибыли "гости из космоса" (так называлась известная научно-фантастическая повесть Александра Казанцева), то пожалуй, никто всерьез этому бы даже не удивился. А приняты они были бы с восторгом и рукоплесканиями. Несомненно, что советская фантастика и публицистика отмежевались от американских научно-фантастических историй о войне миров или о Земле под игом роботов. В СССР, напротив, готовилась мирная встреча инопланетян. Ведь советские полеты в космос убедительно доказывали, что предпринимать межпланетные путешествия в состоянии только находящиеся в очень высокой стадии развития миролюбивые цивилизации.

Что касается внешнего облика инопланетян, то по этому вопросу существовали самые разные мнения. Автор вышедшего в 1957 году научно-фантастического романа "Туманность Андромеды", моряк и географ Иван Ефремов придерживался версии, что "универсальный организм" человека представляет собой идеальный результат любой биологической эволюции. Этой "антропоцентрической" точке зрения в особенности противоречили теории, вдохновленные кибернетикой. Ведь именно кибернетика, бывшая с 1956-го года наряду с космонавтикой основной темой научно-популярной литературы, посеяла сомнения в идее о совершенстве человека.

Как объяснял математик Андрей Колмогоров в своем докладе "Автоматы и жизнь" в 1960 году, кибернетика вызвала в человеческом сознании переворот, подобный перевороту Коперника: "В истории человечества существует любопытный парадокс: чем решительнее человек отказывается от представлений о своей "исключительности", о всемогуществе и "божественности", тем сильнее он становится. Так было после Коперника, опрокинувшего тысячелетние представления о Земле – центре мира. Так было после Дарвина, доказавшего родство человека и животных. Так было после Павлова, начавшего научное изучение того, что было принято именовать "бессмертной душой". Но, пожалуй, последний и решительный удар религиозному представлению о человеке – центре Вселенной, неповторимом и единственном обладателе сознания (или "души"), наносит кибернетика."

В научно-популярной публицистике и научной фантастике тех лет кибернетическая системная теория и космическая астробиология инсценировали человека как органическую разумную систему, стоящую лишь в начале своего пути развития и во многом подлежащую улучшению. При этом представимы были не только кибернетические и органические существа, но и кристаллические, или даже состоящие из антиматерии или кремния.

Чем дальше простирались эти гипотезы, тем большие сомнения вызывала существующая модель положительного социалистического героя. В то время как человечество готово было покинуть земную колыбель, мысль расстаться с телом, таким, каким его создала природа, отнюдь не казалась кощунственной. Электронные счетные машины, модели компьютеров, истории о роботах, "киберы" из мультфильмов, впервые в положительном свете поданные обществу техники гипноза или эксперименты с наркотиками раздвигали границы мыслимого. Повсюду, казалось, неведомые силы и невидимые лучи соединяются друг с другом.

Позывные спутника впервые наглядно продемонстрировали безграничные коммуникационные возможности но-

вых информационных технологий. Они привлекали, будоражили воображение, но, одновременно, стимулировали страх перед всевидящим и всеслышащим государством. Проф. В. М. Баншиков говорил в одном интервью в 1965 году: "В наше время темой бреда нередко служит телепатия. Не так давно в один физический институт в Москве приехал из Сибири здоровенный молодой парень и стал угрожать сотрудникам расправой за то, что они в течение двух лет читали его мысли и внушали свои. (...) Появилось много "изобретателей", "космических путешественников". Один из известных мне больных звонил на Марс по телефону 7-77, добавочный 7-77. Другой беспрерывно осаждал Академию наук с проектами усовершенствования космических ракет – у него было семиклассное образование." Так мечта о лучшем из миров жила не только в официальной пропаганде, но и во всех слоях общества, включая Сибирь и психиатрические больницы.

## Чудеса на научной основе

Полеты в космос не только являлись одной из центральных тем в советской прессе, они населяли и земные будни чудесами. Научно-популярная публицистика конца 50-х была полна занимательными и таинственными историями о сигналах, преданиях и легендах из других миров – миров, о которых раньше никто не подозревал. Одновременно с сообщениями советской прессы о первых спутниках появились и заметки о том, что найден наконец-то знаменитый Тунгусский метеорит – загадочное небесное тело, обрушившееся 30 июня 1908 года на сибирскую тайгу.

Взрыв метеорита был настолько сильный, что в радиусе двух километров был уничтожен весь лес. Карл Саган писал об этом событии: "Взрывная волна дважды обогнула Землю, и еще спустя два дня атмосфера была настолько насыщена пылью, что в лежащем за 10 тысяч километров Лондоне можно было ночью читать газету при царящем на улице диффузном свете." Станным при этом было то, что с тех пор не было найдено никаких остатков метеорита и, следовательно, научного объяснения причинам взрыва. Эта неразрешимая загадка на фоне всеобщего порыва в космос стала поводом для самых невероятных фантазий.

По одной из наиболее популярных гипотез тунгусский метеорит был на самом деле космическим кораблем инопланетных пришельцев. В 1946 году с таким предположением выступил Казанцев. В его научно-фантастическом рассказе "Взрыв" фигурировала инопланетная ракета с ядерным двигателем, реактор которой взорвался при попытке приземления в Тунгуске. Хотя эта гипотеза рассматривалась уже в сталинское время даже в центральных органах печати, в популярную увлекательную тему, занимавшую широкую общественность, она превратилась лишь десятилетие спустя в связи с полетами спутников. Около десятка научных экспедиций, бесчисленные группы юных пионеров, комсомольцев и просто туристов двинулись в неприветливые сибирские дали на поиски тунгусского чуда.

"Дорога в космос" – так называлась автобиография Юрия Гагарина – вначале была именно таким путешествием в неведомое. Также и научно-фантастическая и приключенческая литература тех лет повествовала о путешествиях в отдаленные уголки Советского Союза. Не для того, чтобы – как в тридцатые и сороковые годы – победить суровую природу с помощью новейшей техники, а для того, чтобы вырвать у природы еще нераскрытые тайны.

Там, "на неведомых дорожках", в обиталищах старых добрых леших и ведьм, теперь обнаруживались неподдающиеся расшифровке сигналы из космоса и едва заметные следы интергалактических контактов. Фольклористика, этнография и религиоведение принялись за пересмотр старых легенд, мифов и фресок, пытаясь обнаружить там доказатель-

ства посещения Земли инопланетянами в далеком прошлом. Библийские чудеса, форма пирамид или постройка храмов Майя казались вполне объяснимыми тайным или явным вмешательством инопланетян.

В 1960 году гипотезы о так называемых "космонавтах древности" вызвали целую лавину научно-популярных статей, и некоторые редакции даже создали специальные комиссии по межпланетным контактам. Теперь уже не нужно было искать материалистические объяснения религиозным сюжетам на Земле. Космос давал возможность "научно" соединить материализм и фантазию. Один советский физик облек эту тенденцию в 1965 году в следующие слова: "Нередко человек искренне верует в возможность вмешательства "божьей воли" в наш мир. Более образованные люди верят в чудеса с научным обоснованием."

#### Путь к коммунизму

Без всех этих фантазий и гипотез о чужих мирах невозможно была бы та эйфория, которую вызвал в свое время полет Гагарина. "Первый человек в космосе" – это казалось началом новой эры, "космической эры человечества". "Весь мир замер" – так говорилось в официальном сообщении – когда утром 12 апреля 1961 года в 10 часов утра все радиостанции страны прервали свои программы, уступив эфир Московской радиостанции. Юрий Левитан, любимый диктор Сталина и "голос Родины" во время Отечественной войны – голос, имевший такую внушающую силу, что якобы Гитлер грозился повесить Левитана первым, когда займет Москву, – зачитал сообщение ТАСС о том, что с 9 часов 7 минут московского времени первый человек находится во Вселенной.

Что произошло потом, подробно описано в статьях, посвященных 40-летию этого события: в 10 часов 55 минут Гагарин снова приземлился. Два дня спустя в столице ему был подготовлен такой триумфальный прием, какого, не удостоился ни один из советских героев, ни до, ни после него. Сотни тысяч людей встречали Гагарина на улицах по пути из аэропорта в Кремль: "Москва вышла на улицы и площади. Казалось, никогда еще не было такой горячей, всепоглощающей, искренней радости." Хрущев сказал в своей речи на Красной площади в честь первого летчика-космонавта СССР: "Мечта о покорении космоса – действительно величайшее из величайших мечтаний человека. Мы гордимся тем, что эту мечту, эту сказку сделали былью советские люди."

За следующие месяцы Гагарин и космонавт-2 два Герман Титов превратились в героев поистине былинных масштабов. "Космические близнецы", как их называли, с одной стороны, оставались "простыми и скромными сыновьями советского народа", но, с другой стороны как "сыны неба" вознесены были до богов в человеческом облике, способных совершать чудеса на всей Земле. Они символизировали счастливую беззаботную жизнь, обещанную коммунистическим будущим. Близкая, как тогда казалось, победа Советского Союза в мирном соревновании двух систем нашла в гагаринской улыбке конгенитальное выражение.

Реалии холодной войны, особенно обострившейся в связи с постройкой Берлинской Стены вскоре после полета Титова и во время Кубинского кризиса, отнюдь не омрачали всеобщего оптимизма. Напротив: "Кажется, никогда люди – почти все трехмиллиардное население Земли – не были так единодушны в своих чувствах, как в дни 12 апреля и 6 августа (полет Титова) 1961 года." В том же духе в 1961 и 1962 годах были выдержаны и сообщения о самих Гагарине и Титове. Они не только побывали в космосе, но и путешествовали теперь по всему миру как посланцы Советского Союза, принося людям в "отдаленнейшие уголки" мира ставшие "международными" русские слова "мир" и "дружба".

С "покорением космоса" и в самом деле свершилось чудо, но не в межпланетных далях, а на Земле – в короткий период между полетами Гагарина и Титова. Это был проект новой "Программы КПСС", в котором говорилось: "Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме." Эта программа должна была положить начало строительству коммунизма, завершить которое планировалось за 20 лет. Характерно, что именно "блестящие успехи" в космосе должны были укрепить "советских людей в деле строительства коммунизма" и обеспечить выполнение этого плана. Связь покорения космоса в настоящем с достижением коммунизма в обозримом будущем стала к октябрю 1961 года настолько тесной, что XXII съезд КПСС и принятие новой программы партии целиком прошли под знаком космической эйфории.

В это время повсюду была слышна пропагандистская формула, в соответствии с которой дорога в космос вела к построению коммунизма через 20 лет, также, как и наоборот – только развитый социализм сделал возможными триумфальные успехи в космосе. Эту взаимосвязь Хрущев выразил в своей речи к 45-летию Октябрьской революции:

"Социализм и коммунизм – вот тот надежный космодром, с которого человечество штурмует и будет штурмовать просторы вселенной."

Гагарин и Титов олицетворяли собой эту связь космоса и коммунизма и одновременно вековую надежду на воплощение сказки в быль.

#### Прощание с мечтой

По крайней мере с 1981 года достоверно известно, что из построения коммунизма за 20 лет ничего не вышло. Уже в 1962 году, при принятии двадцатилетнего плана строительства коммунизма, стали видны неудачи хрущевской политики, в особенности в сельском хозяйстве. В то время как недовольство Хрущевым возрастало, успехи в космосе становились все менее зрелищными.

Разумеется, полеты в космос продолжались. В 1962 году был осуществлен первый полет двух космонавтов, в 1963 году в космос полетела первая женщина, в 1964 году последовал первый групповой полет втроем, в 1965 году – первый выход в открытый космос. Однако, чем чаще производились космические полеты, тем очевиднее и настойчивее становилась земная и будничная реальность, реальность, в которой "покорение космоса" являлось ничем иным как бесконечным кружением человека вокруг собственного глобуса, а человечества – вокруг самого себя. Во Вселенной же не обнаружилось не только разумной жизни, но даже и просто биологической. О завоевании космоса уже не могло быть и речи.

Также и политика внутри страны в 1962/1963 годах снова стала более ограничительной. Культурно-политические свободы в научно-популярных дискуссиях была снова урезаны. Космические полеты, разумные машины и прочие технические усовершенствования снова должны были в первую очередь служить советскому обществу и делу строительства коммунизма. Надежды, которые связывались с личностью Гагарина, космосом и его влиянием на земную жизнь, были изгнаны в царство фантастики: советской научной фантастики, которая в то время развилась в один из популярнейших жанров беллетристики.

В конце "оттепели" пути мечты и действительности, фантазии и реальности, которые в период между 1957 и 1962 годами столь тесно пересеклись, разошлись снова. Человек во вселенной не произвел коперниканского переворота, а стал инструментом освоения местного, советского космоса. Особая ирония истории состояла в том, что Хрущева сняли в 1964 году как раз в тот момент, когда трое космонавтов испытывали новую космическую станцию "Восход".

## Малый

информационный  
апокалипсис

Сергей Соловьев

Когда космонавты вернулись, их встретил в 47-ю годовщину революции на Мавзоле, где для космонавтов с 1961 года было отведено особое почетное место, уже Брежнев. Единственное, что осталось от космодрома коммунизма — это миф, воплощаемый Гагариным, миф, лишь укрепившийся после его гибели 27 марта 1968 года в результате — кто бы мог предположить — авиакатастрофы. Он был последним "народным героем", похороненным в Кремлевской стене за Мавзолеем. Что же касается мирного соревнования двух систем, то оно было проиграно задолго до высадки американцев на Луну.

Когда в 1986 году, четверть века спустя после полета Гагарина, начался монтаж околоземной орбитальной станции "Мир", была предпринята попытка снова использовать космические полеты в пропагандистских целях по образцу 60-х годов, на этот раз для пропаганды перестройки. Однако, эта попытка провалилась. Только в книге "Мир глазами детей" космос еще окрылял людей в середине 80-х:

Я хочу, чтоб космонавтов было  
Не один, не два, не пять.  
Я хочу, чтоб, расправляя крылья,  
Все мы вышли космос покорять.

Реальный "Мир" лишь экстраполировал уже утерянные во Вселенной надежды. Не случайно, несколько лет спустя, когда на Земле Советского Союза больше уже не существовало, в космосе еще долго кружился последний его оплот — экипаж "Мира" отказался снять со станции красное знамя.

Впрочем, в расцвет гласности космические надежды на какое-то время вернулись в форме гороскопов. Все чаще стали появляться репортажи, интервью, дискуссии и актуальные сообщения, в которых речь снова шла об инопланетянах. Это были сообщения о разумных существах, посетивших Землю, чьи летательные объекты были увидены или засняты на пленку. С инопланетянами велись телепатические беседы и предлагалось даже посетить их цивилизации при помощи гипноза. Но подтекст всех этих сообщений заключался прежде всего в следующем: у всех очевидцев встреча с инопланетянами решительно перевернула их жизнь. Они посмотрели на мир по-иному, личные неурядицы и обыденные проблемы стали видны в новом свете. В результате, дела пошли гораздо лучше, чем до контакта с пришельцами.

Однако ни сверхъестественные силы, ни возврат православия в качестве государственной религии не смогли перекрыть те разочарования, которые изо дня в день приносила ельцинская эпоха. Свободный рынок не оправдал надежд на сказочное обогащение общества, а свобода и демократия оказались коррумплируемыми. К тому же приближалась смена тысячелетий, которая во времена "оттепели" частенько считалась той магической чертой, за которой конкуренция двух систем завершится окончательной победой коммунизма во всем мире.

Вместо этого капиталистический конкурент совершил решительный прорыв на всех фронтах и приступил к повсеместному переустройству мира по глобальным законам рынка — точно так, как описано у развенчанного Маркса. XXI век начался не с "мира и прогресса", но с религиозного фанатизма террористов-самоубийц и высокотехнологических войн. Таким образом, 11 сентября 2001 года оказалось и в российском контексте прощанием с мечтой о лучшем будущем, полет в которое в XX-м веке завершился катастрофой. Голливуду и МТВ понадобится еще много времени, прежде чем станет возможным, вновь нагрузить звездолеты фантазии морально-этическими ценностями человеческой цивилизации.

"Je sentais de plus en plus le besoin de rassembler et de conserver les volumes anciens, de charger des scribes consciencieux d'en tirer les copies nouvelles. Cette belle tâche ne me semblait pas moins urgente que l'aide aux vétérans ou les subsides aux familles prolifiques et pauvres; je me disais qu'il suffirait de quelques guerres, de la misère qui suit celles-ci, d'une période de grossièreté ou de sauvagerie sous quelques mauvais princes, pour que périssent à jamais les pensées venues jusqu'à nous à l'aide de ces frères objets de fibres et de l'encre."<sup>1</sup>

Marguerite Yourcenar,  
"Mémoires d'Hadrien"

В "Русском музее" в Петербурге находится одна замечательная картина Филонова, написанная в 1930 году, которую художник оставил без названия — на ней мужские лица напряженно всматривающиеся в даль и сквозь зрителя. Сохранилось свидетельство, что на вопрос, куда они смотрят, художник ответил: "В будущее". И добавил пессимистично: "А некоторые из них его уже видят".

Склонность видеть повсюду признаки грядущих катастроф, является, быть может, одной из характерных черт российской культурной традиции. В наше время "апокалиптические" настроения особенно обострились. Сказанное не значит, что пессимизм всегда необоснован, а тем более не нужен. В тех случаях, когда для беспокойства есть реальные основания, чрезмерная (быть может) тревожность одних служит противовесом чрезмерному оптимизму других.

Спектр нынешних прогнозов развития интернета — один из ярких примеров тому. Что нового оно несет в связи с проблемой сохранения и утраты информации? Анализируя то, что пишется в наши дни об интернете (включая художественную литературу, в том числе фантастику), можно обратить внимание на следующее. Авторы отнюдь не избегают сценариев-катастроф (злая сила или искусственный интеллект устанавливает господство над миром через Глобальную Сеть), не чуждаются социальной критики (разрушение традиционных обществ, разрыв социальных связей, усиление господства мультинациональных корпораций). В то же время сомнения по поводу чисто технических достоинств интернета как среды, места, средства хранения, передачи и обработки информации высказываются ими крайне редко. До такой степени редко, что почти все тексты, посвя-

<sup>1</sup> Все более и более я чувствовал необходимость собирать и сохранять древние томы, поручать добросовестным писцам снимать с них новые копии. Эта прекрасная задача казалась мне не менее важной, чем помощь ветеранам или выплаты многодетным бедным семьям; я говорил себе, что хватило бы нескольких войн, нищеты, которая последует за ними; периода невежества или дикости под управлением нескольких дурных властителей, для того, чтобы навсегда погибли мысли, дошедшие до нас благодаря непрочному сочетанию чернил и растительных волокон.

Маргарита Юрсенар, "Мемуары Адриана".

ценные интернету, независимо от их пессимистического или оптимистического настроения, могут рассматриваться как разновидность рекламы компаний, работающих в области информационных технологий.

Уточним о какой именно информации идет речь – о той, которую хотелось бы сохранить, которую, желая идти в ногу со временем, помещают в интернет, и которая по этой именно причине может однажды оказаться утраченной. Разумеется, информация, доверенная материальному носителю – будь то наскальная надпись, граммофонная пластинка или картина Филонова в "Русском музее" – во все времена была уязвима. Однако, подобно тому, как интернет собирает воедино достижения многих технологий, так и многие факторы, ранее действовавшие порознь, каждый на своем поле, оказываются собранными в случае интернета воедино.

Возьмем для сравнения книгу. Не только потому, что книга, в отличие от компьютеров и интернета, сравнительно мало подвержена изменениям – этот выбор имеет шанс затронуть ностальгическую струну в душах читателей. На этом фоне и будет разворачиваться анализ малого информационного апокалипсиса. Вот несколько факторов, способных, на наш взгляд, привести к глобальной утрате информации.

#### 1. Отсутствие прямого доступа к информации.

Для чтения книги не требуется специальных устройств. Иное дело – фонограмма и фонограф, микропленка и проектор, перфокарты, перфоленты и магнитные записи, начавшие появляться около ста лет назад. Помимо физического разрушения старых записей появляется серьезная проблема – необходимы особые устройства для их "чтения".

Развитие компьютеров значительно усугубляет эту проблему. Их поколения меняются все быстрее. Где теперь компьютеры старых образцов, где запасные части к ним? Да что уж о них говорить, если компакт-диск трехлетней давности с путеводителем по почтенному музею не работает в моем новом компьютере! Вот, кстати, еще одна деталь, заслуживающая упоминания: в компьютерном мире для доступа к информации недостаточно одной только "техники", "железа", как в каком-нибудь граммофоне, который заводили ручкой. Нужны также соответствующие программы.

#### 2. Зловещая динамика.

Постоянно меняются не только сами компьютеры и программы. Интернет в целом, в отличие от книги, это динамическая информационная среда, динамическая в том смысле, что информация, которая не подвергается постоянному обновлению, обречена на скорую гибель. Интернет подобен океану, где пловец, который перестает двигаться, тонет, корабль, у которого заглохли двигатели, обречен на скорую гибель.

#### 3. Судьба электронных документов зависит от посторонних обстоятельств.

Фундаментальный для интернета принцип гипертекста основан на том, что документ, который воспринимается как единое целое, на самом деле состоит из фрагментов, разбросанных по многим компьютерам. Все эти компоненты подвержены, таким образом, самым разным внешним влияниям, не имеющим, в сущности, никакого отношения к содержанию и структуре "документа-источника".

Возможно, настал подходящий момент, чтобы признать, что голос автора этой статьи не является гласом вопию-

щего в пустыне. На фоне массовых восторгов по поводу перспектив и достоинств интернета (по крайней мере, технических – в широком смысле – достоинств) слышны время от времени и немногочисленные критические голоса. Приведу несколько оценок.

"Большинство сайтов Сети, которые мы создали менее десяти лет назад, уже стерты навсегда. У нас нет никаких средств для чтения первых CD Rom 80-х годов. Читающих устройств и программ этой эпохи больше не существует."<sup>2</sup> "Энциклопедии или виртуальные экскурсии, (...) изданные в начале 1990-х, стали непригодны для компьютеров последних выпусков, по крайней мере, в отсутствие программы-эмулятора (...) Вышеупомянутые эмуляторы, эти хранители цифровой памяти, сильно рискуют (...) быть объявленными вне закона."<sup>3</sup>

В статье Сибони и Сметса речь идет о последствиях принятия законов об авторском праве, которые распространяются не только на публикации, но и на программное обеспечение. Купив вполне законным образом то или иное "электронное издание", можно потерять право доступа к нему просто за счет эволюции компьютеров и программ, а также, заметим, эволюции законов.

Если подумать, подобная ситуация касается не только развлечений и культурного досуга. То, что происходит с электронными документами – кошмар для историка. 90% оперативных документов, касающихся "Войны в Заливе" или войны в Косово существовали в форме электронной почты – где теперь эти архивы?

Автор данной статьи опубликовал однажды небольшую заметку о гибели информации в интернете в академическом сборнике в Париже.<sup>4</sup> Интересно, что большинство авторов сборника и участников специального коллоквиума были охвачены все той же странной эйфорией в отношении перспектив интернета, в то время как академическая среда, казалось бы, должна отличаться большей критичностью. Парадокс, но газеты оказались в данном случае восприимчивее к тревожным сигналам.

#### 4. За безопасность надо платить.

Еще недавно в кругах, связанных с бизнесом в интернете, наполовину в шутку, наполовину всерьез, но скорее с оттенком восхищения, говорилось, что для успеха акций какой-нибудь интернетовской компании необходимо, чтобы она тратила примерно втрое больше, чем зарабатывала.

В большой степени экономический бум, связанный с развитием интернета, основан на том, что многие счета, по которым надо платить, систематически не оплачиваются. По другим приходится платить не тем, кому бы платить следовало. Взять хотя бы *вынужденное* обновление программного обеспечения и компьютерного парка при вполне работающем старом или занижении "рисков", связанных с электронной коммерцией. В первый момент это приводит к "буму" на бирже, а в дальнейшем большинство расходов перекладывается на государство, мелких коммерсантов, включается в цену продуктов.

В одном из докладов на уже упоминавшемся коллоквиуме в École Normale Supérieure говорилось, что поскольку копирование текста или программы в интернете, являющееся фактически созданием дополнительной "единицы продукции", требует практически нулевых расходов (не считая навязанных извне ограничений, связанных с авторским правом), необходим отказ от традиционных принципов экономической науки. *Некоторые* модификации экономической науки, может быть, и требуются. Не собираясь анализиро-

<sup>2</sup> H. Fisher. Le paradoxe du numérique et de l'oubli. Libération, 24.11.1999.

<sup>3</sup> A.-L. Sibony, J. P. Smetts. Le droit et la mémoire à l'ère numérique. Le Monde, 14.09.2000.

<sup>4</sup> S. Soloviev. La bibliothèque mondiale et l'Internet. Colloque "Comprendre les usages d'Internet", Paris, ENS, 3-4.12.1999.

вать в деталях принципы новой экономики, обратим однако внимание на то, где "кончается правда" вышеприведенного утверждения.

Систематическая неоплата счетов в конечном счете ведет к краху, а экономический крах неизбежно приведет к массовой потере информации, помещенной в интернет и вообще в память компьютеров, поскольку, во-первых, поддержание работы компьютерных сетей и баз данных требует непрерывного притока капитала, который неизбежно будет сокращаться. Даже если в дальнейшем он восстановится, многие потери окажутся необратимыми. Во-вторых, экономический спад приведет к разорению многих компаний, которые производят программы, компьютеры и все связанные с ними средства хранения информации. Все то, что долгими усилиями приводилось в соответствие "требованиям прогресса", рискует погибнуть. Возможно, скоро информацию начнут страховать, подобно тому, как страхуют дома от пожаров и наводнений, людей от несчастных случаев, а страховые компании будут жаловаться на возросшие расходы и риски и под этим предлогом повышать страховые взносы.

Ко всем этим бедам добавляется неизбежно связанное с прогрессом "ускорение времени".

##### 5. Ускорение времени.

Принято считать, что до тех пор, пока не открыт способ двигаться со сверхсветовой скоростью, путешествия к далеким мирам не имеют никакого смысла. Из-за эйнштейновского замедления времени члены экспедиции могут остаться молодыми, но на Земле пройдут целые эпохи. Нечто подобное происходит в информационной галактике. "Виртуальный мир" меняется в автономном ускоряющемся темпе.

Исторические события прошлого – подъем и упадок великих цивилизаций, войны, нашествия варваров, природные катастрофы поражают сегодня своей невообразимой медлительностью. В этом медленном мире прошлого были свои информационные катастрофы. (Приближение одной из них – в Европе она растянулась на все средневековье – предчувствовал римский император Адриан в романе Маргариты Юрсенар.) Были особо трагические эпизоды, например, пожар Александрийской библиотеки, и истории удивительного спасения, растянувшиеся на тысячелетия. Так, недавно была восстановлена рукопись Архимеда, не до конца смытая средневековым переписчиком в византийском монастыре. На фоне того, что погибло, уцелевшее составляет лишь малую долю.

В мире интернета катастрофа глобального масштаба вполне могла бы уместиться в несколько лет. Впрочем, информации грозит не только "физическая" гибель. Существует опасность ее девальвации и потери в информационном потоке. Так однажды в интернете канул сам "конец истории"...

Один мой коллега, зная, что я занимаюсь вопросом об утрате информации, упомянул как-то, что видел в интернете страницу, которая могла бы меня заинтересовать. Называлась она "End of History". Но вот в чем беда: точный адрес "конца истории" он не записал. Я тут же занялся поисками, используя самые разные поисковые системы, существующие в интернете. Я получил тысячи ответов (из которых смог просмотреть более сотни). Там были ссылки на книгу Френсиса Фукуямы "End of History and the Last Man", множество ссылок на "East End History", манифесты политических экстремистов и апокалиптических сект, но только не то, что мне требовалось. Увы, русалка плеснула хвостом и исчезла.

В работах, посвященных интернету, часто говорится о "добыче данных" – Data Mining (наподобие добычи золота). Уже появляются специальные фирмы, возделывающие информационный Клондайк. Кто знает, быть может когда-нибудь появятся археологи, которые займутся "добычей данных", некогда погребенных в сетях интернета.

# "Пули двух темных негодяев"

Евгения Сафьян

## Памяти В. Д. Набокова

Владимир Дмитриевич Набоков известен сегодняшнему читателю, главным образом, благодаря литературной славе своего сына. Между тем, этот крупный политический деятель, талантливый юрист, журналист, один из основателей конституционно-демократической партии, сыграл немаловажную роль также и в "нелитературной" судьбе России и русской эмиграции. В марте 2002 года исполняется 80 лет со дня его гибели в Берлине, описанной В. В. Набоковым в "Других берегах".

В 1919 году, оказавшись в эмиграции, В. Д. Набоков поселился сначала в Лондоне, а в 1920 году переехал в Берлин, где жили его друзья, также члены кадетской партии И. В. Гессен и А. И. Каминка. Гессен создал здесь русское издательство "Слово", а затем, уже вместе с Набоковым газету "Руль". Опыт подобного сотрудничества у Набокова и Гессена уже был. В России они издавали совместно газету "Речь".

В "Руле", распространявшемся во многих странах мира, а с 1924 года и в России, публиковались М. Пришвин, Вс. Иванов, Б. Пильник, К. Чуковский, В. Имбер, В. Маяковский. Набоков был не только соиздателем, но и автором "Руля", здесь он печатал свои воспоминания, переводы, политические статьи. Среди них перевод писем императрицы Александры Федоровны Николаю II и рецензия на "Детскую болезнь левизны в коммунизме" Ленина.

В марте 1922 года в Берлин из Парижа прибыл после своей поездки в США основатель партии кадетов П. Н. Милюков. На 28 марта в зале берлинской Филармонии был назначен его доклад "Америка и восстановление России".

В этот день Набоков завершил последнюю в своей жизни работу - воспоминания о театральной жизни Петербурга. Тогда же газета "Руль" опубликовала его статью "К приезду Милюкова". Младшая дочь Набокова Елена Владимировна вспоминала, как отец собирался на заседание, как она пришла пуговицу к его пиджаку. Никто из членов семьи не пошел с ним в филармонию. Зал берлинской филармонии был переполнен, что свидетельствовало о популярности Милюкова и партии кадетов. Милюкову показали газету "Руль", где было напечатано приветствие В. Д. Набокова. После лекции был объявлен перерыв...



В. Д. Набоков с женой

Милюков спустился в зал, толпа окружила его, он успел обменяться рукопожатием с Набоковым. Затем раздался первый выстрел. Это заранее подготовленное политическое убийство было направлено против Милюкова. В романе "Другие берега" Владимир Набоков-младший писал: "Мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев и пока боксеров ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен в спину".

Берлинские газеты тех дней публиковали самые разноречивые свидетельства очевидцев. "И сухой выстрел, потом чаще два, – вспоминал некий Ю. Потехин в "Накануне". – Падает В. Д. Набоков, как будто заслонивший своим телом П. Н. Милюкова. И над ним исступленный крик вдруг ожившего прошлого: За обиженного... Вы все – слякоть... Екатеринбург... И снова выстрел. Справа, с другой стороны эстрады к толпе, навалившейся на убийцу, спешит другой. Высокий, безукоризненно одетый... гладко бритое лицо искажено злобой." и.т.д.

По свидетельству другого очевидца левый из стрелявших отрывисто кричал: "Заявляю... Государя... Екатеринбург..." "К покушавшемуся, продолжавшему разлагольствоваться на эстраде, подбежал Н. Парамонов (б. изд. "Донск. Речи") и, схватив его за руку, сказал: "Если вы офицер, то вы не откажетесь следовать за мной в полицию." Стрелявший заявил: "Я согласен." В то же мгновение он был схвачен с другой стороны подоспевшим полицейским чиновником".

Убийцами Набокова оказались бывшие офицеры Петр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий, которые в 1918 году служили на Кавказе и тогда же переправились в Германию. Четыре года они, "два темных негодяя", прожили в Мюнхене, в убогом пансионе. Там же их наняли для совершения этого теракта, выдали денег на дорогу в Берлин и снабдили оружием. Суд приговорил Шабельского-Борка, начавшего стрельбу, к двенадцати годам, а Сергея Таборицкого, застрелившего Набокова, к четырнадцати годам заключения. Впрочем никто из террористов не провел в заключении положенного срока - они были амнистированы начальстами.

Петр Шабельский-Борк стал одним из активных участников нацистского движения и даже получал при Гитлере пенсию героя от ведомства Альфреда Розенберга, бывшего прибалтийского барона, идеолога фашистской партии Германии. После окончания второй мировой войны он уехал в Аргентину, стал фермером и умер в семидесятых годах.

Сергей Таборицкий также сделал блестящую карьеру при Гитлере, он был правой рукой генерала Бискупского, ведающего делами русской эмиграции. Когда дочери В. Д. Набокова, жившей в Праге, в 1942 году понадобилась справка, свидетельствующая о ее расовой полноценности для того, чтобы устроиться на работу, она ее получила из Берлина за подписью убийцы своего отца.

Убийство В. Д. Набокова произвело шоковое впечатление на русскую эмиграцию, оно явилось символом ее политического раскола, заставлявшим оставить последние надеж-

ды на реставрацию в России. Более тысячи человек пришли на панихиду, которая состоялась в посольской церкви, находившейся в самом здании посольства России. Панихида была проведена также на русском православном кладбище в Тегеле, где Набоков и похоронен.

Характерно, что высшее духовенство зарубежной православной церкви запретило служить панихиду по "жиду Набокову", однако митрополит Евлогий отказался выполнить этот приказ, что, разумеется, явилось важным политическим жестом. Дело в том, что Набоков завоевал себе "скандальную" славу своими "юдофильскими" настроениями еще до революции. Еще в 1906 году черносотенцы приговорили его к смерти. В составленном ими списке из шести депутатов, которых следовало убить – вторым значился Набоков (первым стоял Герценштейн, который и был убит).

Среди работ Набокова, направленных против антисемитизма, особую известность получила его статья "Кишиневская бойня" - резкое выступление против еврейского погрома в Кишиневе в 1903 году, в котором был поставлен вопрос об уголовной и политической ответственности кишиневских властей. Кроме того Набоков как журналист неоднократно разоблачал антиеврейские фальсификации, в частности "Протоколы сионских мудрецов", и опубликовал несколько статей в защиту Бейлиса. Он присутствовал на процессе и выступал с репортажами из зала суда, за что был оштрафован властями на 100 рублей.

Как уже говорилось, на смерть Набокова откликнулись все берлинские газеты, в том числе просоветская "Накануне", которая поместила на своих страницах несколько некрологов, рассказы очевидцев и отклики германской печати. "И если пуля, направленная против Милюкова, сразила Набокова – говорилось в одной из статей, – пусть она откроет глаза оставшимся в живых. Семь выстрелов... И каждый из них – осинový кол в могилу монархической идеи".

Судьба Владимира Дмитриевича Набокова – сына известного российского министра юстиции – уже в юности была связана с Германией. После окончания Петербургского университета он отправился в Галле. В Галльском университете он закончил свое юридическое образование. Вернувшись в Россию, в двадцать шесть лет Набоков получил звание профессора и перешел на преподавательскую работу в императорское училище правоведения. Впоследствии он принимал участие в работе первого Всероссийского съезда Земских союзов, был депутатом первой государственной Думы, управляющим делами Временного правительства, председателем избирательной комиссии Учредительного собрания, наконец, министром юстиции Крымского правительства. За свою общественную деятельность он дважды попадал в петербургскую тюрьму "Кресты". Набокова можно назвать одним из основателей российского парламентаризма, теоретиком "правового государства". И сегодня не потерял значение его лозунг: "Власть исполнительная да подчиниться должна власти законодательной".

## Schattenlinien

Herausgegeben vom Institut für Heuristik  
Bezug: SupportEdition, Postfach 610378,  
10926 Berlin

Tel.: (030) 618 70 34

*Wege des Findens -  
Strukturen des Wissens*

# Евреи и русская революция

Самсон Мадиевский

*Самсон Мадиевский, 1931 г.р., закончил историческое отделение Кишиневского университета в 1953 г. Кандидатскую диссертацию защитил в 1969 г., докторскую в 1982 г. С 1959 по 1996 гг. – научный сотрудник Института истории АН Молдовы. Автор и соавтор 8 монографий и 60 статей по истории Молдовы, Румынии, истории исторической науки, методологии исторического познания. С 1996 г. живет в Германии (Аахен). Занимается различными проблемами истории евреев в Российской империи, Советском Союзе, Германии. Публикуется в Германии, Франции, Бельгии, США, Израиле, России, других странах СНГ, Польше, Венгрии, Румынии.*



В 1923 году в Берлине вышел сборник статей "Россия и евреи". Авторы сборника - еврейские общественные деятели и публицисты, входившие в партию кадетов или близкие к ней И. М. Бикерман, Г. Ф. Ландау, И. О. Левин, Д. О. Линский, В. С. Мандель, Д. С. Пасманик вызвали тогда ожесточенную полемику в среде еврейской эмиграции. Так, они утверждали, что положение евреев в царской России, несмотря на известные ограничения, постепенно улучшалось. Со временем, глядишь, пришло бы и полное равноправие. Поэтому евреям не следовало сочувствовать революционному движению и тем более участвовать в нем. Не следовало приветствовать даже Февральскую революцию, не говоря уже об Октябрьской. А когда вспыхнула гражданская война, надо было поддерживать белых, а не красных.

Жизнь идей не завершается, как известно, с жизнью их создателей. Вот и сегодня, через 79 лет в печати нередко можно встретить подобного рода представления. (Наиболее яркий пример – книга Солженицына "Двести лет вместе", том 1.) Поэтому имеет, видимо, смысл напомнить, как, собственно говоря, ситуация складывалась в дореволюционной России.

В конце XIX - начале XX вв. более чем пятимиллионное еврейское население Российской империи подвергалось открытой дискриминации, преследованиям, унижениям. Причинами их были религиозная нетерпимость и связанные с нею предрассудки, страх перед экономической и иной конкуренцией, сомнения в лояльности евреев "престолу и отечеству". Евреи ущемлялись в различных правах по сравнению с прочими подданными империи более чем по 650 позициям.

Дискриминация начиналась с выбора местожительства. Подавляющее большинство российских евреев имело право жить лишь в пределах "черты оседлости" - западных и южных губерниях, где предки их проживали ко времени присоединения этих территорий к России или где ощущалась вначале потребность заселить и освоить пустующие земли. Однако и внутри "черты" было множество ограничений. Так, до 1904 г. евреям было запрещено селиться в 50-верстной полосе вдоль западной границы. В 1882 г. запретили поселяться в сельских местностях, что на деле сократило площадь "черты" процентов на 90. Стиснутая в городах и местечках, лишенная свободы выбора занятий, большая часть евреев прозябала в бедности.

Лишь немногие "лица иудейского вероисповедания" в эпоху либеральных реформ 60-70 гг. XIX в. получили право жить на территории остальной России: купцы I гильдии, лица с высшим образованием, дефицитные тогда ремесленники. Временно проживать могли студенты, ученики ремесленников, купцы низших гильдий.

Полиция бдительно следила за соблюдением этих правил. В Москве, например, на улицах и вокзалах ловили прохо-

жих с "семитскими лицами" и препровождали в участки для проверки документов. В Киеве не реже раза в неделю устраивались ночные облавы в гостиницах и постоялых дворах. Периодически из городов изгоняли тех, кто ранее получил право жительства (в 1888 - из Ялты, в 1891-1892 - из Москвы).

Государственная служба евреям была закрыта, доступ к свободным профессиям (например, адвоката) ограничивался. В армии еврей не мог быть даже унтер-офицером. В гвардию и пограничные войска евреев не допускали.

С 1890 г. евреев лишили права избирать и избираться в органы местного самоуправления (земства, городские думы).

Особенно болезненно воспринимались ограничения в допуске к образованию. С 1886-1887 гг. для евреев существовала т.н. "процентная норма" в высших и средних учебных заведениях - 10% в черте оседлости, 5% вне ее и 3% в столицах (в 1908, а затем 1915 гг. столичную "норму" слегка повысили).

Вопиющим нарушением основополагающего права на жизнь и личную безопасность были еврейские погромы. Первая волна погромов прокатилась по югу России в 1881-1884 гг. В 1903 г. мир потряс страшный погром в Кишиневе. В 1905-1907 гг. "черная сотня" свирепствовала в десятках городов. В одной Одессе убито было свыше трехсот евреев.

По свидетельству кишиневского губернатора кн. С.Д. Урусова, царская бюрократия и офицерство рассматривали погромы как "естественное явление, ... пример борьбы здорового народного организма с внедрившейся в него заразой." Поэтому полиция и войска безучастно наблюдали за вакханалией убийств, насилий, грабежей, вандализма, пока, наконец, не получали приказ "прекратить беспорядки." Большинство судей разделяло их позицию. Погромщики, захваченные на месте преступления, оправдывались "за недостатком улики", приговоры осужденным были смехотворно мягки, почти все в дальнейшем получали монаршее помилование.

Одним из наиболее отвратительных проявлений государственного антисемитизма были фабрикуемые время от времени дела по обвинению евреев в т.н. "ритуальных" убийствах (самое наглумевшее среди них - "дело Бейлиса" в 1912 г.).

Дискриминация, преследования, унижения человеческого достоинства выталкивали евреев из России (с 1881 по 1914 гг. - 1,9 млн. человек). Основной поток эмигрантов шел в Америку, воспринявшие идеи сионизма переселялись в Палестину.

Те же факторы плюс общий социально-политический гнет, тяготевший над населением империи, толкали часть еврейской молодежи в ряды революционного движения. Юноши и девушки, желавшие "бороться за справедливость", вступали в еврейские - Бунд, Поалей Цион и пр. - или общерусские - социал-демократов-меньшевиков, соци-

алистов-революционеров, в наименьшей степени большевиков - подпольные политические партии. В "черте оседлости" - главным образом в первые, а вне ее - во вторые.

В свете сказанного неудивительно, что процент евреев среди революционеров был много выше их доли в населении. Однако члены революционных организаций составляли численно ничтожную часть российского еврейства. Шире распространились сочувствие или по меньшей мере терпимость к революционной деятельности. И это вполне понятно - ведь из левого, революционного лагеря исходили изъявления солидарности, осуждения антисемитизма, обещания полного равноправия. Там и только там евреи принимались как равные.

Последний крупный государственный деятель царской России П. А. Столыпин (кстати, отнюдь не филосемит), сознавая ненормальность положения евреев, несомненно, ставил перед собой задачу превращения России в буржуазную монархию, в октябре 1906 г. предложил Государственному Совету уравнивать "лиц иудейского вероисповедания" в формальных правах с остальным населением империи. Он надеялся таким путем "успокоить нереволюционную часть еврейства и избавить наше законодательство от наслоений, служащих источником бесчисленных злоупотреблений". Но царь отказался утвердить представленный проект. "Внутренний голос, - писал Николай II главе правительства, - все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя". Зато царь тепло принял делегацию "Союза русского народа" - главной черносотенной организации, ответственной за множество погромов, - обещал ей свое покровительство, надел и носил значок члена этой организации.

Что оставалось в такой ситуации российским евреям? Ждать следующего царствования?

Начавшаяся в 1914 г. мировая война принесла им новые тяжкие испытания. После поражений и отступления русской армии в конце 1914 - 1915 гг. верховное командование сочло за благо возложить ответственность за неудачи на привычного козла отпущения. По всему тысячекилометровому фронту военные суды приступили к фабрикации шпионских дел против евреев. Повешено было множество невинных. В зоне боевых действий командование брало видных евреев заложниками; нередко последних казнили без всякого разбирательства. Наконец, решили полностью выдворить "вредный элемент" из прифронтовых областей. "Евреи изгонялись поголовно, без различия пола и возраста. В общую массу включались и больные, и увечные, и даже беременные женщины, - говорится в записях секретных заседаний Совета министров. - ... Что творилось во время этих экзекуций - неопишимо... Конечно, вся эта еврейская масса (вместе с беженцами насчитывавшая до 350 тысяч человек - С.М.) до крайности озлоблена и приходит в районы нового водворения революционно настроенною". Массовое переселение евреев вглубь страны вынудило правительство "временно" отменить "черту оседлости" (в том же направлении давила на власть и потребность в деньгах для ведения войны - под условием отмены "черты" их обещали дать еврейские банкиры внутри и вне России). Уступка, однако, не коснулась сельских местностей, казачьих областей и обеих столиц. Наконец, распоряжением военных властей запрещено было использовать еврейский алфавит в печати и даже частной переписке.

Можно ли в свете описанного порицать российских евреев за то, что свержение царизма вызвало у них вздох облегчения? Это чувство перешло в подлинный восторг, когда Временное правительство 21 марта 1917 г. отменило все вероисповедные и национальные ограничения.

Однако следует помнить исторический факт - к событиям февраля 1917 г. в Петрограде и Ставке, которые привели к крушению старого режима, евреи были практически непричастны. В новое правительство не вошел ни один ев-

рей, в исполком Петроградского совета включены были считанные. Лишь с возвращением в Петроград и Москву эмигрантов и ссыльных доля евреев в составе российской политической элиты начинает быстро расти, дойдя, по подсчетам историка О. В. Будницкого, до 10% (т.е. вдвое более их доли в населении). Разница объяснялась просто: евреи были наиболее урбанизированным и грамотным из этносов империи, и когда снялись препятствия участию их в политической жизни, эти факторы, равно как и накопленная социальная энергия, дали о себе знать. Но получившие наибольшую известность евреи, как правило, отождествляли себя или свои интересы с тем или иным классом или слоем российского общества, игнорируя специфические национальные интересы еврейства или отводя им сугубо второстепенную роль.

Впрочем, дело было не только в реальном (бесспорно, значительном, хотя и не решающем) участии евреев в политическом процессе. Куда большее значение, как отмечает О. В. Будницкий, имело мнение об их участии, склонность замечать на политической авансцене 1917 года прежде всего евреев, свойственные определенным кругам образованного общества и достаточно широким слоям "простого" народа.

Указанное соображение относится и к восприятию партии большевиков. Накануне Октября евреи составляли, по-видимому, не более 5% численности РСДРП(б). Но в ЦК большевиков евреев (ассимилированных) было около трети, и среди них ближайшие соратники Ленина - Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Каменев (последние два, кстати, были в Октябре против захвата власти).

Загипнотизированные этими и другими (Стеклова-Нахамкеса, Володарского-Гольдштейна, Урицкого и пр.) именами, произвольно отождествляя евреев-большевиков со всем еврейским населением страны, антисемитски настроенные слои общества возлагали на евреев ответственность за все - и за Февральскую революцию, и за Октябрьскую, за действия крестьян, отнявших у помещиков земли, грабивших и сжигавших усадьбы, за бесчинства анархизированных солдат и матросов, убивавших офицеров и юнкеров, за террор ЧК и т.д.

Конечно, среди российских евреев были и люди, идейно и психологически близкие большевикам. Но к концу 1917 г. они представляли собой ничтожное меньшинство. В массе своей еврейское население не поддерживало партию Ленина-Троцкого (об этом убедительно свидетельствуют данные о выборах в Учредительное собрание по неоккупированной части "черты оседлости"). Все еврейские политические партии, в том числе социалистические (отмолчалась лишь Поалей Цион), и вся еврейская пресса осудили захват власти большевиками.

В октябрьские дни евреев можно было видеть по обе стороны баррикад. Членам и комиссарам ВРК (Военно-революционного комитета) Петрограда Г. Чудновскому, М. Лашевичу, С. Рошалю противостояли один из руководителей защиты Зимнего П. Рутенберг, петроградский городской голова Г. Шрейдер, председатель созданного в эти дни Комитета защиты родины и революции А. Гоц. И в 1918 году евреи давали не только большевистских комиссаров, но и активных борцов с "комиссародержавием". Достаточно назвать Л. Канегиссера, убившего председателя Петро-ЧК Урицкого, и покушавшуюся на Ленина Ф. Каплан. Когда в ответ на эти акции большевики объявили "красный террор", в первом списке расстрелянных ЧК заложников значилось 12 еврейских фамилий (из 130 человек).

Как отмечал известный экономист и публицист Д. Б. Бруцкус, "борьба советской власти с частным хозяйством и его представителями является в значительной степени борьбой против еврейского населения". Естественно, что круги еврейства, связанные с торгово-промышленной деятельностью, равно как и цензовая еврейская интеллигенция, мог-

ли и должны были сочувствовать противникам большевиков. Так и было, вплоть до участия евреев в вооруженной борьбе на стороне белых. В первом масштабном акте гражданской войны - известном "ледовом походе" с Дона на Кубань под водительством Л.Г. Корнилова в январе 1918 г. - участвовали и добровольцы-евреи.

Однако вскоре эта часть еврейства оказалась в странном положении непрощенных и нежеланных союзников. Над ними глумились, их унижали, а подчас убивали свои же товарищи по оружию. В конечном счете это вынудило главнокомандующего "Вооруженными силами Юга России" А.И. Деникина уволить офицеров-евреев в запас, а солдат изолировать в отдельные запасные роты. Массовое дезертирство из последних и умышленно строгие требования при зачислении новичков привели в конечном счете к тому, что евреев в белых войсках почти не осталось.

Возникает естественный вопрос: знали об этом авторы книги "Россия и евреи"? Да, знали. Д. О. Линский, например, признавал: конечно, "еврейство отстраняли от подвига участия в русском (белом. - С.М.) деле", но... "еврейство обязательно отстранить отстраняющих и добиться своего права проливать кровь за отечество..." Кого отстранить - самих белых? Что ж, на бумаге все можно...

Разгул антисемитизма в рядах белой армии, поток юдофобских публикаций ОСВАГ (информационно-пропагандистского агентства белых) привели к массовым антиеврейским погромам, жертвами которых стали сотни тысяч людей - убитых, искалеченных, изнасилованных, ограбленных. Как правило, люди эти не имели ни малейшего отношения к революционному движению, да и вообще были далеки от политики. Для российского еврейства пережитое в 1918-1921 гг. представляло собой национальную трагедию, превзойденную по масштабам лишь Холокостом.

Кто же несет ответственность за нее - только ли сами погромщики или же и руководство белого движения? Скрепя сердце (по собственным его словам), Линский признает: "Идеологический предрассудок о природной сопричастности еврейства революции, разделявшийся и главным командованием, повинен во многом из того, что лежит тяжелым обвинением на армии. Чернь инстинктом улавливала, что проявленные ею в разбое погромные настроения в какой-то основе сродни и мировоззрению власти; это окрыляло ее в предвидении безнаказанности".

Но и в этой беспрецедентно трагической ситуации находились евреи, готовые на минимальных, по сути символических условиях продолжать поддерживать белых. Так, осенью 1919 г. бывший посол Временного правительства во Франции В. А. Маклаков привез Деникину послание от еврейских эмигрантских кругов. Те просили выступить с торжественной декларацией, осуждающей погромы, и включить в правительство хотя бы одного еврея. (Это сделали украинские Центральная Рада и Директория - что, как мы знаем, не привело к прекращению погромов.) Но и такие косметические меры белое командование сочло излишними.

Стремление еврейских противников большевизма и более дальновидных представителей белого движения к сотрудничеству разбивалось о непреодолимую юдофобию почти всех белых. Вот еще один характерный пример. Осенью 1919 г. в период максимальных успехов Деникина штаб его решил отправить в США представительную делегацию для пропаганды целей белого движения и противодействия враждебной ему агитации левых. По воспоминаниям Линского, "известный общественно-политический деятель и знаменитый русский ученый" (по-видимому, В. И. Вернадский. - С.М.) предложил включить в ее состав еврея, тесно связанного с белым движением с момента его зарождения. Однако такая кандидатура была отвергнута. Отвергли и кандидатуру человека, лишь предки которого были евреями и ко-

торый до революции считался русским и состоял на секретно-дипломатической службе. Случай этот, по оценке Линского, стал "рельефным показанием неспособности органов противобольшевистской организации привлечь... все антибольшевистские слои населения", "невозможности преодолеть противоеврейские настроения армии в целом и центра ее в частности".

Перед лицом неизбежного разложения армии, к которому вело командование белых в конце 1919 г. предприняло некоторые меры по их предотвращению. Однако они были запоздалыми и паллиативными. Погромы продолжались в других местах и после показательных репрессий. Позднее, в Крыму П. Н. Врангель, который, по оценке Маклакова, яснее А. И. Деникина представлял себе "государственный вред от антисемитизма", решил не допускать на контролируемой им территории еврейских погромов. Но он с трудом справлялся с "почти животной", по словам его министра внешних сношений П. Б. Струве, ненавистью к евреям, которой были проникнуты и офицерство, и большая часть духовенства и интеллигенции, и ряда эксцессов не смог предотвратить.

Тщетно немногие истинные либералы в белом лагере (П. Н. Милоков, В. Д. Набоков, Ф. И. Родичев, В. Л. Бурцев) призывали сбросить "кандалы антисемитизма", которыми "пользуются большевики для борьбы с нами и в России, и за границей", напрасно предупреждали: "пока в противобольшевистском стане живет восторг жидоедства и погрома, не будет победы над большевиками". Белые в большинстве своем не вняли их голосам ни во время гражданской войны, ни позднее, оказавшись в эмиграции.

Следует констатировать, что еврейские погромы устраивали практически все вооруженные силы, участвовавшие в гражданской войне - белые, украинские и другие националисты, всевозможные атаманы. Ведь человеческий материал, составлявший их воинства, был во многом схож (в частности, пропитан антисемитизмом). По этой причине пятнали себя и части, выступавшие под красным знаменем. Так, в январе-феврале 1918 г., откатываясь под напором немецких войск, анархизированные, разложившиеся полки старой русской армии, объявившие о признании ими власти СНК, учинили в северо-восточных уездах Черниговской губернии ряд кровавых погромов (особенно жестокие - в Глухове и Новгород-Северском). Эти погромы большевики приписали своим политическим противникам, но выводы из происшедшего сделали. 27 июля 1918 г. Совет Народных Комиссаров особым обращением к населению и местным властям предписал "принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения". Последняя фраза этого документа была вписана Лениным собственноручно. Она гласила: "Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона." Помимо интернационализма, характеризовавшего тогда идеологию и политику большевиков, в их позиции сказались также оправданное убеждение, что от еврейского погрома до погрома власти, многими ненавидимой именно как еврейская, всего лишь один шаг.

Тем не менее, и далее красное командование не всегда могло контролировать действия собственных частей, особенно казачьих. Так, летом 1920 г., наступая на Польшу по западноукраинским землям, буденновцы всюду грабили евреев (как, впрочем, и остальных жителей, разве что последних без криков "жиды"). А осенью, отступая под натиском поляков, 4-ая и 6-ая дивизии Первой Конной, таращанский полк 44-ой стрелковой дивизии вписали новые страницы в историю еврейских погромов, грабя и убивая население местечек и городов житомирщины.

Однако с укреплением власти большевиков, изначально стремившихся к тотальному контролю над всеми общественными проявлениями, возможность самоинных, не

предписанных сверху действий, в том числе и погромных, исчезала. Поэтому реальная дилемма, стоявшая тогда перед российским еврейством, в предельном упрощении выглядела так: либо большевики, либо погромы, либо советская власть, либо реставрация монархии, опирающейся на черную сотню. Либерально-демократическая альтернатива не рассматривалась еврейской массой как реальная, да в конкретных условиях места и времени, по-видимому, и не была таковой.

Неудивительно, что власть большевиков, хоть она и разрушила экономические условия существования большинства еврейского населения, ощущалась последним как меньшее зло в сравнении с торжеством белых. Даже от состоятельных людей можно было услышать: "уж лучше большевизм, который если и убивает нас, то вместе с нееврейскими "буржуями", в то время как белые выделают нас в особую национальную группу, подлежащую уничтожению".

Можно ли осуждать российских евреев за "неспособность большинства их рассматривать русскую историю иначе, как под углом зрения "еврейских погромов" (упрек, высказанный П. Б. Струве)? За то, что они, как сетовали В. С. Мандель, И. О. Левин, не сумели "сквозь темные пятна белых риз узреть чистую душу белого движения", понять, что "погромы были лишь одним из роковых приводящих элементов" его?

Исходя из описанного расклада, даже религиозные евреи и сионисты, оставаясь идеологически чуждыми большевикам, вступали подчас в Красную армию, чтобы защитить себя и свои семьи. Троцкий как предреволюционер и нарком по военным и морским делам, видимо, догадывался об этом, потому что требовал ограждать армию от евреев, вступающих в нее по "неправильным мотивам". Другие большевистские вожди были, однако, менее привередливы. Калинин, например, призывал вербовать еврейскую молодежь в Красную армию, апеллируя именно к чувству самосохранения: "еврейская мелкая буржуазия должна знать, что только советская власть защитит ее от погромов".

\*\*\*

Авторы книги "Россия и евреи" по-своему болели и за судьбы России - "Великой", "единой и неделимой" (они сожалели об отделении национальных окраин), и за судьбы российского еврейства. Много в психологии и поведении различных слоев еврейства, в психологии российского обывателя, психологии красных и белых они подметили и объяснили правильно. Они прозорливо предупреждали: большевики будут за евреев лишь до тех пор, пока им это будет выгодно. Но их упреки российским евреям и тем более рецепты поведения, которые они отстаивали, не были реалистичными. У еврейской массы тогда практически не оказалось выбора. Его не оставили ей именно те социальные силы, которые, подкрепив традиционную для них юдофобию концепцией "иудео-большевизма", били евреев, по выражению того же Бикермана, "без разбору, не отличая правого от виноватого".

Как и почему советский коммунизм превратился впоследствии из силы, осуждавшей антисемитизм, борющейся с ним, в самую весомую из антиеврейских сил послевоенного мира - тема особая, требующая отдельного разговора. Но даже если бы миллионам российских евреев, живших в предреволюционную эпоху, в годы революции и гражданской войны, дано было предвидеть эту метаморфозу, их поведение все равно определяли бы обстановка и условия того, а не будущего времени. Им все равно пришлось бы решать проблемы, стоявшие тогда - эмансипации, а затем физического выживания. Не будем забывать об этом, обращаясь мысленно к событиям тех лет.

## "Буря и натиск" биологии

Thomas Junker, Uwe Hoßfeld. *Die Entdeckung der Evolution. Eine revolutionäre Theorie und ihre Geschichte.* (Томас Юнкер, Уве Хосфельд. *Открытие эволюции. Революционная теория и ее история.*)

Игорь Полянский

"Мы живем в эпоху бурного развития биологии и геной инженерии" – так начинают Томас Юнкер и Уве Хосфельд свою новую книгу, посвященную истории дарвинизма. Общий футуристский настрой этой книги, который ощущается уже в первых ее строках, не случаен. Он сам является иронической стилизованной реминисценцией эпохи, когда оптимистическая вера в биологию, в "творческий дарвинизм", как говорили в советской России, не знала границ. Не только в СССР, но также в Западной Европе и США общественно-политическим принципом была тогда мичуринская формула: мы не должны ждать милостей от природы, взять их – вот наша задача!

На рубеже тысячелетий человечество на самом деле переживает революционный подъем в биологии. В то же время, хотя вера в эту науку владеет общественным сознанием, все чаще раздаются пессимистические голоса – признаки декаданса. Сегодня, как никогда ощущается, что развитие биологии и медицины далеко опередило процесс философско-исторического осмысления ее достижений. Что касается СССР и Германии, которым в книге Юнкера и Хосфельда уделено особое внимание, то здесь ситуация специфическая: сталинизм и национал-социализм дискредитировали в свое время многие идеалы и устремления биологов.

Книги по истории науки о жизни становятся насущной необходимостью прежде всего в Германии и России – причем не только для "внутреннего" пользователя, но и для широкого читателя. Работа Юнкера и Хосфельда как раз рассчитана не только на узких специалистов, но и на гуманитарную научную общественность в целом. В ней рассматривается развитие представлений о зарождении жизни и происхождении человека от античности до наших дней, представлений, оказавших огромное влияние не только на прикладные науки, но также на религиозно-философские концепции, литературу и искусство. Особое внимание авторами уделено выдающимся ученым Ламарку и Дарвину, даются новые оценки прогресса биологии XX века.

Хотя, по заявлению авторов, они в первую очередь освещали собственно историю эволюционной теории, а социально-политические факторы ее развития рассматривали лишь как один из аспектов *en passant*, в книге сказано много интересного и нового именно об общественно-историческом контексте дарвинизма.

Так, например, в одной из глав речь идет о политических баталиях, связанных с эволюционным учением, расовой теорией и евгеникой. Российский читатель, без сомнения, по-

**РУССКОЕ РАДИО**

106,8 FM  
ежедневно

с 19 часов SFB 4 Multikulti. 106,8

## Новое фундаментальное исследование о русском Берлине



мнит волну литературы о сталинских гонениях на "продажную девку империализма" генетику, в годы перестройки захлестнувшую книжные полки и страницы таких журналов, как "Огонек". Юноши и девушки зачитывались романами "Зубр" Гранина и "Белые одежды" Дудинцева, где создавался романтический идеал неспящего ученого, борца за правду. Многие тогда избрали биологию своей будущей профессией именно под влиянием этих книг.

Пользуясь обширным материалом, в том числе новыми источниками, авторы заставляют по-новому взглянуть на эту страницу советской истории, и не только советской, указывая на то, что в национал-социалистической Германии развитие было "зеркальным". Ламаркизм, на позициях которого стоял Лысенко, и который стал в СССР официальной научной доктриной, рассматривался биологами-нацистами как политически "левая", "еврейская" теория. Так, например, оценивал ламаркизм один из идеологов нацистской биологии Фриц Ленц, указывая, в частности, на стирание ламаркистами расовых границ. На позициях гонимой в России классической генетики в Германии, напротив, в основном стояли правые, националистические круги. Авторы раскрывают историческую и идейную подоплеку этого противостояния лишь кратко, поскольку перед ними стоит иная задача, однако, масштабный анализ эволюционной теории как идейного комплекса в его развитии, данный в книге, уже сам по себе может служить базой для дальнейших социально-исторических обобщений. И, кто знает, может быть российской биологии вновь предстоит крушение некоторых чресчур поспешно созданных кумиров?

Что касается политического интертекста естественных наук, авторы ясно высказывают свою точку зрения, проводя четкую грань между идеологической интерпретацией научных представлений и объективным знанием как таковым, которое, несмотря ни на какие препятствия, прокладывает себе дорогу. В этом, видимо, причина оптимистического настроения всей книги. Такой подход показал себя в ней весьма плодотворным. В книге, сочетающей научную глубину с доступностью изложения, читателю дается возможность детально проследить процесс возникновения и оформления эволюционной теории, подобный шахматной партии, которую природа разыгрывает с человечеством.

Амори Бурхардт. Клубы русских поэтов в Берлине 1920-1941. Учреждения литературной жизни в изгнании / Amory Burchard: Klubs der russischen Dichter in Berlin 1920-1941. Institutionen des literarischen Lebens im Exil (Arbeiten und Texte zur Slawistik, Bd. 69), München 2001.

Маттиас Шварти

"Русскому Берлину" 20-х годов было посвящено в последнее десятилетие множество работ. Тому есть различные причины. Одной из них является поиск так называемой "четвертой волной эмиграции", прибывшей в немецкую столицу после развала Советского Союза, своего места в пока еще чужой среде.

В русскоязычных дискуссиях о русском Берлине в первую очередь фигурируют такие знаменитые имена как Андрей Белый или Марина Цветаева, которые также и в "Зеркале Загадок" призваны помочь читателю в нелегком процессе самоидентификации.

Немецкие исследователи выпустили в 90-х годах также не одну работу на эту тему. В то время как для историков, ввиду растущего во всем мире потока мигрантов и неутрачиваемых споров о его регулировании, речь шла о критическом осмыслении этого феномена, у литературоведов эта тема пробуждала еще больший интерес.

Берлин явился в некотором роде началом и символом разделения русской литературы на две литературы – советскую и эмигрантскую ("тамиздат", позже к ним добавились и третья - "самиздат"). В первую очередь сюда прибывали бегущие от октябрьской революции и гражданской войны эмигранты. Большинство задерживалось здесь на несколько лет в надежде на скорое падение большевистской диктатуры. Этому выбору в немалой степени способствовала и инфляция: в Берлине можно было прожить дешевле чем в других крупных европейских городах. После того, как отпали обе эти причины, большая часть переехала дальше на запад, другие же воспользовались этой "Сменой вех", чтобы вернуться на родину.

В этот короткий промежуток времени с 1920 по 1923 год старая российская интеллигенция проявила замечательную жизнеспособность. Берлин стал не только центром антибольшевистской пропаганды, но и явился, в первую очередь, местом интеллектуального и литературного осмысления переломных событий 1917 года.

Можно говорить о самом широком спектре проявлений этого феномена, начиная от крупномасштабных культурно-исторических проектов евразийцев и заканчивая произведениями Владимира Набокова, полностью сконцентрировавшегося на формальной эстетике слова. Едва ли можно назвать какого-либо известного русского писателя, который не появился бы в то время хотя бы раз в Берлине. Огромная творческая продуктивность русской интеллигенции нашла свое выражение и во впечатляющей массе русскоязычных газет, журналов, объединений и издательств.

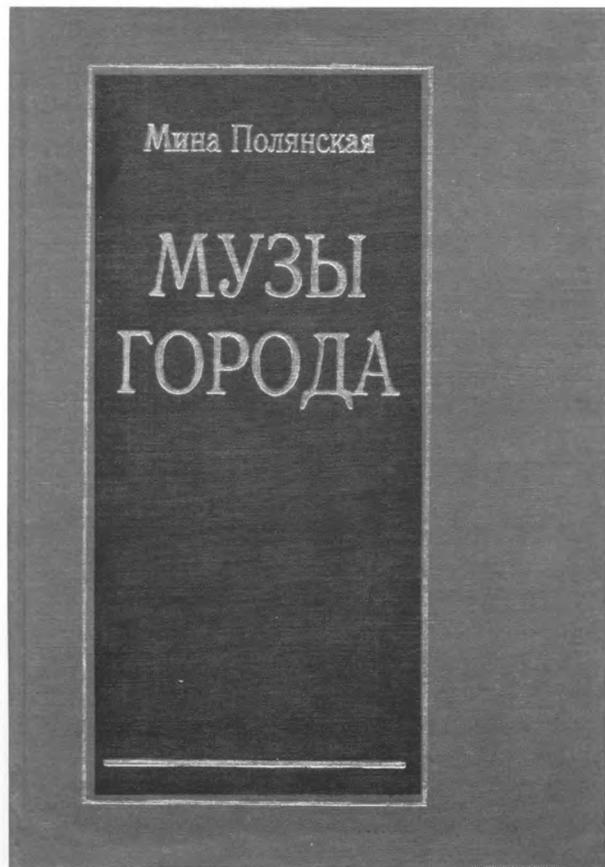
Ввиду этого богатства русской "литературной жизни" в Берлине невозможно не задаться вопросом, как конкретно она выглядела в отдельных своих проявлениях: какие русские объединения и периодические издания здесь существовали? Какова была их правовая база, за счет чего они финансировались, на какие средства существовали литераторы и журналисты, кто конкретно основывал бесчисленные объединения и организовывал культурные мероприятия? Для

22

**ДВАДЦАТЬ ДВА**

Общественно-политический и литературный журнал

Подписка: "22", Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440, Tel.: 03-39 45 25



**Мина Полянская**

**Книга литературного редактора  
"Зеркала Загадок"  
Мины Полянской "МУЗЫ ГОРОДА".**

Сборник очерков, посвящен творческой литературной среде Берлина и русским и немецким писателям, связавшим свое творчество с этим городом. Книга оформлена рисунками Ольги Юргенс. „Музы города“ можно приобрести в Берлине в книжном магазине „Радуга“, а также в редакции журнала „Зеркало Загадок“.

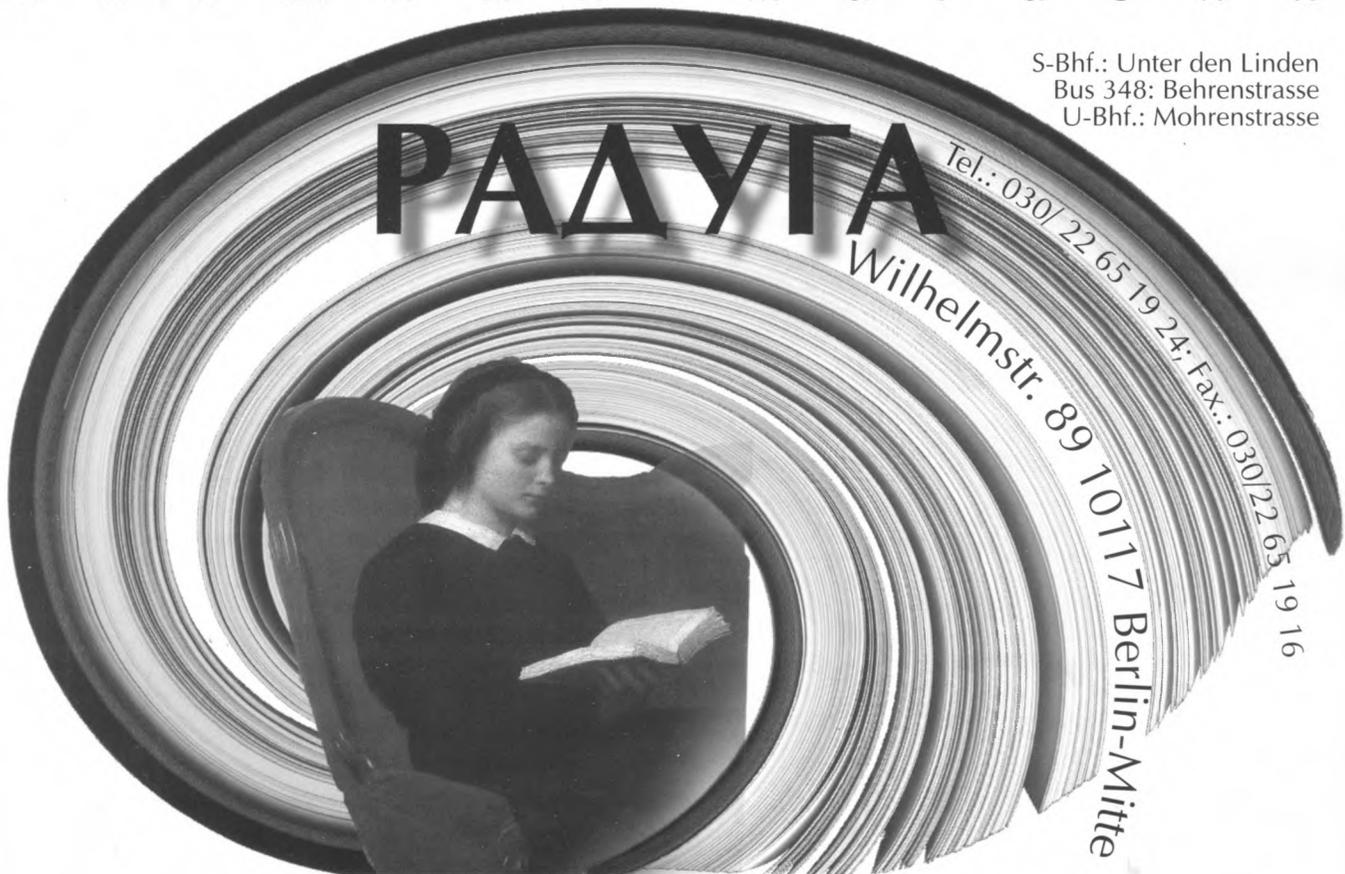
К Н И Ж Н Ы Й   М А Г А З И Н

S-Bhf.: Unter den Linden  
Bus 348: Behrenstrasse  
U-Bhf.: Mohrenstrasse

**РАДУГА**

Tel.: 030/22 65 19 24; Fax.: 030/22 65 19 16

Wilhelmstr. 89 10117 Berlin-Mitte



ФОТОВЫСТАВКА

Павел Свердлов  
ПРОГУПКИ ПО БЕРПИНУ...

pavel@vossnet.de  
<http://www.1a-digitalfoto.de>

